ДЖАЛАЛИДДИН РУМИ

Радий Фиш

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Биографический роман о выдающемся проповеднике и поэте-суфии Джалалиддине Руми (1207-1273).

- Радий Фиш
  - ОТ АВТОРА
  - ГЛАВА ПЕРВАЯ
  - ГЛАВА ВТОРАЯ
  - ГЛАВА ТРЕТЬЯ
  - ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
  - ГЛАВА ПЯТАЯ
  - ГЛАВА ШЕСТАЯ
  - НЕСКОЛЬКО СЛОВ К КНИГЕ Р. ФИША О ДЖАЛАЛИДДИНЕ РУМИ
  - КОММЕНТАРИЙ
  - ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА ДЖАЛАЛИДДИНА РУМИ
  - КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8

Радий Фиш
Джалалиддин Руми

ОТ АВТОРА

Эта книга о поэте, который оставил громадное поэтическое наследие. Его всемирно известная эпопея в шести книгах «Меснови» («Двустишия») насчитывает свыше тридцати одной тысячи стихотворных строк. Около сорока четырех тысяч строк — в старейших списках его собрания лирических стихотворений «Дивани Кабир» («Великий Диван»), содержащего две тысячи семьдесят три газели. И свыше четырех тысяч строк — в книге философских и лирических четверостиший, рубаи.

Но достоверно известны только восемнадцать строк, написанных его рукою. Все остальное — семьдесят девять тысяч строк — импровизации, записанные с его слов учениками, которых именовали «писарями тайн». Вот уже семь веков эти импровизации восхищают читателей и слушателей, поражают знатоков глубиной мысли, неистовством страсти, необычайной музыкальностью и совершенством поэтической формы.

Кроме стихотворных произведений, до нас дошли книга проповедей поэта, книга его бесед «Фихи ма-фихи» («В ней то, что в ней») и сто сорок писем к разным лицам.

Со страниц всех этих книг перед нами встает образ великого мудреца Востока, обобщившего создания диалектической мысли огромного географического региона от Греции на западе до Ирана и Индии на востоке.

Всей своей жизнью поэт и мыслитель отстаивал свободу человеческого духа против гнета религиозных догм. В эпоху крестовых походов и фанатизма проповедовал равенство людей независимо от цвета кожи, языка и религии, воспевал величие человеческого рода.

В стихах, речах и деяниях поэта нашел выражение и протест городских низов его времени против тирании феодалов, освященной казенной религиозной идеологией.

Но книга, предлагаемая вниманию читателей, не монография о философии поэта, не исследование его поэтического творчества, а биография.

Для эпохи, когда человеческая жизнь была дешева, судьба поэта сложилась сравнительно благополучно. Но история его исканий и судьба его наследия исполнены горького трагизма.

При жизни поэт подвергался нападкам и преследованиям, богословы причисляли его сочинения к «еретическим». Популярность спасла поэта от физической расправы, но не спасла от расправы его мысль.

«Средние века, — писал Ф. Энгельс, — присоединили к

теологии и превратили в ее подразделения все прочие формы идеологии: философию, политику, юриспруденцию. Чувства масс были вскормлены исключительно религиозной пищей: поэтому… необходимо было собственные интересы этих масс представлять им в религиозных одеждах».

Использовав теологическую одежду взглядов поэта, реакционное духовенство принялось истолковывать гуманистический смысл его поэзии в ортодоксально-религиозном духе.

Поэт не верил ни в какие чудеса, кроме «чуда человеческого сердца». После его смерти сочинители житий поэта в богоугодном усердии стали изображать его «святым чудотворцем».

Всю жизнь поэт сражался с религиозной догматикой и обрядностью, сковывавшими живую мысль и чувство. После смерти поэта его привычки и обыкновения, его пляски и манера одеваться, самые его стихи были канонизированы, превращены в часть религиозного обряда.

Больше всего страшился поэт сектантства с его бесчеловечной нетерпимостью и убогой схоластикой. После смерти поэта его собственный сын основал дервишский орден, освященный именем поэта, орден, который, подавляя мысль и чувство, так же верно служил угнетателям, как все прочие религиозные секты, и благополучно просуществовал вплоть до XX века.

Все это привело к тому, что бунтарская суть его поэзии, его жизненный подвиг оказались погребенными под семивековым прахом богоугодных истолкований.

Настоящая книга представляет собой попытку воссоздать историю жизни поэта, его духовных исканий, опираясь на исторические факты и дошедшие до нас свидетельства.

Первое место среди этих свидетельств, естественно, занимает наследие самого поэта, которое, включая письма и беседы, было полностью опубликовано в Турции и в Иране лишь в последние десятилетия.

В последние же десятилетия были опубликованы извлечения из хранящихся в Турции рукописных, неизданных списков. Среди них беседы отца поэта Бахааддина Веледа, наставника поэта Бурханаддина Термези, друга поэта Шемседдина Тебризи, а также книги сына поэта Султана Веледа.

К особой группе источников относится житийная литература и в первую очередь «Жизнеописания познавших» А. Афляки, которая была составлена через пятьдесят лет после смерти поэта. Наряду с благочестивыми легендами и фантазиями в них содержатся подробности быта и событий того времени, словом,

бесценный материал, который был подвергнут тщательному критическому анализу и переосмыслению.

Действующие в книге лица, будь то фигуры исторические или же известные лишь окружению поэта, подлинны: все они жили на свете. События, изображенные в книге, действительно имели место.

Но портреты героев, их чувства и характеры, а также ход и последовательность событий автору приходилось воссоздавать по крупицам, изредка домысливая невосполнимые пробелы, подобно реставратору, который, зная дух эпохи и стиль художника, по едва заметным штрихам и бликам с помощью достижений современной науки восстанавливает старинные фрески, осыпавшиеся от времени, затертые блюстителями благочиния.

Автор стремился не только передать результат мысли героя, но показать ее в развитии, сохранив и образность его речи. Это относится и к подлинным письмам поэта, к его стихам и внутренним монологам. Все они подтверждены произведениями самого поэта и свидетельствами современников. Сознавая, что всякий перевод стихов похож на оригинал не более, чем оборотная сторона ковра на лицевую, автор отнюдь не льстил себя надеждой передать в своих переводах стихов великого поэта поэтическое совершенство их формы, а старался по мере сил держаться как можно ближе к их смыслу. В тех случаях, когда автор пользовался уже имеющимися переводами, это указано в тексте.

Поскольку события, о которых рассказано в книге, происходили в разных национальных регионах, автор при написании имен стремился придерживаться того, как они произносились в той или иной языковой среде — тюркской, арабской или иранской. Случаются поэтому, что одни и те же по сути имена имеют разную транскрипцию.

Размышляя и работая над книгой около двадцати лет, автор сознает ее неполноту — фигура Джалалиддина Руми грандиозна, а знания и силы автора ограниченны. Но все его усилия были бы бесплодны, если бы не труд целого поколения востоковедов. Среди них необходимо назвать турецкого ученого Абдюлькадира Гюльпынарлы, (в частности, его пересчетом с мусульманского на европейское летосчисление пользовался автор этой книги), профессора Тегеранского университета Бадиуззамана Фурузанфарра, но прежде всего советских востоковедов Е. Э. Бертельса (особенно ценно для автора было запоздалое издание его трудов о суфийской литературе) и В. А. Гордлевского, одним из многочисленных учеников которых считает себя автор этой книги.

Автор благодарен И. С. Брагинскому, А. Е. Бертельсу и З. Г. Османовой, взявшим на себя труд прочесть эту работу в рукописи и оказавшим автору помощь своими замечаниями и советами.

ГЛАВА ПЕРВАЯ
ИСХОД

Приходите ко мне с намерениями вашими, не с делами вашими.

Ибн Таймийя

МАЛЬЧИК НА КРЫШЕ

Багровое зимнее солнце опускалось навстречу ветру, разгулявшемуся за городскими предместьями Балха в степях и пустынях Заката.

Засунув руки в широкие рукава длинной, до пят, ферадже [1] и обхватив локти ладонями, Джалалиддин стоял на плоской глинобитной крыше дома и неотрывно глядел на удивительный людской муравейник, который, если верить мудрецам, копошится здесь уже две тысячи лет. Не раз был снесен он завоевателями до основания и снова стоит, как стоял, разноязычный, шумный и благочестивый.

Эмирская цитадель Хиндуван возвышалась над скопищем глинобитных крыш, прорезанных четырьмя базарными улицами, над цепочками куполов, обозначавших бани, кельи медресе и дервишских обителей. Но еще выше вздымались вонзенные в небо минареты соборной мечети.

Медный тяжелый блеск каналов, несущих мутную воду Балхаба, пробивался сквозь темную листву садов, исчезал в подземных трубах, чтобы вновь заиграть за городской стеной во множестве арыков и канав, питающих красноватую землю окрестных деревень.

Две базарные улицы просматривались до самой городской стены. Лавки закрывались. Мухтасиб, следивший за тем, чтобы торговля велась по правилам, установленным пророком, обходил со стражниками ряды. Блекло пламя в горнах оружейников, затихал бесконечный перезвон металла в рядах медников и ювелиров, стук топоров в кварталах мастеров по арбам, колыбелям и сундукам, змеиный посвист веретен. По дальней пустынной улице глухо прогарцевал отряд тюркских воинов, сменявший караулы у всех семи городских ворот.

Мальчик на крыше поежился, повернулся спиной к ветру. Серые из необожженной глины башни восточных Наубахарских ворот в лучах заходящего солнца полыхали пожаром: они, эти ворота, первыми должны принять страшный удар, предсказанный

сегодня в соборной мечети его отцом.

Все последние недели, пока продавался отчий дом, сады и виноградники, доставшиеся матери в приданое, в доме беспрестанно толклись люди. На женской половине под командой старой кормилицы отца Насибы-хатун, молча глотавшей слезы — отец запретил плакать, — увязывались ковры и циновки, одеяла, подушки для сидения, молитвенные коврики, упаковывались медные подносы, тазы, кувшины, плошки и мангалы. Ученики и мюриды отца торговались с купцами, рядились с караван-вожатыми. И среди всей этой суеты, как крыло заморской птицы, развевался конец зеленой чалмы, которую носили сеиды — потомки пророка. Сеид Бурханаддин, наместник отца, и впрямь похожий на хищную птицу, остролицый, длинный, сухой, что бы ни делал, всему предавался с истовой страстностью — читал ли священные тексты или молился, слушал поучения отца или наставлял его сыновей.

Сам отец разбирал книги: своды хадисов — преданий об изречениях и деяниях пророка, труды достославных знатоков мусульманского права — шариата. Тома поэтических диванов Мутаннаби, Санайи, Аттара, начертанные тяжеловесным почерком насх, сочинения благомудрых богословов Газали, аль-Хорезми. Книги, переписанные каллиграфами здесь, в Балхе — матери городов Хорасана, в Герате, в Хорезме и в Самарканде, в Нишапуре и Тебризе, Дамаске, Неджефе и Басре, во всех частях просвещенного мусульманского мира. Мудрость прошедших веков, заключенная в кожаные и деревянные, сафьяновые и парчовые переплеты, накопленная древним родом балхских проповедников и богословов, передававшаяся из поколения в поколение, текла через его широкие коричневые ладони.

Сеид Бурханаддин почтительно брал отложенные книги, относил их во дворик с водоемом и бережно опускал на расстеленные кошмы.

Под сенью плакучих ив у восьмиугольного водоема стопы книг обертывали поверх кошм сыромятными шкурами, дабы ни вода горных потоков, буде придется переходить их вброд, ни палящий зной пустынь не могли повредить страниц. Таких тюков, квадратных, словно кипы хлопка, но раза в три тяжелее, уже хватило бы на поклажу десяти верблюдам, а отец все отбирал и отбирал.

Подойдя вслед за Сеидом к порогу библиотеки, Джалалиддин с братом увидели, что отец стоит на коленях перед раскрытым на подставке томом, точно перед ним священные письмена Корана, перелистывает страницы, словно ласкает их пальцами, и медленно шевелит губами, чуть заметно покачиваясь, а взгляд его

устремлен в стену.

Сеид Бурханаддин понимал учителя без слов, ибо давно были сказаны все слова и не один год хранился в его келье иджаза — свиток с печаткой, удостоверявший, что владелец сего постиг все ведомое учителю и может отныне сам толковать другим слово Истины. Издали по удивительному совершенству почерка насх, по ровным строкам смоляной туши с красными пятнышками киновари, коими обозначались слова, требовавшие уважения к их высокому смыслу, узнал он и книгу. То был толкователь сокровенного значения коранических сур, которое открылось озаренному светом прозрения Ахмаду ибн Омару Абу-л-Джанибу Наджмаддину Кубра, прозванному «Шейхи Валитараш», что означает: «Шейх, изготовляющий святых».

В давние годы величавый несгибаемый старик, что стоял сейчас на коленях перед пюпитром, посетил обитель Наджмаддина Кубры в Хорезме, стал его мюридом и вскоре получил от него точно такой же свиток с печаткой, какой сам потом вручил Сеиду. И сейчас, отдаленный от своего учителя расстоянием в сотню фарсахов, стоя на коленях перед его словом, он прощался с шейхом, словно просил у него прощения, ибо чувствовал, что Наджмаддин Кубра не покинул бы родной город, как теперь готовился сделать это он, его мюрид.

И сердце Сеида дрогнуло от жалости к учителю своему старому Бахааддину Веледу.

Но даже вид коленопреклоненного отца, ни перед кем не склонявшего коленей, кроме аллаха, не смутил сердце Джалалиддина, все последнее время пребывавшего в тревожно-радостном возбуждении от предвкушения дальней дороги, сулившей зрелище невиданных стран, городов и царств.

Двенадцатилетнему мальчику еще была неведома горечь разлуки.

–

Только теперь, стоя в последний раз на крыше отчего дома и глядя на охваченный закатным пожаром город, он ощутил непривычную сосущую тоску. И вновь услышал яростный голос отца, гремевший под сводами соборной мечети:

— Эй, кадий Вахша, и вы, еретики, вслед за Фахраддином Рази сбившиеся с истинного пути! Эй, хорезмшах Мухаммад! Да будет ведомо вам, что ослеплены вы ничтожной тьмой бренного мира. Дух себялюбия влечет вас к бездействию и небрежению. А небрежение ведет к злым делам. Вот откуда тьма, смятение умов,

пустые призраки, мерзостные привязанности и заблуждения. Разум чужд вам, и потому безудержен дух себялюбия в царстве своем. Но сказано: «Царство, где властвует дух себялюбия, — от дьявола!»

Так взывал отец во время пятничной проповеди. И толпа внимала виднейшему богослову города, не смея от страха поднять глаза. Назвать еретиками кадия, творящего суд и расправу именем шариата, любезного повелителю правоведа Рази! Мало того, приравнять к ним самого хорезмшаха, могущественнейшего из правителей мусульманского мира! Не каждый мог решиться на такое.

ХОРЕЗМШАХ, УЛЕМЫ И СУФИИ

Всем было ясно, что разумеет проповедник Бахааддин Велед под «духом себялюбия». Безудержен и честолюбив был хорезмшах Мухаммад. Объявил себя защитником и освободителем всех мусульман, а обложил город Балх такими поборами, что не шли в сравнение с данью, которую прежде приходилось платить поганым. Вел бесконечные войны, захватывал царство за царством, а подавить усобные распри да мятежи; покончить с разбоем в своих владениях не мог.

Балх стоял на перекрестке мировых путей. Через него везли товары из Китая — в Дамаск, в священную Мекку, в Египет, из Индии и Тибета — в холодные края русов, из Бухары и Самарканда — к нечестивому императору Византии, в края лихих френков. Войны, разбой на дорогах, расточительство шахского двора подрубали два столпа, на коих зиждилось благосостояние Балха, — ремесло и торговлю. Давно уже на тайных собраниях религиозного братства ахи, объединявшего ремесленников, да в купеческих караван-сараях недобрым словом поминали властителя.

Роптало и духовенство. Редко звенели монеты в кокосовых чашках для подаяния, с которыми каждый день тысячи дервишей обходили торговые ряды и харчевни, мечети и постоялые дворы. Иссяк источник пожертвований, кормивший улемов, что обучали богословию и законоведению в духовных школах — медресе. Обнищали кормившиеся щедротами состоятельных горожан ханаки — обители дервишской братии и ее шейхов.

Правда, у улемов оставался выход — перепоясаться на служение шаху, вступить на доходную должность кадия или сделаться придворным богословом, что освящают своим решением, фетвой — деяния властителя. Но не всякий желал

продавать бессмертную душу, творя суд над мусульманами за мзду, как кадий Вахша, или одобряя своей фетвой шахские причуды, подобно недавно опочившему Фахраддину Рази. Не земным властителям — чье царство всего лишь миг и сгинет, словно бы его и не было, — а аллаху, единому и вечному, их устами возглашавшему истину, положено служить улемам. По крайней мере, про себя Бахааддин Велед знал это точно, ибо было ему знамение.

–

Во время священного месяца рамазана, когда правоверным положено соблюдать пост, задремал он после ночных бдений и превеликого утеснения плоти своей. И привиделся ему сон, будто сам пророк Мухаммад повелевает отныне называть его, Бахааддина Веледа, Султан-ул-Улема.

В трепете и слезах очнулся Бахааддин Велед. И с того дня стал подписывать свои фетвы титулом Султан-ул-Улема, что означает Султан Богословов. Так же подписал он и труд своей жизни книгу «Маариф» («Познание»).

Но ни кадий Вахша, ни кадий Зейни Фарази не могли с этим примириться. Хоть старец Марвази, известный своим благочестием, клятвенно засвидетельствовал, что было и ему видение: излучавший неземное сияние святой явился к нему во сне и повелел величать Бахааддина Веледа тем же титулом, — потребовали завистники стереть этот титул с фетв и книги Бахааддина. Дескать, он, конечно, уважаемый богослов, но есть в Хорасане улемы не ниже его. К тому же свет ума его ограничен, как взгляд зашоренного коня: держится он за букву, а не за дух истины, обвиняет в нечестии авторитеты, что с помощью достижений науки иные старые заповеди истолковывают в приложении к новым, неслыханным временам.

«Усомниться в двойном знамении? Да ведь это богомерзкая дерзость! Сии новомодные законники, заразившись греческой философией, тщатся с помощью разума обосновать истины, доступные лишь божественному откровению… Святотатство не меньшее, чем пытаться обосновать логикой бытие Аллаха! И все для того, чтобы, мудрствуя лукаво, подтвердить дозволенность любого деяния хорезмшаха Мухаммада, чей нечистый хлеб они вкушали!..»

Так думал убежденный в своей правоте Бахааддин Велед.

–

Быть может, читатель, живущий на семь с половиной веков позже, усмехнувшись поводу, из-за коего разгорелась борьба, сочтет улема Бахааддина Веледа из древнего города Балха всего лишь темным фанатиком. Что ж, он, конечно, был фанатиком в своей вере и полагал истинными многие представления, которые через семь веков сочтет фантастическими любой школяр. Но не потому ли, что было ведомо Бахааддину все доступное разуму его времени — астрология и алхимия, математика и право, история и арабская грамматика, медицинский «Канон» Ибн Сины, идеи Платона и философские построения аскетов-суфиев, он, подобно многим другим ученым его времени, был убежден в неспособности разума разрешить важнейшие проблемы бытия; ведь разум его времени действительно не давал на них ответа?

Его противники богословы мыслили менее прямолинейно. Под влиянием аристотеликов они обращались к доводам логики, дабы приспособить ветшающие догматы к новой исторической обстановке, и, быть может, в конечном счете помогали сделать еще один шаг к освобождению сознания от догматов. Но только в конечном счете. На первых порах добытая ими крохотная, ограниченная свобода подчас служила утверждению деспотизма, предоставляя простор для произвола, не стесненного никакими догмами.

Пути освобождения масс и пути освобождения мысли отнюдь не тождественны. По слову Ф. Энгельса, массы нередко облачают свои насущные требования в обветшалые теологические одежды. А плодами свободомыслия нередко пользуются прежде всего угнетатели.

Не желание возвыситься и не один фанатизм, а живое ощущение поддержки горожан и связанной с простонародьем части духовенства укрепляли убежденность Бахааддина Веледа в собственной правоте.

Меж тем хорезмшах Мухаммад, в гордыне присвоивший себе звание «Тень бога на земле» и повелевший вырезать его на шахской печати, решил преподать урок шейхам, которые, пользуясь влиянием на чернь, делали попытки ограничить шахское своевластие. Гнев хорезмшаха пал на знаменитого суфийского проповедника и поэта — шейха Маджддаддина Багдади.

Бахааддин и Багдади были ближе друг другу, чем братья. Они поступили в ханаку к одному учителю-шейху Наджмаддину

Кубре, стали его мюридами. Шейх ломал их волю, подчинял своей, точно стирал неразборчиво нанесенные жизнью записи с листов их душ. А затем, когда души их уподобились белой самаркандской бумаге, стал наносить на нее свои письмена. И дабы ничто более не могло совратить их с пути истины, сызнова закалял их волю в пламени искусов и подвигов самоотвержения. В необычно короткий срок удостоились они иджазе, позволения самим руководить другими на этом пути.

Но характер был у них разный! И потому шейх вел их разными путями. Горячность Бахааддина уравновешивалась суровостью. Эти свойства вместе с обширностью познаний привели к тому, что он стал не только суфийским проповедником, но и знатоком шариата и авторитетом в вопросах о дозволенном и запретном.

А Багдади, углублявшийся в себя до самозабвения, доходивший в неистовстве до предела, вернее — до беспредельности, избрал путь поэта-суфия.

Первым суфием Хорасана, по преданию, считался благочестивый царь Балха Ибрахим ибн Адхам, ведший свой род от арабских поселенцев и правивший городом за четыреста лет до хорезмшаха Мухаммада.

Как-то на охоте, гласит легенда, загнал шах кулана. Пустил стрелу и подскакал, чтобы его добить. Но кулан-де молвил человеческим голосом: «Для того ли ты сотворен, о царь, чтобы преследовать беззащитных тварей?» Смущенный вернулся царь во дворец, ночь провел в молитве. А наутро увидел-де на крыше дворца своего неизвестно как попавшего туда пастуха-бедуина. Кликнул стражников. Наглеца привели пред царские очи. И спросил царь Ибрахим: «Что делаешь ты на крыше дворца моего?» — «Ищу потерявшегося верблюда!» — отвечал бедуин. Памятуя о вчерашнем чуде, смирил царь свой гнев. Спросил только: «Не бессмысленно ли искать на крыше дворца верблюда, потерянного в пустыне?» — «Не менее бессмысленно, — отвечал пастух, — чем искать бога, сидя на престоле!»

Потрясенный царь тайком переоделся в рубище и на следующий день ушел из дворца, стал аскетом-отшельником. Все время свое проводил он в мыслях о праведности, подвергая себя строжайшему самонаблюдению и молясь о милости божьей. А на хлеб зарабатывал тем, что собирал в степи колючки и продавал их на базаре. Так царь Ибрахим сделался великим шейхом Ибрахимом Балхи, якобы положившим начало подвижничеству, получившему впоследствии наименование суфизма.

Мы не знаем доподлинно, был ли царем Балха Ибрахим ибн Адхам. Не известно даже, жил ли вообще на земле такой человек.

Наука установила лишь одно: аскетическое движение, зародившееся в исламе, питалось глубочайшим недовольством городских низов сложившимся образом жизни, гнетом феодально-корпоративного строя, полностью отчуждавшего личность в пользу духовенства, сословий и государства. Это недовольство обострялось противоречием между повелениями религии, объявившей всех мусульман братьями, и насилием властителей, освященным от имени той же религии служилым духовенством. Оно явственно слышится и в легенде об Ибрахиме Балхи: членораздельная речь животных и беседы бесплотных призраков всего лишь отчужденные голоса человеческого духа.

Не видя вокруг силы, способной изменить действительность по законам справедливости, мусульманские подвижники надевали власяницы из грубой шерстяной материи — по-арабски «суф», — уходили в пустыни, уединялись в кельях, углублялись в размышления о природе человека и бога. Отшельники-суфии, как их стали называть по власянице, из коранического понятия о хараме — запретном и халале — дозволенном, разработали свое этическое учение. Всякое материальное благо, исходящее от властителя, считалось безусловно запретным, ибо было добыто насилием. Один из мужей благочестия счел для себя харамом даже собственную курицу после того, как она забралась на крышу его соседа, служившего воином в охране повелителя, и поклевала там зерен. Самые суровые аскеты считали запретным и подаяние, так как в нем могли быть заключены частицы чужого труда. Иное дело колючки в пустыне и вода из источника. Они никому не принадлежали и представляли ценность лишь после того, как были собраны или принесены. Тут не было присвоения чужого насилием и неправдой.

Исходя из еретического толкования известного хадиса «Кто познает себя, тот познает бога», суфии разработали тончайшую систему организации внутренней жизни, необходимую для достижения «благости». Обожествили любовь как единственный способ познания Истины и создали сложную философскую систему для обоснования своей практики. Наконец, они породили воспевающую любовь поэзию, которая на протяжении веков оказывала и оказывает влияние на развитие мировой литературы.

Ко времени Султана Улемов аскетическое движение суфиев прошло многовековой путь и сложилось в организованную силу. Суфии обличали лицемерие духовенства, выступали против подчинения духовной жизни личности скрупулезным правилам казенной обрядности и провозгласили отношения с богом частным делом каждого человека.

Если религиозно-мистическая оболочка протеста помогла

суфизму уцелеть внутри мусульманского феодализма, то она же обусловила и вырождение суфизма, со временем превратившегося в одну из форм подавления духа в интересах того же правящего класса.

Ранние подвижники не могли принять от властителей и куска хлеба. Однако увещевание властителей они почитали долгом своим. Попытка, следуя их примеру, увещевать хорезмшаха Мухаммада и стоила жизни шейху Маджддаддину Багдади.

Единственной силой, способной противостоять хорезмшаху, была его тюркская гвардия. Мать хорезмшаха, умная и решительная Туркан-хатун, дочь тюркского князя-кочевника, возглавила партию, пытавшуюся ограничить власть хорезмшаха в пользу военной аристократии, которая состояла из тюрок. Туркан-хатун, правившая Хорезмом, когда ее сын бывал в походах или в отъезде, прослышала о святости Маджддаддина и, зная, каким влиянием пользуются шейхи на простой народ, пригласила его во дворец. Страстность и мудрость стихов Маджддаддина удивили ее, царица объявила поэта своим духовным наставником и даже принимала участие в маджлисах — духовных собраниях, которые шейх устраивал в своей обители.

Стал появляться во дворце и сам Маджддаддин. Беседовал с Туркан-хатун о пути единения с богом, любовь к коему состоит, мол, всего лишь в непритеснении других, поучал не творить дел, которые заставят устыдиться или смутиться перед лицом Истины, и помнить: «Что бы ты ни делал, бог присутствует». Словом, пытался вести ее по пути очищения, явно надеясь через мать шаха повлиять и на ее сына.

Об одной из богоугодных бесед шпионы, которыми двор кишел, как садок мальками, донесли шаху, причем изобразили дело так, будто речь в стихах и поучениях шейха шла не о божественной любви, а о его плотской страсти к царице, хотя та уже имела правнуков.

Хорезмшах Мухаммад повелел умертвить шейха. Маджддаддину Багдади отрубили голову, а тело его бросили в Амударью.

–

Преподав урок духовенству, шах решил, что может теперь покуситься на власть самого халифа, почитавшегося наместником пророка и главой всех мусульман. Он отправил в Багдад посольство с требованием, чтобы не только в Балхе, Мерве, Нишапуре и других городах Хорасана, но и в столице халифа, в

самом Багдаде во всех мечетях читалась хутба — присяга на верность не халифу Насиру, а ему, хорезмшаху. Подобное требование означало, что Насир должен отказаться от власти в пользу хорезмшаха, который, как всякий мусульманский государь, считался подданным халифа. Багдад ответил резким отказом. Тогда Мухаммад потребовал от виднейших богословов своих владений, чтобы они дали фетву, подтверждающую от имени шариата право мусульманского государя, проводящего все свое время в войнах за веру, низложить халифа, который строит козни против него. Духовные отцы, памятуя о судьбе Багдади, скрепя сердце вынуждены были дать такую фетву. Теперь шах счел возможным начать военные действия против халифа.

Зима 1217 года выдалась в Передней Азии суровая. Войско хорезмшаха, отправленное на Багдад, застигли в горах Курдистана небывалые снежные бураны. Легко одетые воины замерзали тысячами, уцелевших от мороза добивали воинственные курды. Из всей рати, посланной шахом в святотатственный поход, вернулось назад лишь несколько десятков человек.

Престижу шаха был нанесен жестокий урон. Но он не образумился.

–

Летом следующего года в город Отрар, лежавший на восточной границе владений хорезмшаха, прибыл торговый караван от Чингисхана. Во главе каравана стояли четыре купца, а всего в нем было четыреста пятьдесят человек — все мусульмане. Купцов сопровождало около пятисот верблюдов, груженных мускусом, мехами бобров и соболей, бивнями моржей и нарвалов, кусками нефрита, а также золотом, серебром и шелками, которые были вывезены из Китая, только что завоеванного Чингисханом. Прибытие торгового каравана вслед за посольством, которое от имени Чингисхана предложило хорезмшаху мир и торговлю, могло послужить началу добрых и выгодных отношений между державами.

Но Мухаммад, одержимый манией величия, приказал задержать купцов как шпионов. Ночью все четыреста пятьдесят человек были зарезаны, а товары пересланы наместником Отрара шаху, который продал их купцам Бухары и Самарканда, а деньги взял себе. Из всего каравана уцелел лишь один человек — погонщик верблюдов. Он и сообщил Чингисхану страшную весть.

Повелитель монголов, памятуя, что властелин гневу своему

— всему властелин, отправил к хорезмшаху еще одно посольство. Упрекнув его за коварство, Чингисхан потребовал выдачи наместника Отрара как виновника резни.

Но шах повелел казнить старшего посла, а двух других отпустить, обрезав им бороды.

Тройное святотатство — убиение шейха, поход против халифа и, наконец, избиение мусульманских купцов восстановило против шаха все сословия его державы — духовное, военное, торговое и ремесленное. Улемы и шейхи, не простившие шаху казни шейха Маджддаддина и вынужденную фетву против халифа, не преминули предсказать неминуемую кару господню.

Хорезмшах повсюду имел своих шпионов, содержал специальную службу доносчиков, наблюдателей и гонцов. Но шейхи были осведомлены не хуже, а порой и лучше властителя: ханаки всегда были открыты для божьих странников — дервишей, тысячами бродивших по лику земли в поисках истинных знаний и пропитания. Мастеровые и купцы, связанные уставом религиозно-ремесленного братства, первым делом приносили вести в обители своих духовных наставников.

Преступление в Отраре, убийство посла могли означать лишь одно — войну. И в этой войне с бесчисленными полчищами кочевников, организованных железной волей Чингисхана в небывалую доселе военную силу, покорившую Китай, судьба хорезмшаха и его державы была предрешена.

ПРОРОЧЕСТВО

Мальчик, который зимним вечером 1219 года, зябко кутаясь на ветру, глядел с крыши отчего дома на охваченные закатным заревом Наубахарские ворота матери городов Хорасана, вряд ли все это знал. Но в его ушах гремел многократно усиленный гулкими сводами соборной мечети Балха грозный, как глас самого провидения, голос его отца, проповедника и улема Бахааддина Веледа:

— Я ухожу. Но да будет ведомо, что за мною вослед нагрянет оснащенное, многочисленное, как саранча, закрывающая небо, войско монголов. Согласно священному хадису, гласящему: «Я создал их из гнева и ярости своей!», сие войско господнего гнева и ярости захватит земли Хорасана и, обрушив тысячи мук, заставит народ Балха испить шербет смерти. И будет шах изгнан из страны своей, и умрет на чужбине, безвестный и одинокий.

Дрожь сотрясла тщедушное тело двенадцатилетнего Джалалиддина. «Я создал их из гнева и ярости своей!.. Испить

шербет смерти!»

Снова услышал он вопль, исторгнутый словами отца из толпы молившихся женщин, увидел слезы, текущие по седым бородам мужей, дервишей, упавших без чувств на ковры, пораженных страшным предсказанием Султана Улемов.

И хоть юный разум его не мог смириться с мыслью, что все известное ему с рождения, незыблемое, как мир, — эти прочные, как камень, глинобитные стены, мечети, торговые ряды и дома, и кормилица Насиба, и товарищи его детских игр, все эти тысячи, десятки тысяч людей, знакомых и незнакомых, готовящихся сейчас ко сну, занятых своими заботами, — станет грудой костей и праха, он ни на миг не усомнился в истинности слов отца. Отец вдруг представился ему в небывалом доселе свете — грозным, могущественным, бесстрашным, как сам пророк.

Но рядом с благоговением и любовью к отцу что-то еще шевельнулось в его груди, словно проснувшаяся змея. Умей он тогда, как умел сейчас, называть неназываемое, видеть невидимое, он сказал бы, что то была змея отчаяния. Но он тут же загнал ее во тьму.

Откуда ему было знать тогда, что познания, даже самые обширные, если нет в сердце любви к людям, бесполезны, мало того, отвратительны. И чем эти знания больше, тем страшнее.

–

Во все времена стремятся люди проникнуть в скрытое за завесой времени, по сущему угадать будущее. И чем меньше знают они о мире, тем сильней нуждаются в освящении своих знаний отчужденным от них высшим авторитетом.

Можно себе представить, как должны были потрясать предсказания Бахааддина Веледа, особенно после того, как через год с небольшим они осуществились, людей религиозного сознания, конечно же, приписавших силу его прозрения божественному откровению. Но и сам Султан Улемов Балха, как большинство деятелей его времени, отнюдь не приписывал себе самому способности провидения.

Он был человеком своего времени и мыслил его категориями, а категории эти были теологическими.

За преступлением этических норм неизменно должна была следовать кара. А для осведомленного и образованного человека, каким был Бахааддин Велед, угадать, откуда может последовать возмездие, не составляло большого труда.

–

В ту самую пятницу, в конце 1219 года, когда Султан Улемов с мимбара соборной мечети в Балхе произносил свою последнюю проповедь, десятки тысяч монгольских всадников уже подступали к злосчастному Отрару. Переправившись на кожаных, надутых воздухом бурдюках через реки, в легких панцирях из буйволиной кожи поскакали они под командой сына Чингисхана Джучи вниз по Сырдарье, а сам Чингис с главными силами пересек скованную холодом песчаную пустыню и, громя на пути города, пошел на Бухару. Толпы людей, испуганных слухами о нашествии, побрели по дорогам на запад мусульманского мира. И если не знал еще Султан Улемов, как орды Чингисхана, не связанные нормами религий, возвещавших бессмертие души, а подчинявшиеся лишь повелениям своего вождя и обычному праву идолопоклонников, расправлялись с завоеванными мусульманскими городами, то он мог себе легко это представить по рассказам купцов, посетивших Китай после монгольского завоевания. Рассказы эти краем уха слышали и сыновья Султана Улемов.

Захватив город, монголы обычно приказывали жителям выйти за его стены в поле. Предав город грабежу, а если он оказывал сопротивление, то и стерев его с лица земли, они отбирали ремесленников, молодых женщин и уводили их в рабство. Остальных избивали. Выстроив в ряды. По головам. Тяжелыми игольчатыми булавами.

Мусульманские купцы рассказывали, что земли Китая, по которым, как бич божий, прошел Чингис, напоминали пустыню. Почва сделалась рыхлой от человечьего жира, от трупного смрада спирало дыхание. У ворот самого Пекина видели они горы костей. Им рассказали, что при взятии города шестьдесят тысяч китайских девиц бросились со стен, дабы не попасть в руки завоевателей…

–

Неужели и женщин Балха ждет такая судьба? За что? Почему должны они столь страшно поплатиться за преступления шаха и его духовных наставников, которых и в лицо-то не видели? Если каждому воздается по его намерениям и делам, то в чем провинилась ласковая и благочестивая сестра его Фатима-хатун, которая недавно вышла замуж, затяжелела и потому не может ехать с ними? Или десятилетняя, с круглым, как луна, личиком Гаухер, дочь соседа и отцовского мюрида?

Не в силах найти ответ на эти вопросы, двенадцатилетний Джалалиддин впервые ощутил в себе возмущение и гнев. Но против кого? Против шаха, против судьбы или, может, против отца, предсказавшего гибель безвинных душ?

В смятении повернулся сын славнейшего проповедника Балха лицом туда, где была Мекка, пал на колени, воздел руки к лицу и совершил подряд три ракята покаянного намаза, как учил их с братом неистовый наставник Сеид Бурханаддин в случаях богохульственных сомнений во всеблагости и милосердии аллаха. Но облегчения не было. Смущавшие душу грозные видения не отступали.

Когда средь них вновь промелькнуло детское личико Гаухер, он вспомнил, что ее отец, самаркандский торговец Шарафаддин Лала, переселившийся в Балх ради своего шейха Султана Улемов, сказал недавно, что не отпустит подол учителя и последует за ним хоть на край света. Значит, и Гаухер поедет с ними. И эта мысль почему-то немного утешила его, будто он сам, своими руками спас от гибели бесценное сокровище, которое, стань оно прахом, никогда больше не явится миру.

Он поднялся с колен.

Он видел Гаухер всего несколько раз и то мельком, не сказал ей и трех слов. Отчего же в минуту ужаса перед его мысленным взором с такой ясностью возникло ее лунное личико с круглыми черными глазами, смотревшими ему прямо в душу? Когда успели они врезаться ему в память?..

Вспомнив, он залился краской.

ПРЫЖОК

То было года два назад, в благословенную пятницу — благословенную, ибо сей день был свободен от арабской грамматики, толкований Корана и прочих премудростей, коим обучал их с братом Сеид Бурханаддин. Хотя ученье давалось Джалалиддину без труда, он предпочитал посидеть наедине с книгой стихов, в тени навеса на крыше отцовского дома.

Под вечер, как обычно, к ним на крышу явились сверстники — сыновья отцовских мюридов, соседские мальчишки. Чинно, как положено хозяевам, встретив с братом гостей и усадив их на подушках, Джалалиддин выбрал сына ткача Синана и удалился с ним под навес играть в шахматы, предоставив остальным глазеть на прохожих, судачить, стучать костяшками нардов, меряться силой.

Не успели они развернуть строй фигур, как на улице

послышался бой барабанов. Мальчишки сгрудились у края крыши.

К закатным воротам двигался набранный городом разношерстный отряд. Впереди тюркские всадники на чалых конях. За ними, подоткнув полы стеганых халатов, пешие воины с грубыми копьями и ножами у пояса, пожилые и молодые, кипчаки, таджики, хорезмийцы и гератцы. Отряд возглавлял сотник на породистом гнедом жеребце в высокой чалме со свисающим на левое ухо свободным концом, сквозная борода разметана ветром по дорогому яркому халату.

Мальчики слышали от отцов, что отряд должен присоединиться к тому самому нечестивому походу против халифа, который затеял хорезмшах, но невольно залюбовались сверканием темляков, блеском камней на рукояти заткнутого за пояс сотника ятагана, статью резвых коней.

Когда стук барабанов стих за стенами города и снова зашумела жавшаяся к домам толпа, сын законоведа-факиха Масуд принялся рассказывать о встрече хорезмшаха с великим шейхом Сухраварди, присланным с посольством от багдадского халифа, встрече, которая послужила якобы поводом для похода.

Шах, мол, заставил шейха долго стоять во дворе, а когда тот наконец вошел, то даже не предложил ему сесть, что было не только явным оскорблением его звания, но и знаком пренебрежения к личным достоинствам. Шейх Сухраварди испросил позволения привести хадис пророка. Хорезмшах согласился и, как того требовал обычай, опустился для слушания хадиса на колени. Смысл его сводился к тому, что пророк предостерегает правоверных от причинения вреда дому Аббаса, к которому принадлежал и халиф Насир.

Поднявшись с коленей, шах Мухаммад ничем не выдал своей ярости. «Я — тюрок и плохо разумею по-арабски, — ответил он, — но смысл хадиса, приведенного тобою, я понял. Ни в намерениях, ни в делах моих не было зла на потомков Аббаса. Меж тем доподлинно известно мне, что сам повелитель правоверных многих из них содержит в темницах, где плодятся они и множатся. А посему с большей пользой прочел бы ты сей хадис по возвращении пославшему тебя». Ответ был не лишен остроумия, ибо халиф Насир стоил хорезмшаха Мухаммада: он был так же неразборчив в средствах и предпочитал держать претендентов на престол под замком.

Подражая седобородым улемам, мальчики важно заспорили, имеет ли право халиф для пользы всей общины сажать в темницу мусульманина, тем более если он принадлежит к семье Аббаса, над коей простерлась тень благословения пророка. Спор

затянулся, ибо все их доводы были подслушаны в разговорах старших, а своих не было.

Джалалиддин в споре участия не принимал — слишком дорожил самостоятельностью, чтобы играть в нее.

— Чего там зря толковать! — оборвал их наконец сын ткача Синан. — Слушай-ка, сын факиха, давай на спор: кто перепрыгнет на ту вон крышу! — Он показал на дом самаркандского торговца Лала и вынул из рукава роскошный расписной плат бухарской работы. — Ставлю в залог!

Подойдя к краю, мальчики глянули вниз: густые заросли кустарника разделяли оба дома, меж крышами аршинов пять, не меньше.

Сын факиха и сын ткача, словно купцы на крытом рынке, ударили по рукам.

Синан отошел к противоположному краю, подоткнул полы халата за кушак, снял тюбетею. Разбежался, птицей перелетел на соседнюю крышу. И таким же манером перескочил обратно.

На удивленье, не только сын факиха Масуд, но и все остальные мальчишки, расхрабрившись, повторили фокус Синана. И смотрели теперь на Джалалиддина — он был последним.

Но мог ли быть последним сын Султана Улемов? Тщедушный от рождения, замкнутый, впечатлительный, он не любил беготни, шумных игр. Быть может, и ему удалось бы перепрыгнуть злосчастные пять аршинов, если бы не матушка Мумине-хатун, которая в этот миг, как на зло, поднялась на крышу, чтобы позвать всех вниз. При виде сына, бегущего к пропасти меж домами, она зажмурилась.

— Джалал!

Все оглянулись на голос, исполненный ужаса перед вечной разлукой. А он уже у самого края хотел было остановиться, но не удержался и, нелепо взмахнув руками, рухнул вниз…

Любящие женщины и матери, как часто в страхе за бренную плоть своих сыновей и любимых, пытаются они удержать от прыжка в неизведанное, не дают созреть силам души, мешают овладеть ими. И любовь их, не просветленная разумом, вместо того, чтобы поддержать полет незрелой души, стремящейся вобрать в себя весь мир, камнем виснет на ее худосочной шее, затягивает в пропасть себялюбия и подлости, так и не дав прикоснуться к великому таинству единства вселенной и человечества…

Звенящий крик матери отозвался в его голове гулом гонга. Причудливо сплетаясь, заплясали на зеленой листве кустов, стремительно летевших ему навстречу, сквозная борода сотника на шитье халата, конские крупы, копья и шлемы воинов,

удалившихся к крепостным башням…

Когда стоявшие на крыше обернулись, Джалалиддина не было. Ни здесь, ни на соседнем доме. С воплем подбежали они к краю: кусты стояли, не шелохнулись.

Первое, что он увидел, когда пришел в себя, было круглое ангелоподобное личико девочки, уставившейся на него округленными от изумления черными глазами. То самое лицо, которое всплыло перед ним теперь в последний вечер на крыше отчего дома, лицо маленькой Гаухер-хатун, дочери самаркандского купца Лала.

Джалалиддин был бледен, как мертвец. Лицо в крови. Приподнявшись, он увидел бегущих к нему мальчиков и за их спинами — мать и кормилицу Насибу.

Если бы только насмешку прочитал он во взглядах сверстников, ее он, быть может, еще и стерпел. Но в них было сочувствие к поверженному, жалость к немощному. Отцовская гордыня взыграла в нем.

Он встал. И, сам не сознавая, что говорит, принялся описывать отцовскими словами видения, мелькнувшие в последний миг перед его глазами:

— Воины в зеленых одеяниях вознесли меня к небесным сферам. И обвели меня вокруг стен царства небесного. А, услышав ваш вопль, вернули обратно…

По мере того как он говорил, жалость и насмешка на лицах мальчиков сменялись почтением: такого видения мог удостоиться лишь сын Султана Улемов. И только в черных округленных глазах семилетней Гаухер по-прежнему сияло изумление. Глядя в эти глаза, он проговорил:

— По крышам могут скакать и кошки, и белки. Но совершить путешествие в страну духов может лишь тот, кто обуреваем неодолимой страстью. Вот так-то!..

Теперь, в двенадцать лет, прощаясь с отчим домом, он стыдился этих слов. Вернее, не слов, а тона, которым они были сказаны, гордыни, побудившей его говорить заемными словами.

Но, по сути, он тогда не солгал. Его неудачный прыжок оказался первым, пусть крохотным, шажком в бесконечном путешествии к слепящим вершинам духа…

КАРАВАН

— Джалал! Джалал! — позвала снизу мать.

И тотчас, словно откликнувшись на ее зов, запели на разные голоса страстно и грозно, восхищенно и униженно муэдзины со

всех минаретов Балха, близких и далеких, призывая правоверных к вечерней молитве.

— Аллаху акба-ру-у! Аллах вели-и-к!

Солнце меркло. Он нехотя двинулся к лестнице. Придерживаясь руками за стену, опустился в темноту.

В доме зажгли светильники. Пламя плясало по голым опустевшим стенам.

Отец с братом стояли коленопреклоненные на молитвенных ковриках.

Долгой и истовой была последняя вечерняя молитва отца в родном городе. И долго не мог уснуть, ворочался на постели двенадцатилетний Джалалиддин, слушая мерное дыхание брата.

Потом вышел во двор. Остановился у водоема под чинарой.

Ветер стих. Звезды роились и мерцали на темно-синем бархате неба. В конюшне пофыркивали и перебирали копытами кони. Где-то совсем рядом вздыхали во сне верблюды-иноходцы, которые завтра поутру увезут их в далекий неведомый путь.

Он поднял голову. Нашел среди звездного океана свою едва заметную светящуюся точку — недавно с одним из мюридов отца он сам составил свой гороскоп. И, глядя на нее, попытался угадать, что ждет его через неделю, через год, через десять лет на бесконечном, как вечность, пути.

–

Их подняли затемно. Во дворе вьючили верблюдов: по две кипы с книгами на вьюк, в каждом — по восемь пудов. Рев верблюдов мешался с ржанием коней, возгласами вьючников. Сеид Бурханаддин то степенно беседовал со старейшиной караванщиков, то срывался с места помогать вьючникам, взваливавшим груз на лежащих верблюдов, словно самая жизнь его зависела от сохранности груза. Но Сеид провожал их только до первой стоянки, а затем возвращался к себе на родину, в Термез.

Один лишь отец в огромной чалме и простом стеганом халате среди всей этой суеты стоял молчаливый и недвижный, пока ему не подвели коня под лиловой попоной. Сеид поддержал стремя, и тогда он легко, словно полжизни провел на коне, вскочил в седло. Прямой, несмотря на свои шестьдесят с лишним лет, и все такой же отрешенный, он выехал со двора.

Улица была запружена. Верблюды под грузом связаны цепочкой, от подбрюшного ремня — к кольцу в ноздре. Ни бахромы на уздечках, ни ковровых кистей, ни пунцовых султанов

на головах. Серые простые покрывала да мешковина и кожа вьюков. Сразу видно, не бренные богатства мира, а вечные суровые истины, как груз души, увозит с собой хозяин каравана. Лишь на иноходцах меж горбами были легкие наметы, обвешанные белым холстом — от яростного солнца, секущего песка пустынь и любопытных взглядов. Для женщин, детей и немощных. Как ни противился Джалалиддин, по настоянию матери пришлось ему путешествовать в одном из таких наметов.

Отец занял свое место среди мюридов — справа от него Сеид Бурханаддин, за ними верхами шейхи Хаджеги, Хаджаджи Наджадж, факих Ахмед, самаркандец Шарафаддин Лала.

Старейшина поднял руку. Тронулись ослы караванщиков, кони отца, его мюридов.

Караван-вожатый дернул аркан, привязанный к ноздре первого верблюда, подоткнул другой конец аркана под себя. И вот уже раздался первый удар колокола на шее заднего, замыкающего шествие верблюда.

Под звон этого колокола пройдут долгие годы, прежде чем мальчик из Балха станет Джалалиддином Руми, поэтом и мудрецом, которым будет гордиться человечество. Но, и обретя себя, будет он слышать этот мерный звон, как напоминание о бесконечности и прерывистости времени и о скупости, с которой оно отпущено человеку.

ГЛАВА ВТОРАЯ
КОНЦЫ И НАЧАЛА

Для тех, кто к совершенству путь прошел,
Неведение знанием бывает.
А знанье, что невежда приобрел,
В невежестве его изобличает.

Джалалиддин Руми

ВЕЧЕРНЯЯ БЕСЕДА

И снова был день. В другом краю, за сотни фарсахов и десятки лет отстоявший от того дня, когда он глядел в последний раз на город Балх с крыши отчего дома. Да что там десятки лет? Жизнь прошла.

И вся она уместилась в одной строке: «Я был сырым. Созрел. Сгорел».

Среди друзей и учеников, что сидели полукругом, поджав под себя ноги, и внимали сейчас его поучению, не было уже ни одного из тех, кто был знаком тогдашнему двенадцатилетнему мальчику. Но что с того, если свет многих лиц, которые давно сгнили в земле, он носит в самом себе?

И этот день уже меркнул за окнами. Заголубели на стенах зеленые изразцы, забились на карнизы под куполом горлицы, воркуя, укладываются на ночлег.

Он оглядел так хорошо знакомые ему лица. С нежностью остановил взор на Хюсаметтине Челеби — скоро минет десять лет, как в нем, точно в зеркале, видит он свое ничем не замутненное отражение. Не свою чалму и седую бороду, не удлиненный нос, не миндалевидные глаза, нет, это все случайности, — а самую свою сущность: каждое движение чувства, мысли.

И Хюсаметтин уже старик. А пришел он еще молодым. Ясный ум, уравновешенность и самоотверженность — все в нем было гармонично, благообразно, но не благостно. Здоровая натура ремесленника, живущего трудом рук своих.

И если ремесленникам-ахи был обязан Джалалиддин тем, что в этом городе не содрали с него на базаре шкуру, как некогда с великого поэта и мудреца Халладжа в Багдаде, не побили

камнями за еретические стихи, а слушали и почитали, то Хюсаметтину Челеби обязан он своей последней книгой двустиший — Месневи, в которой, если только они успеют, будет рассказана не жизнь его, уместившаяся, в сущности, в единой строке, а его познания и прозрения, весь его путь к Истине и степени ее постижения, все, что он понял, все, чем стал и что, быть может, останется после него на земле.

За долгие годы работы над книгой Хюсаметтин не выказал и признака утомления, отдал всего себя целиком, точно так же как в молодости с радостью отдал все нажитое его отцом — шейхом ахи, все заработанное своим трудом, чтобы в трудное для учителя время помочь ему выстоять.

Вот уже много лет Джалалиддин мог одновременно говорить и видеть себя со стороны, в одно и то же время думать о разном. И, продолжая поучение, он улыбнулся мысленно, припомнив, с какой деликатной хитростью выбрал Хюсаметтин удобный случай, чтобы высказать свое желание, ибо помнил, что удобный случай подобен облаку — набежало и нет его. Выбрал вечер, когда остались они наедине, и молвил, опустив глаза к полу: «Газели ваши собраны в десятки диванов. Свет их тайны озарил Восток и Запад. Оставьте же теперь влюбленным и друзьям книгу, подобную тем, что сложили Санайи и Аттар, дабы мюриды никогда не были бы лишены вашего присутствия». Высказать словами его собственную мысль, которая хоть и давно зрела в нем, но которую он до поры до времени таил от самого себя! Только тот, кто слился с другом в единое существо, может быть способен на такое!

В тот вечер Джалалиддин вынул из складок чалмы вчетверо сложенный лист, на котором были записаны его собственной рукой первые восемнадцать строк: «Внемли! То ная тоскующий глас! О муках разлуки ведет он рассказ…» И вручил его Хюсаметтину: «Хорошо, Челеби, я буду говорить, а ты записывать!»…

Годы, минувшие с той поры, — лишь внешнее проявление их духовного единства. С того дня не расставался более Хюсаметтин с тростниковым пером в медной трубке, чернильницей, песочницей у пояса и свитком бумаги в рукаве. С той поры они повсюду бывают вместе. И где застанет учителя вдохновение — на улице, в бане, на собрании друзей или на радении, на базаре, в саду или в мечети, записывает Хюсаметтин за ним строки стихов, как только они родятся.

Но, быть может, еще и потому с такой нежностью глядел Джалалиддин (теперь все именовали его «Мевляна» — «Наш господин») на своего старшего ученика и наместника, что тот был

его последней любовью, подобной звезде, глядя на которую путник, проделавший долгий и трудный путь, идет в ночи к последней стоянке. В Хюсаметтине совместилось для него все то, что сделало его таким, каким он стал, вернее, таким, каким он есть, ибо твердо уверен был Джалалиддин, что все развитие человека на пути к совершенству есть не что иное, как возвышение самого себя до своей собственной истинной сущности: и молоко его матери Мумине-хатун, и непреклонность отца — Султана Улемов, — и истовость наставника Сеида Бурханаддина, и ослепительный солнечный свет Падишаха Дервишей Шемса из Тебриза, и печальное, утоляющее боль и страсти, подобно сиянью луны, свечение ювелира из Коньи, Саляхаддина, и мягкая нежность и благоговение родившей ему двух сыновей Гаухер-хатун, той самой девочки из Балха, которая вместе со всеми этими лицами давно стала прахом, а теперь слилась с ними вместе в Хюсаметтине Челеби, что, как обычно, сидит впереди остальных, весь внимание, и заносит на бумагу каждую его мысль, каждое слово… Совсем так же, как некогда внимал сам Джалалиддин своим наставникам.

Мевляна Джалалиддин (арабск.).

«Эй, Хюсаметтин, на шею свою ты накинул веревку и тянешь за собой Месневи, и движется книга вперед, том за томом… Но для невежды, чей взгляд, как у лошади — шорами, ограничен результатом, ты невидим, подобно тому, как невидим свет дня для ослепленных цветами и красками. Меж тем без дневного света нет ни цветов, ни красок. Ты был началом начал, свет истины, Хюсаметтин!»

Он ощутил, как волна приязни, поднимаясь в груди, затопляет все его существо. И ему тут же захотелось высказать все то, что возникло в сердце, высказать здесь, перед учениками, им в назидание и в подарок любимому. Но он сдержался: желания, как вино, чтобы обрести силу, нуждаются в выдержке.

–

— Ты можешь забыть все, — звучал меж тем под куполом обители ровный печальный голос Джалалиддина, — все, кроме одного: зачем ты явился на свет. Не продавай себя задешево, ибо цена тебе высока…

–

Он перевел взгляд на сидевшего слева Аляэддина Сирьянуса, что не спускал с него глаз, словно воду с лица пил.

Как-то утром отправился Джалалиддин с друзьями на кладбище, где покоился его отец Султан Улемов. Миновав Конский базар, при выходе из городских ворот заметили они скопление народа. Какие-то парни подбежали к ним из толпы: «Ради аллаха, пусть заступится Мевляна!» — «Что там?» — «Казнят грека, совсем юношу!» — «Что натворил он?»

Сирьянус был рабом. После смерти хозяина по завещанию был отпущен на волю. Голодал. Когда приходилось туго, предпочитал воровать, чем снова продаться в рабство. В то утро застиг его лавочник за кражей каравая. Пытаясь вырваться, убежать, Сирьянус ударил его кулаком и убил…

…Джалалиддин провел ладонью по бороде, словно хотел отогнать воспоминания. Но картины того утра следовали чередой перед его глазами…

Выслушав просьбу о заступничестве, он решительным шагом двинулся к месту казни. Толпа раздалась. Перед палачом в вывернутой наизнанку черной овчине, в окружении стражников стоял на коленях со связанными за спиной руками юноша с рыжей курчавой головой.

Джалалиддин сорвал с себя ферадже. Набросил его на юношу. И, не вымолвив ни слова, повернул обратно в город.

–

— Ты можешь возразить: я занят высоким, — продолжал тем временем звучать его голос. — Изучаю право, астрономию, медицину. Но все это лишь для тебя самого, не для сути твоей. Право ты изучаешь, чтоб тебя не обокрали, не опозорили, не убили. Астрономию — чтоб по звездам предсказывать дешевизну или дороговизну земли, товаров и день, когда без риска можно начать предприятие. Медицину — чтобы ухаживать за телом своим. Но ведь ты не одно лишь тело! Тело — конь, а ты — всадник. Разумный всадник заботится о стойле для коня, но не спит в нем сам. И корм коня не может быть кормом всадника. Ты же не направляешь бег коня — он везет тебя, куда пожелает…

–

Палач и стража опешили: сорвать или порезать одеяние божьего человека, каковым поэта почитали в городе, шейха, чьи

увещевания выслушивал наместник султана Муиниддин Перване, первый человек державы, мудреца, которого принимал во дворце сам султан, — на это мог решиться лишь тот, кто не страшится ни бога, ни султана…

–

— Ты стоишь целых миров. Но что поделать, коль сам ты не знаешь себе цены?!.

–

Когда султану донесли о заступничестве Мевляны, он повелел отпустить раба: «Чего стоит какой-то там грек! Ведь Мевляна заступничает за все грехи наши перед Аллахом!»

Юноша счел себя заново рожденным. Поскольку спаситель его был мусульманином, принял его веру, стал его мюридом. Нареченный в мусульманстве Аляэддином, по свойственной простым сердцам слабости обожествлять предмет своей любви Сирьянус стал почитать Джалалиддина как бога. И чуть было снова не поплатился за это головой.

Улемы, ненавидевшие поэта, завидовавшие его славе и влиянию при дворе, только ждали повода, чтобы если не уничтожить его, то хоть чем-то досадить. Они и донесли кадию Сираджиддину, что вновь обращенный мюрид Мевляны якобы именует его не господином, а господом.

Снова стража схватила Сирьянуса. И снова предстал он перед судом. Ему удалось уцелеть лишь благодаря собственной находчивости, но он приписал и это спасение чудодейственной силе лилового ферадже, которое не снимал с себя с того памятного утра…

Оно и сейчас на Сирьянусе — плохонькое, ветхое, но залатанное с превеликим тщанием, отметил про себя Джалалиддин… Нет, не ферадже с плеч, не рубаха с тела, не перстень с пальца и не четки с руки могли быть знаком его любви к Хюсаметтину — время расплавит их, обратит в прах. Лишь подарок души, способный вместить и память о любимом поэте Аттаре, и признательность к наставнику Сеиду Бурханаддину, и его самого, Джалалиддина.

Он умолк на мгновение. А потом по-прежнему тихим, но уже не печальным, а подобно булату в горне, все раскалявшимся от затаенной страсти голосом начал рассказ о наставнике Сеиде и

шахском сыне, изучавшем рамль, рассказ, который был его сегодняшним подарком любимому ученику Хюсаметтину:

–

— Некто сказал Сеиду Бурханаддину: «Слышал я, что имярек восхвалял тебя!» И спросил Бурханаддин: «А кто он таков сам, чтоб хвалить меня? Откуда знает меня? Если по речам моим, то он не знает меня, ибо слово и звук, рот и губы всего лишь признаки. Если по делам моим, то и дела вторичны, преходящи. Только если познал он меня по сути моей, могу я признать, что может он хвалить меня и хвала его относится не к словам и делам моим, а ко мне самому».

Дабы вам стало яснее, что имел в виду Бурханаддин, говоря о разнице меж сутью и признаками, отворите уши внимания для притчи о сыне шаха, изучавшем искусство гадания на песке.

«Жил некогда шах, у которого единственный сын был столь глуп, что нельзя было ему не то что шахство, даже самого простого дела доверить. Долго думал шах, к чему бы его приучить, и решил наконец: пусть постигнет искусство гадания на песке. Как ни отказывались ученые предсказатели, пришлось им покориться шахской воле.

Через несколько лет привели они шахского сына во дворец, пали ниц перед шахом: «Много трудился ваш сын и постиг все законы и правила рамля, кои ведомы нам. Больше мы его научить ничему не в силах».

Шах зажал в руке перстень, спросил: «Ответь мне, сын, что в руке у меня?» Юноша начертал на песке фигуры рамля и по размышлении молвил: «В руке у тебя нечто круглое, с отверстием посредине. По роду — минерал». Шах довольный сказал: «Ты назвал все признаки верно. Назови теперь сам предмет!»

Задумался шахзаде. И решил: «Мельничный жернов!»

«Сколько точных примет установил ты силой знанья! — воскликнул шах. — Но недостало у тебя разума понять, что не может жернов поместиться в руке!»…

–

Не Джалалиддин сложил эту притчу. Фаридаддин Аттар привел ее в своей книге «Беседа птиц». Но и Аттар слышал ее от наставника своего Маджджаддина Багдади, у которого изучал медицину и фармакопею, того самого шейха Маджджаддина, что

учился вместе с Султаном Улемов и был обезглавлен нечестивым хорезмшахом.

Слушая рассказ впервые, следишь, что же будет дальше, подчас забывая, зачем сей рассказ. Но для Джалалиддина искусство всегда было средством.

–

— Подобно этому, — заключил он свое поучение, — ученые наших дней умеют на сорок частей расщепить каждый волос в своих науках, до ничтожнейшей малости знают все, что не относится к ним самим. А то, что для них всего ближе и важнее — свою собственную сущность, то есть самих себя, — не знают. Факихи и улемы все на свете разделили на дозволенное и запретное, на чистое и нечистое, но не ведают, чисты ль они сами, не знают, что они сами такое…

–

Ученики ушли. Последним, просушив песком чернила, молча, точно боясь расплескать словами переполнявшую его радость от подарка, преподнесенного учителем, склонился в поклоне и удалился, пятясь, Хюсаметтин.

Похолодало. На мгновение в проеме, закрыв синеву неба, показалась чья-то тень. И исчезла. Верно, приходил сын Велед, но не решился помешать раздумьям отца.

А он все сидел, спрятав в рукава ватного халата мерзнувшие сухие руки, перебирая в пальцах бусины четок, ползущие с мерным шелестом длинной бесконечной змейкой по каменным плитам пола. И мысли его, как у всех стариков на свете, были обращены к тому, чего давно уже нет, но что сделало мир таким, каков он есть и будет.

–

Что мог понять он в двенадцать лет из беседы отца со стариком в засаленном ветхом халате, со всклокоченной бородой и полубезумным, уже не видящим взглядом? Самонадеянный сын Султана Улемов Джалалиддин помнил наизусть Коран, изучал хадисы и шариат, знал правила арабской грамматики и сложения стихов, читал сочинения великих поэтов, но что мог он знать о

самом себе? Ему было известно, что старик, к которому его привел отец, — великий поэт Аттар. Он помнил наизусть строки его стихов, но разве могли быть ему ведомы бездонные глубины духа, таящиеся под вязью слов? Откуда было ему понять, отчего славный ученостью город изгнал сюда в это неприглядное убежище мудреца, чьим именем мог бы гордиться сам Багдад?

А старик видел его как на ладони. Теперь-то Джалалиддин, сам старик, хорошо это знал…

КНИГА ТАЙН

…Они уже успели привыкнуть к мерному покачиванию звезд над головой, к ровной иноходи верблюдов, к хриплому заунывному пению погонщиков, к переправам через реки и ущелья, к хрустящему на зубах, забивающемуся за ворот песку, гонимому колючим холодным ветром. К дневкам в обнесенных глинобитными стенами рибатах на степных дорогах, охраняемых воинами с однообразно палаческими, словно выдубленными из грубой кожи, физиономиями, к ночевкам в караван-сараях на ковриках, постеленных поверх соломы, полной блох, при неверном свете ночников под хруп и топтание лошадей в конюшне. К многолюдным встречам у лежавших на пути городов, — заслышав о прибытии Султана Улемов, толпой выходили встречать его шейхи и богословы, проповедники и дервиши. К мельканию местностей, лиц — только успеешь к ним приглядеться, как их уносит течение реки, именуемое дорогой. Казалось, не два месяца, а целую жизнь движутся они караваном по лику земли, и разве что в далеком сне были где-то и детство, и отчий дом, и город Балх, когда после полудня среди обширных садов и еще по-зимнему пустынных пашен показались вдали стены города, чье имя славилось в мусульманском мире не меньше, чем имя Балха.

Нишапур, столица Хорасана, встретил их грязью на улицах, не просохших после только что отшумевших ливней. С суетливой почтительностью виднейшего богослова Балха и его людей препроводили в одну из старейших в городе медресе Сабуни. Пока слуги развьючивали верблюдов, обтирали шерстяными тряпками влажные крупы коней, взрослые располагались по кельям, выходившим в обширный внутренний двор, а отец, прямой и безулыбчивый, беседовал с настоятелем медресе — таким старым, что борода его, шириною с ладонь, была желтой, как слоновая кость. Мальчики, едва омывшись от дорожной пыли, решили поглядеть на знаменитый тафсир — собрание

комментариев к Корану, едва ли не самое обширное в мире, написанное десятками ученых, призванных для этой цели в Нишапур со всех концов света двести лет тому назад. Тафсир, который, по словам историка Аль-Утби, обошелся властителю в баснословную сумму — двадцать тысяч динаров.

Книг в хранилище было немало, однако они не заполняли всего пространства от пола до потолка, как об этом говорили летописцы, и великого тафсира среди них не было. Послушник-софта объяснил мальчикам, что тафсир погиб семьдесят лет назад при разграблении города кочевниками-огузами.

Толстые каменные стены в кельях медресе были влажны и гладки, точно отполированы временем и поколениями учеников, — рука соскальзывала по камню, как по стеклу. Лишь кое-где морщины трещин напоминали о случившемся с десяток лет назад страшном землетрясении.

Они въехали в Нишапур с волнением — столько легенд и преданий, столько великих имен было связано с ним. Не ратными доблестями, не грозными властителями и мирозавоевательными походами прославился в веках этот город, а подвигами духа.

Здесь некогда возникла школа «маламати» — «людей упрека», возмутившихся лицемерием святош, злоупотреблением святостью. Властители всех городов мусульманского мира, желая укрепить свою власть духовным авторитетом, постоянно призывали ко двору людей, прославившихся святостью, осыпали их щедрыми дарами. Со временем аскетизм сделался ремеслом, приносящим отнюдь не небесные, а вполне весомые земные блага. И тогда «люди упрека» разработали учение, согласно которому стремление к очищению помыслов и чувств есть сугубо личное, интимное дело каждого, о коем не следует ведать посторонним. Мало того, если вас будут считать грешником, осыпать оскорблениями и презирать, тем лучше: значит, вы стоите на правильном пути, ибо праведников и пророков всегда поносили и презирали. Внешне «маламати» ничем не должны были отличаться от остальных людей. И они не носили власяницы, не облачались в отрепья, а одевались, как воины, поскольку принадлежность к воинскому сословию заведомо исключала возможность безгрешного пропитания. Если «человек упрека» намеревался добывать себе пропитание подаянием, то обращался за ним в нарочито грубой, даже оскорбительной, форме, дабы не вызвать сострадания и жалости к себе, не превращать свою добровольную нищету в ремесло. Учение «маламати» было потом развито суфиями Хорасана.

Лет двести назад во времена деспотии султана Махмуда Газневийского, понимавшего связь между тиранией и

религиозной нетерпимостью, начальником города — раисом был назначен некто Абу Бакр Керрами, глава ортодоксальной секты ревнителей буквы, ополчавшейся на любую попытку обосновать религиозно-этическое учение с помощью разума. Сделавшись правой рукой султана, Абу Бакр Керрами и его сторонники устраивали массовые суды и расправы над инакомыслящими, наживались на конфискации имущества, брали взятки от обвиненных в «ереси», превратив самую нетерпимость свою в источник благ. Но всеобщее возмущение нишапурцев заставило власти отстранить Керрами и официально признать принцип, по которому святость и звание духовного подвижника объявлялись несовместимыми с государственными постами и стремлением к земным благам.

В одной из многочисленных дервишских обителей Нишапура прославленный суфийский шейх Абу Саид Мейхени устраивал для простонародья маджлисы — собрания, где славил любовь ко всему сущему и вместо комментариев к Корану и изречений пророка осмеливался в подтверждение своих мыслей петь народные любовные стихи, приводя в экстаз многочисленных слушателей. Щедрые подношения, коими одаривали его богатые купцы, шейх расточал на угощения с пляской и музыкой, что было для ревнителей правоверия прямым святотатством. Но поддержка горожан не позволила им расправиться с Абу Саидом. Не носил он и рубища, ибо, по его убеждению, «дело божие можно делать и в отрепьях, и в богатой одежде», а чистота помыслов важнее соблюдения обрядов. Абу Саид встретился с великим врачом и ученым, автором свода знаний его времени «Книги исцелений» и многотомного труда «Канон медицины» Абу Али Ибн Синой, ненавистным для религиозных фанатиков приверженцем рационализма. Но шейх и ученый расстались весьма довольные друг другом. Ибн Сина сказал своим ученикам: «Абу Саид видит то, что я знаю». А шейх заметил: «Ибн Сина знает то, что я вижу». Оба великие мужа впервые высказали мысль о равноправности двух форм познания — рационально-логического и чувственно-метафорического, познания, направленного на окружающий нас мир, и познания психологических закономерностей, управляющих духовным миром человека.

Из ремесленников Нишапура вышел похороненный здесь же создатель совершеннейшего солнечного календаря, астроном и математик Омар, по прозвищу Хайям, то есть «Швец палаток». Он слагал удивительные четверостишия — рубаи, кои в годину страшного гнета славили свободу духа. О если бы только дарована была б ему способность избегать неповиновения богу!

И наконец, где-то здесь в столице Хорасана Нишапуре жил еще Султан Постигших Истину, подвижник и поэт Фаридаддин по прозвищу Аттар — Аптекарь.

–

Все эти имена и легенды, о которых сыновьям балхского богослова рассказывал их наставник Сеид Бурханаддин, вернувшийся теперь в родной Термез, навстречу страшному монгольскому нашествию, не раз приходили им на ум, когда, скользя по грязи, бродили они по раскисшим улочкам старого Нишапура, с недетской серьезностью заглядывая в ханаки, медресе и мечети, слушали тревожные базарные толки и заклинания юродивых.

Город наводняли кошки. Стаями носились они по пустырям, грелись на солнце, развалившись у дувалов, полукругом сидели около каждого торговца потрохами, следя внимательными круглыми глазами за его движениями.

Брат вдруг дернул Джалалиддина за рукав. Оглянувшись, он увидел, как белая, точно горный снег, поджарая кошка, брезгливо отряхивая лапы, несет в зубах такого же белоснежного котенка. Позабыв о сдержанности, Джалалиддин кинулся было за ней — так захотелось ему подержать в руках теплый белый комок, но кошка метнулась и одним махом перелетела через высокую стену сада. Он застыл на месте. Нет, он не устыдился своего порыва: просто увидел на ветвях сливы, свешивавшихся над глиняным дувалом, острые, как язычки светло-зеленого пламени, молодые листики. И, вдохнув явственный запах весны, надвигавшейся с юга на поля и сады Хорасана, вдруг ощутил такую слитность с миром, с каждым человеком в этом незнакомом суетливом городе, с этой вот кошкой, с красноватой глиной под ногами, с едва проклюнувшейся листвой, с ветром, раздувавшим полы его ферадже, со всеми пройденными городами, с огромной беспредельной землей, словно тело его не имело границ и все вокруг было продолжением его самого. И долго еще, опьяненный, брел он по улицам вслед за братом, не в силах вымолвить ни слова, пока ощущение это не уплотнилось в нем в излучавшую свет белую жемчужину.

Тут он вспомнил о девочке Гаухер, ибо «гаухер» значит «жемчужина». Он не видел ее вот уже несколько недель. И заторопился обратно в медресе Сабуни.

–

Хоть их отец, Султан Улемов Балха, и поклялся, что, пока жив шах Мухаммад, нога его не задержится в хорезмийских владениях, он все же решил провести в Нишапуре несколько дней: надо было дать отдых животным и людям, предстоял переход через великую пустыню Дашти Кабир. Но главное, перед тем как навсегда покинуть родные края, не мог он не повидаться с автором «Книги тайн» Фаридаддином Аттаром, который был старше его лет на пятнадцать, но посвящение в суфии, то есть благословенный плащ — хырку получил из рук его названного брата и соученика по Хорезму шейха Маджаддина Багдади, умерщвленного богомерзким шахом Мухаммадом.

С сокрушением узнал он, однако, что поэт за ересь тоже был приговорен к смерти, замененной конфискацией имущества и изгнанием из города. Но, по слухам, поселился где-то неподалеку и живет в полном одиночестве. И понял тогда Султан Улемов, отчего вопреки обычаю, требующему первым нанести визит тому, кто прибыл издалека, Фаридаддин Аттар не посетил его в медресе Сабуни.

В сопровождении восседавшего на ишаке тощего вертлявого дервиша, коего приставил к ним старый мударрис, когда Султан Улемов Балха высказал желание посетить поэта в его убежище, они миновали загородные сады и виноградники, проехали деревню — чинары здесь еще стояли голые, лишь кое-где на узловатых ветвях виднелась прошлогодняя листва — и часа через три приблизились к выжженной солнцем лысой горе. Отец спешился и медленным шагом направился к вершине, где чернел вход в пещеру. Дервиш, то ли из почтительности, то ли из осторожности, остался у лошадей, а Джалалиддин с братом, держась шагах в двух позади, последовали за отцом.

На широкой площадке перед пещерой не было никого, меж тем Аттар наверняка был предупрежден об их прибытии. Только когда отец подошел к кучке пепла — очевидно, здесь разжигал огонь обитатель пещеры, им навстречу быстрым шагом вышел щуплый легкий старик в темно-буром обтрепанном халате и в высокой шапке. Не суетливость, а стремительность была в его походке, будто, занятый чрезвычайно важным делом, он внезапно услышал о прибытии дорогого гостя. Остановился он так же стремительно, точно уперся в невидимую преграду, и медленно склонился в молчаливом приветствии. Трижды обменявшись земными поклонами, они уселись на камнях по обе стороны выжженного костром круга: высокий суровый богослов в траурной лиловой чалме и согбенный годами сухонький поэт в островерхой дервишской шапке из войлока. Молча глядели они друг другу в лицо.

О чем они думали? О боге? Друг о друге? Об убиенном шейхе Багдади? О прожитой жизни или превратностях судьбы? Нет, скорей всего просто смотрели, чтобы проникнуть в самую суть друг друга, настроиться на один лад. Что тут могли слова?

Молчание длилось долго. Во всяком случае, так показалось Джалалиддину, который, почтительно сложив руки на груди, как положено правилами благовоспитанности, стоял вместе с братом за спиною отца. Трудно было понять, сколько лет поэту — семьдесят пять или все сто. Возраст стариков — одна из их тайн, по крайней мере, от молодых. Да и в возрасте ли дело, когда перед тобой человек, исходивший весь мусульманский мир от Египта до Индии, державший в памяти все, что знал этот мир о своих подвижниках, прошедший вслед за ними путь подвижничества и самосовершенствования, описанный им самим в поэме «Беседа птиц», человек, сложивший десятки стихотворных книг, прославивших его имя, но ни разу не осквернивший своего пера славословием власть имущих.

Неужто все это совершил вот этот сухонький старичок со всклокоченной бородой, в истрепанном халате? Отчего не довольствовался он благополучной и сытой жизнью владельца аптекарской лавки, что досталась ему в наследство от отца, как довольствовались бы на его месте другие? Что двигало им?

Откуда было знать это двенадцатилетнему мальчику, стоявшему лишь в самом начале пути по двум мирам — миру земли и миру своей души и глядевшему на человека, прошедшего этот путь до конца.

Аттар меж тем сам ответил на этот вопрос в поэме «Беседа птиц». Ответил по обыкновению притчей — легендой о другом поэте, который поклялся молить бога в день Страшного суда, чтобы тот вверг его в ад и сделал его тело столь огромным, дабы в аду не осталось больше места ни для одного человека.

Поэму «Беседа птиц» Джалалиддин читал вместе со своим наставником. В отличие от большинства учеников медресе, которые читают для того, чтобы не думать, Джалалиддин размышлял над прочитанным. Но размышлять — одно, а понимать — другое. Недаром тюрки говорят: «Тому, кто понимает, достаточно и комариного писка, тому, кто не понимает, не хватит и барабанного грома».

Самозабвенная любовь к другим — вот что руководило Аттаром и другими подвижниками Истины. Но если двенадцатилетний Джалалиддин не мог понять этого разумом своим, то сердцем почуял. Почуял в тот миг, когда, осмелившись поднять глаза, встретился с полубезумным взглядом Аттара. И в тот же миг поэт по праву старшего, словно отвечая на немой

вопрос Султана Улемов, первым нарушил молчание:

— Я из мира тайн пустился птицей
В этот низкий мир, чтоб взмыть с добычей.
Оказалось, не с кем тайной поделиться.
И ни с чем пришлось мне возвратиться.

Глаза поэта вдруг застыли, углы губ опустились, и Джалалиддин увидел, что он стар и испепелен, как выжженная земля перед зияющей, точно могила, пастью пещеры.

— Очами души моей, — говорил тем временем отец, — я искал тебя, шейх Фаридаддин, много лет. И по милости Аллаха сегодня удостоился счастья лицезреть тебя земными очами…

Дальше Джалалиддин не слышал. Острая, пронзительная жалость охватила его. Не к этому старику в остроконечной шапке, а к целому свету, который скоро лишится Аттара. Так явственно услышал мальчик в его словах, что тот покончил с жизнью все счеты и ждет теперь лишь одного — конца.

–

Ждать Аттару оставалось недолго. Через год, 10 апреля 1221 года монгольские тюмени взяли Нишапур. За то, что у стен его был убит монгольский военачальник, просьба горожан о помиловании была отклонена, все жители, за исключением четырехсот ремесленников, перебиты, город разрушен до основания, а место его распахано. На развалинах был оставлен монгольский отряд, дабы истребить уцелевших во время избиения.

Один из монголов прослышал, что в руки к ним попал старик, почитаемый мусульманами как святой, и предложил воину, схватившему поэта, тысячу дирхемов выкупа.

— Не продавай меня задешево, — остановил поэт воина, ошалевшего от нежданно свалившегося на него богатства. — Ты можешь выручить за меня куда больше.

Воин заартачился. Покупатель, махнув рукой, ускакал.

Аттар мог бы спасти свою жизнь. Но она была ему уже не нужна.

За старого, немощного пленника никто не давал и дирхема. Кто-то из монголов, насмехаясь над своим незадачливым собратом, крикнул: «Даю за старую обезьяну мешок соломы». Настал миг, которого долго ждал поэт. «Продавай скорее, — вмешался он, — большего я не стою!»

Разъяренный воин выхватил саблю. Так исполнилось давнее желание поэта покинуть сей бренный мир.

И сейчас, почти через полвека, каждый раз вспоминая об этом, Джалалиддин испытывал такую же острую жалость к миру, как в тот день, когда, стоя перед Фаридаддином Аттаром, увидел его отсутствующий взгляд.

–

Поэт меж тем поднялся, глянул на мальчиков, стоявших за спиной балхского проповедника, ушел к себе в пещеру и вернулся с книгой в руках.

— Пройдет немного времени, и в их сердце, — он кивнул в сторону сыновей улема, — вспыхнет сердце мира, искры его зажгут пламя в душах, жаждущих Истины…

Передавая книгу отцу, шейх Фаридаддин Аттар, странное дело, вопреки правилам вежливости смотрел мимо него, прямо в лицо Джалалиддину. И от этого взгляда жалость в Джалалиддине почему-то утихла, сменившись мягкой печалью.

Теперь, на старости лет, Джалалиддин знал: ничего странного в этом не было. Знаток человеческих душ, умевший читать по лицам, как по раскрытым книгам, Аттар немного потратил труда, чтобы понять чувства мальчика, угадать в нем пламенную отзывчивость, сызмальства сделавшую его отношения с миром столь трудными. Чужой ад, так же как для Аттара, был для него и его собственным адом.

–

Джалалиддин не помнил, как они вернулись в город. Помнил только, что суетливая предупредительность нишапурцев показалась ему суетностью, почтительность — угодливостью, а тревога — трусливостью. И с облегчением вздохнул, услышав, как отец, передавая коня слугам, сказал шейху Хаджеги:

— Завтра с утра — в путь!..

СВЕЧА ПЕРВАЯ

Он не оглянулся на звук шагов: медресе давно погрузилось во тьму, все равно не разглядеть, кто там. Но эти — мягкие, вкрадчивые, благовоспитанные — он знал и так: шаги старшего

сына Веледа.

Большой летучей мышью заметалась по стенам тень руки, заслонявшей пламя свечи. Борода клином при каждом шаге вздымалась под потолок и падала мотыгой к полу… Мы тени на лице земли — и только. Да, тени, мелькнули, и нет нас. А вечно лишь пламя, которое мы несем в себе и передаем друг другу, как пламя этой свечи, что, молча склонившись, ставит сейчас перед ним сын, пламя, зажженное от другого где-то за этими стенами. И чем ярче пламя, сжигающее нас, чем дольше оно горит, тем ближе мы к Истине, что разлита в мире, как сок в ветвях дерева…

–

Мы с вами, читатель, именуем истиной познанные нами закономерности бытия. Джалалиддин называл ее богом. Он был сыном своего времени. Но птичка, сидящая на голове мудреца, видит дальше него вовсе не потому, что она мудрей или дальновидней, — просто она сидит выше.

Придуманный человеком единый, всемогущий, всеведущий бог обозначал по сравнению с язычеством скачок в развитии его разума, ибо в этой метафоре, пусть в отчужденном от человека виде, было заключено и сознание единства мира, и мечта о всемогуществе, всеведении и единстве рода человеческого. Надо думать, история — не собрание ошибок, а цепь попыток. Для своей эпохи возникновение монистических религий было попыткой разрешить мучительное противоречие между физиологическим и психическим, между телом и сознанием, между объектом и субъектом.

Джалалиддин, прозванный Руми, ибо большую часть жизни он провел в Руме, как тогда называли мусульмане Малую Азию, был сыном своего века и облекал свою мысль в теологические одежды.

Но бестрепетно углубляясь в тайны человеческой психики (мы теперь знаем, что сознание есть отражение объективных закономерностей действительности), Джалалиддин убедился, что «мир есть война противоположностей» в их единстве, что мир не создан однажды и навсегда, а «заново создается каждый миг».

Джалалиддин построил систему диалектики, начало которой было положено его предшественниками, включая мыслителей Греции и Рима, Аравии, Индии и Китая.

По признанию Гегеля, Джалалиддин Руми помог ему построить свой диалектический метод, который в переосмысленном виде вошел составной частью в передовое

мировоззрение нашей эпохи.

Но Джалалиддин, сын своего времени, в отличие от Гегеля, изложил свои мысли не в отвлеченно-логических категориях, а в пламенных поэтических образах.

В эпоху монгольского нашествия с Востока и походов крестоносной дикости с Запада, религиозных войн и фанатизма он призывал к терпимости: все монотеистические религии в его глазах были едины по сути. В эпоху угнетения, насилия и рабства он проповедовал равенство людей, независимо от богатства, расы, религии, происхождения, чина. Люди разнились для него лишь тем, насколько приблизились они к Совершенному Человеку, а приблизиться к нему мог любой в меру своего труда и способностей.

Обращаясь к жаждущим истины, он произнес в одной из газелей знаменитые слова:

О те, кто взыскует бога!
Нет нужды искать его, бог — это вы!

Так раскрыл он в своей поэзии реальное содержание метафоры «бог».

Жизнь и смерть, сознание и материя, человек и человечество, пространство и время — по-разному назывались и ставились эти проблемы на протяжении истории. И покуда существует само человечество, они снова и снова в ином обличье будут вставать перед ним, а каждая попытка их решения будет, как и прежде, лишь приближением к истине.

Давайте же вернемся, читатель, снова на семь веков назад, в осеннюю ночную тьму 1268 года, в город Конья в Малой Азии, где в одной из медресе перед одинокой свечой сидел Джалалиддин Руми, погруженный в размышления и воспоминания, чтобы вместе с ним проследить его жизнь. И попробуем, не смущаясь архаичными словами и непривычными способами выражения мысли, понять скрывающийся за ними смысл одной из таких величайших в истории попыток, и, быть может, удастся нам почувствовать живой жар пламени, сжигавший этого человека, прорвавшего завесы времени. «Слово, — говорил Джалалиддин, — одежда. Смысл — скрывающаяся под ней тайна».

–

Ставя свечу на пол, Велед снизу глянул на отца с робким

вопросом. Тот поблагодарил одними глазами, и Велед, так же мягко, вкрадчиво ступая, ушел, не высказав вопроса словами. Но его невысказанный вопрос ворвался в течение мыслей как помеха, как напоминание о чем-то нерешенном. Пытаясь одолеть ее, Джалалиддин вдруг понял еще одну причину, может быть, самую важную, которая побудила шейха Фаридаддина Аттара подарить ему, мальчишке, свою «Книгу тайн»: то была надежда, утешительница и обольстительница, надежда, что, нашептывая слова, которые ты сам хочешь слышать, ведет тебя под топор небытия. Надежда, что сыновья непременно свершат то, чего не сумели отцы, и будут лучше, чем мы, лучше и мудрее…

Да откуда же, если мы сами не сумели стать лучше и мудрее, чем мы есть? Нет, не жалея себя, не поддаваясь нашептываниям надежды, трудиться, пока дышишь, чтобы оставить после себя нечто лучшее и большее, чем ты сам. Может быть, тогда сыновья смогут то, чего не могли мы. Может быть…

Аттар не жалел себя. Но его единственный долгожданный сын родился, когда поэту пошел седьмой десяток, и умер раньше его, восемнадцатилетним. Вот что прочел теперь почти через полвека Джалалиддин во взгляде, который устремил на него старый поэт у входа в могильную пасть пещеры.

Джалалиддин подумал о своих сыновьях, которых на перепутье, в Ларенде, родила ему девочка из Балха, луноликая Гаухер-хатун. Старшего он в честь отца назвал Веледом. По ночам укачивал его на своих руках — не желал баловник засыпать иначе. Кажется, ничем бог не обидел Веледа: умен, учен, воспитан. Ничто их не разделяет, и мысли, и поступки отца понятны сыну. Но дальше, пойдет ли он дальше?

Джалалиддин помедлил. Велед был любимым сыном: надо было взвесить справедливость не на дровяных — на ювелирных весах.

Может быть, оттого, что он любим больше, ему и труднее: вот уже скоро сорок ему, борода пегая, а все под отцом, все по его стопам. Да, Велед понимает отца — лучшего истолкователя и хранителя отцовского наследства, пожалуй, и не найти. Но все, что знает Велед, усвоено им, а не добыто, — получено в наследство. Унаследованному не та цена. Да и он ведь не золото копил всю свою жизнь, не земли и страны завоевывал, не сады насаждал, чтобы их хранить?! А слова так же смертны, как все в этом мире. Так же изнашиваются от употребления и тогда уже не способны удержать смысл, как не способен удержать воду худой кувшин. Истина же вечно жива, заново рождается каждый миг, и нужен каждый раз новый сосуд, чтобы удержать хоть пригоршню ее. Новые слова могут противоречить старым, хотя содержат то

же, что содержали старые, — истину. Но если тебя мучит жажда, какое тебе дело до формы кувшина?

Достанет ли у Веледа силы и мужества не польститься на роль хранителя и наследника? По сути, хранить истину — значит добывать ее, иначе будет основана всего лишь еще одна секта, коим несть числа. Секта, освященная его именем… А ведь самое главное, к чему он пришел, — убеждение в убожестве разделения людей на секты, касты, религии: род человеческий един, как истина.

Джалалиддин содрогнулся. Слишком увалистым, мягким показался ему в этот миг Велед, чтобы устоять. Круглоликий, розовощекий, даже борода не скрывает румянца. Когда был еще жив Сеид Бурханаддин, кто-то из мюридов спросил его: «Отчего Мевляна бледен ликом, а его наследник Велед румян?» Сеид не замедлил с ответом: «Джалалиддин, сколько я его знаю, всегда влюблен, а у влюбленных глаза горят, а щеки бледны. Велед же с детства любимец, возлюбленный».

Тогда Джалалиддин только в усы усмехнулся. А ведь покойный наставник был прав. Влюбленный в истину и любимец ее — вот разница между ними… Что ни делает сын, все правильно и умно — и проповеди его, и стихи. А как-то все благостно, пресно. И стихи его похожи на стихи отца. Только так, как похожа оборотная сторона ковра на лицевую, — и страсть в красках не та, и узлы видны. Тут Джалалиддин не мог обмануться, если бы даже захотел.

Что-то в Веледе есть женственное, податливое, оберегающее. И свет в нем отраженный, лунный. Не испепеляющий, а ласковый, утешительный. Хоть и старается во всем походить на отца, но живет в нем мать его, Гаухер-хатун. Может, оттого и любит его отец больше других сыновей.

Зря все же он слагает стихи. Зачем? Поискал бы лучше своего пути, пусть бы в чем-нибудь усомнился, взбунтовался!.. Но разве ты сам, Джалалиддин, искал, сомневался, бунтовал, покуда жив был твой отец Султан Улемов? Нет, только шел за ним. Правда, порой сомневался…

–

В Мекке вместе с отцом, смешавшись с толпами паломников, они обходили вокруг священный храм Кааба. Гул молитв, творимых вполголоса, как гул морского прибоя, выкрики словно всплески. Люди плачут, размазывая слезы, не стыдясь, кто-то падает, — потрясающий миг, коего ждали они, как чуда, миг

забвения себя, слияния со всеми этими тысячами, прибывшими с четырех сторон света. Чуда, после которого все должно перемениться. Не могут же эти самые люди, ощутившие себя чем-то единым, каплей в человеческом братстве, вернуться к злобности, скаредности, чванству?

Но ведь в тот же день увидел он, как дервиши затеяли драку, заспорив о степенях праведности: мелькали кулаки, вздымались острые посохи, не слезы, а кровь текла по бородам, глаза по-прежнему горели, но нетерпимостью и ненавистью, и не хвалу, а хулу изрыгали уста.

По дороге из Мекки в Медину их караван обогнал темнолицый всадник на дорогом арабском скакуне. На нем был богатый халат и чалма хаджи-паломника. А рядом бежали слуги в таких же чалмах, но в сандалиях на босу ногу, пальцы сбиты в кровь. В осанке богатого паломника-араба подметил двенадцатилетний Джалалиддин торжествующее самодовольство. Увидел он его и во взглядах многих других хаджи. И ему пришло в голову, что они совершили паломничество, предписанное каждому мусульманину, не затем, чтобы исполнить священный долг или очиститься от грехов. А для того, чтобы спокойно творить на родине неблаговидные дела свои, прикрывшись благословенным званием хаджи, которого удостаиваются паломники.

Нет, чуда не свершилось. Восторг, испытанный Джалалиддином, который, казалось, разделяли все паломники, не изменил людей, их жизни и поступков. Но, когда шевельнулась в нем мысль, что можно остаться нечестивцем, совершив паломничество, и быть праведником, не выходя из своего квартала, он устыдился себя, ибо помнил наставление отца: «Люди — твое собственное зеркало, их грехи — отражение твоих».

Истинные слова пришли через десятилетия:

Эй, паломники, где вы, куда вы, куда?
Поскорее сюда! Поспешайте, он здесь,
Тот, кого вы взыскуете присно и днесь!
Ваш возлюбленный — ваш самый близкий сосед.
Смысла нет по пустыням бродить ветру вслед…
Знайте; храм,
И хаджи, и святыня — ты сам.

Какое там взбунтоваться?! Пока был жив отец, он иногда сомневался, но ни в чем не усомнился. Не зря, наверное, говорят, что мужчина становится мужчиной только после смерти отца.

Их с отцом разделяло почти полвека. Когда он умер, Джалалиддину было всего двадцать три. А его старший сын Велед лишь на девятнадцать зим моложе отца своего. И ему уже под сорок.

С того мгновения, когда в досаде произнес он про себя слово «взбунтоваться», он чувствовал, что чья-то фигура вот-вот возникнет перед его духовным взором, и отгонял ее, как синюю назойливую муху. Но отогнать не смог: явился все-таки!

Явился второй сын, чье имя не хотел он поминать даже в мыслях своих. Да, этот взбунтовался. Но не затем, чтобы найти, а чтобы не лишиться. Не потому, что узок был ему отцовский путь, напротив, слишком показался необычен и опасен. Хотел удержать отца лишь для себя, хватал, как тонущий хватает, увлекая за собой на дно спасителя… Не ты взбунтовался, а взбесилась в тебе скотина ревности и себялюбия, заставив позабыть о разуме и чести. Поднял руку, и на кого?! Воистину сказано: «Кто оживит хоть одного человека, все равно что оживит всех. Кто убьет хоть одного человека, все равно что убьет всех!»…

С недоумением прислушался Джалалиддин к нараставшему в нем, почти забытому чувству. Кажется, это был гнев, а он ведь полагал, что с ним давно покончено, ибо уже много лет то, что прежде пробуждало в нем неистовое негодование, теперь вызывало лишь жалость и печаль.

«Познать мир своей души и овладеть им, пожалуй, потруднее, чем овладеть миром земным, как некогда овладел им Александр Македонский. Но самое трудное ждет потом: все знать и понимать, и, глядя на безумство мира, не быть в силах что-либо изменить! Вот тягчайшее из испытаний».

Опознав в готовом прорваться негодовании своего старого противника, Джалалиддин сразу совладал с ним. И мускул не дрогнул на лице. Все так же мерно шелестя, ползли бесконечным кольцом по плитам пола четки.

Он знал, откуда явился этот гнев — тоже отцовское наследство. Редко выходил из себя суровый, непреклонный Султан Улемов, но уж если выходил, то гнев его был страшен, как гром.

Впервые поразил он Джалалиддина во время последней пятничной проповеди в соборной мечети Балха. Но там хоть была серьезная причина, а вот на привале перед Багдадом…

ДАРУ-С-САЛЯМ

Прислонившись к слоновой ноге пальмы, они с братом

утоляли голод сыром, завернутым в тонкие просяные лепешки.

Тело ныло от усталости: позади были пустыня Дашти Кабир, горные перевалы Курдистана. Последний ночной переход измучил всех, даже отца, хоть после Нишапура он тоже ехал в намете, на верблюде. Но отец торопился и не велел развьючивать.

Пока погонщики укладывали верблюдов в жидкой тени деревьев, остальные ушли трапезничать в караван-сарай.

Наслаждаясь прохладой, мальчики жевали и с любопытством глядели на древнюю дорогу, по которой когда-то ездили еще цари Вавилона, на торговцев, предлагавших прямо с осликов сыры, лепешки, финики — они были здесь до удивления дешевы, на дымящиеся жаровни.

Стояло раннее утро. Но дорога была оживленной — чувствовалось, что столица халифата рядом. Промчался гонец на сером белуджистанском верблюде-иноходце — говорили, что они могут проделать с восхода до заката целых тридцать ферсахов. Мужчины в длинных рубахах с высоким воротником, в светлых легких халатах, рабыни с корзинами на головах, в ярких цветастых одеждах, дома с широкими въездными воротами в центре трехчастного фасада — все здесь было чуждым и странным.

Брат прислушался к крикам торговцев, подтолкнул Джалалиддина локтем:

— Стоило ли мучиться над арабской грамматикой, если тут каждый торговец знает по-арабски!..

Джалалиддин хмыкнул, но не повернулся. На дороге появился караван. Что-то в нем показалось ему знакомым, но что, он не мог разобрать. Только когда караван приблизился, Джалалиддин вскочил и бросился к вожатому. Он не ошибся — то были земляки, балхцы.

Весть о том, что здесь остановился Султан Улемов со своими мюридами и среди них — один из старейшин торгового сословия Балха Шарафаддин Лала, так поразила балхских купцов, что они решили сделать стоянку.

Новостей из дома, однако, они сообщить не могли, ибо отправились из Балха много раньше по кружной дороге — их нежный товар не выдержал бы сухости пустынь. Желая хоть чем-то одарить земляков, купцы раскрыли один из тюков. В нем была балхаи — вяленая дыня, которую готовят только в их родном городе.

Джалалиддин с детства дивился мастерству резчиков — тонкой непрерывной спиралью снимали они с дыни всю мякоть до самой сердцевины.

Он уткнулся лицом в янтарные сплющенные пластины и

услышал тонкий сладкий аромат родины. То был ее последний привет.

Но Султана Улемов встреча с земляками не смягчила: казалось, его уже ничто не связывает с Балхом.

После трапезы к нему подошли два погонщика.

— Дальше сегодня не пойдем. Верблюды устали!

— Не время отдыхать!

Отец что-то еще долго втолковывал им, но на все его слова был один ответ: «Верблюды устали!» И вдруг рукав отцовского халата взвился над головой, громадная сухая ладонь опустилась на щеку погонщика. Тяжелая была рука у Султана Улемов — он сбил обоих на землю одним ударом. Никто даже не успел опомниться.

— К верблюдам, шлюхины братья!

Верблюды и правда устали, но, главное, погонщикам хотелось досыта наговориться с земляками. А отец не терпел лжи. Столь ли велика была, однако, эта ложь, чтобы поднимать из-за нее руку на малых сих? И куда он так торопился?

Теперь-то Джалалиддин понимал, что маленькая хитрость погонщиков оказалась лишь последним толчком, чтобы прорвалось негодование, скопившееся в душе отца. В Багдаде стало ясно и другое: отчего так торопился Султан Улемов. Но тогда его гнев, а пуще всего брань до смерти напугали мальчиков.

–

Часах в двух от халифской столицы их остановили. Времена были смутные, и на всех дорогах стояли заслоны. Караван окружили стражники-арабы.

— Откуда и куда вы идете?

Отец, с самой стоянки не показывавший лица, откинул полог:

— От бога идем мы и к богу придем, — возгласил он по-арабски. — Нет власти иной, кроме власти Аллаха. Мы идем ниоткуда и придем в никуда!

Стража оторопела. Арабы благоговеют перед словом, сказанным на языке пророка. А смысл слов и тон, которым произнес их этот странный путник, были устрашающи. Воины не решились ни остановить караван, ни отпустить его. Отрядив гонца к шейху шейхов Багдада Сухраварди, они последовали к городу вместе с караваном.

Когда гонец доложил, что к Дару-с-Саляму, то есть Обители Мира, как на официальном языке называлась столица халифата, приближается караван, судя по всему, идущий из Хорасана, с

которым следуют улемы и дервиши, и передал странные слова, шейх Сухраварди решил:

— Это может быть только Бахааддин Велед из Балха, ибо по нынешним временам никто, кроме него, таким языком не изъясняется.

Сухраварди, один из виднейших богословов Багдада, тот самый, что, пытаясь предотвратить поход против халифа, ездил послом к хорезмшаху Мухаммаду, знал всех виднейших шейхов и суфиев своего времени. Ведома была ему и распря меж улемами шахского двора и Бахааддином Веледом. И ежели теперь знаменитый шейх и проповедник покинул владения хорезмшаха, то, каковы бы ни были причины, это на руку благословенному халифскому дому Аббаса. Следовало оказать путникам самый почетный прием, дабы все благочестивые мусульмане видели уважение повелителя правоверных к мужам веры, коих преследует нечестивый хорезмшах, дерзнувший простереть святотатственную длань свою к халифскому престолу в Багдаде.

–

Когда показались стены халифской столицы, навстречу каравану выехала из ворот внушительная процессия во главе с самим шейхом Сухраварди на белом муле.

Сухраварди спешился за несколько шагов. Подошел к откинувшему полог Султану Улемов. Тот позволил шейху шейхов Багдада поцеловать край своего платья. Однако предложение остановиться у него в особняке учтиво, но твердо отклонил. Улемам-де больше пристало ночевать в медресе, тем более что, как бы ни хотелось путникам продлить пребывание в Обители Мира, они уже завернулись в плащ паломничества и, если на то будет соизволение божие, немедля отправятся дальше в Мекку.

Они въехали в город по мосту Нахрване, перекинутому через быстрые мутные волны Тигра.

Отец был по-прежнему непроницаемо замкнут. Но глаза его горели, и в раскаленно-белом пламени гнева поблескивали темные искры гордыни.

–

Впрочем, скорее это лишь мнилось Джалалиддину теперь, через много лет, а тогда не мог об отце он даже мыслить такими словами. Да и не понимал он тогда, что гнев и питается

гордыней, и сам порождает ее, подобно тому, как пламя, возгораясь на углях, оставляет после себя только угли да пепел. И если научился Джалалиддин задувать в себе вспышки гнева, то оттого лишь, что лишил его пищи — неуемной отцовской гордыни. Но это отнюдь не сделало Джалалиддина смиренным: не зря евнухи духа считают его дерзким еретиком. Что поделать, страсть всегда кажется евнухам дерзостью.

Да, он, Джалалиддин, пожалуй, превзошел Бахааддина Веледа, и этим он немало обязан победе над отцовской гордыней, которая затемняет взор гневом нетерпимости…

–

Они медленно продвигались по багдадским улицам. День угасал. За решетками окон кой-где уже возжигали светильники. Но небо над дворцами, башнями, минаретами и домами, бескрайнее удивительное зеленое багдадское небо еще светилось ярким светом, точно вбирая в себя все великолепие этого города, тонувшего в полумраке сумерек.

Как полагалось духовному лицу, шейх Сухраварди, верный слуга халифского дома Аббасидов, одарил Султана Улемов знаками внимания, выражавшими почтение к духовным заслугам гостя: сам сопроводил его до медресе, ввел в лучшую келью и даже собственноручно снял с него покрытые дорожной пылью высокие сапоги. Отец все это принял как должное.

Но когда после вечерней молитвы в медресе пожаловала вереница слуг и рабов, предводительствуемая хлебодаром самого халифа Абу-л-Аббаса Ахмеда-ан-Насира Лидиниллаха, неся на подносах, прикрытых круглыми медными крышками, яства с дворцового стола, фрукты в плетеных корзинах, для любования, йеменский тростниковый сахар в запечатанных гипсом ивовых трубках и в довершение всего блюдо с золотыми египетскими динарами, снова взыграла гордыня Султана Улемов.

— Мы всем обеспечены в достатке. А богатому и здоровому не пристало принимать подаяние.

Отказавшись таким образом от даров повелителя, он повелел отправить яства в богадельни, а деньги раздать дервишским обителям Багдада.

Шейх Сухраварди понял, что, заботясь о собственной непогрешимости, гость почитает дары халифа для себя харамом. И, огорченный, удалился.

Он не ошибся. В ответ на вопросительные взгляды мюридов, Султан Улемов счел нужным пояснить свой поступок, ибо как-

никак халиф считался не только светским повелителем.

— Прими я подношение халифа, предавшегося вместо попечения об общине пророка пению, музыке и вину, от него могла быть отвращена кара господня!

Султан Улемов считал себя прямым орудием аллаха, ни больше, ни меньше.

Сыновья балхского богослова были наслышаны о роскоши и безнравственных развлечениях двора, несовместимых с саном халифа. В Багдаде ссылались на изречение пророка: «Трем играм сопутствуют ангелы — конским скачкам, состязаниям в стрельбе и забавам мужчины с женщиной». Но, во-первых, иснад, то есть цепь передатчиков этого изречения, была признана ортодоксальными улемами недостоверной, а во-вторых, оно никак не оправдывало ни петушиных, перепелиных и бараньих боев, всенародно устраиваемых в столице, ни пиров с винопитием, на которых в знак приветствия бросали друг другу цветы, слушали музыку и пение рабынь, скрывавшихся за занавесью, а иногда и вовсе открытых взорам. Рассказывали даже, что на пирах кадии, коим вменялось в обязанность блюсти шариат, сами переодевались в пестрые платья и отцеживали спьяну вино от осадка через собственные бороды.

–

Джалалиддин вспомнил, с каким брезгливым трепетом слушал он о непотребстве халифа… Что сказал бы теперь отец, если бы узнал, что, его богобоязненный сын сам ввел обычай во время маджлисов слушать игру на флейте — нае и лютне — ребабе, петь стихи собственного сочинения, мало того — плясать под музыку, позволял женщинам участвовать в этих собраниях и осыпать его цветами?!

РЕБАБ

Ах, музыка, любимый его ребаб! Быть может, самая сильная его привязанность на свете. Пожалуй, и стихи слагал он именно оттого, что их музыка способна полнее выразить смысл, никогда полностью не умещающийся в слове. Ничто на свете так не раскрепощает скрытые в человеке душевные силы, не освобождает его от мелочей, от суеты каждодневных забот, не обращает к собственному духовному миру, как музыка и танец. «Ученые споры, — повторял он своим ученикам, — так часто разделяют

людей, но танец и музыка, как ничто другое на свете, выявляют людское единство».

Язык любви — язык ребаба
Един для турка, грека и араба.

Не странно ли, что сам, будучи проповедником-суфием, Султан Улемов яростно восставал против музыки? Ведь еще за сто лет до него почитаемый шейх Абу Саид в Нишапуре, да и многие другие, устраивали «сэма», или, как говорили латиняне, «аудициа беатифика», то есть блаженное слушание музыки и пения, причем не только коранических сур, но и любовных стихов.

–

Практики и теоретики суфизма, разработавшие учение о «тарикате», то есть «пути» к нравственному самосовершенствованию и слиянию с абсолютом, определили ряд устойчивых психических состояний, достигаемых неустанными стараниями «путника». Эти состояния они назвали «макамами», то есть «стоянками». Но для них не осталось тайной, что наряду с устойчивыми психическими состояниями на «путника» налетают кратковременные, как порывы ветра, настроения. Такие порывы они называли «халь», как греки назвали их «экстазом», а мы бы назвали — вдохновением. В отличие от «макамов» «халь» хотя и являлся наградой за долгое и неустанное самоотвержение, но тем не менее не мог быть вызван усилием воли или стараниями самого путника, так же как не может быть вызвано вдохновение, хотя дается оно только тем, кто все свои помыслы устремляет к одной цели. Тонкие знатоки человеческой души, видные шейхи заметили, что музыка является едва ли не единственным средством, способным приблизить состояние «халь».

–

Музыка, любимый ребаб помогли ему, Джалалиддину, не разумом, а всем существом своим слиться с людьми и миром, ощутить себя всемогущим, совершенным человеком, равным богу. Недаром все, кому выгодно разъединение людей, расчленение мира, отчуждение сущности от явления, с такой злобностью пытались вырвать у него из рук это единственное оружие.

Каких только наветов и клевет не приходилось ему опровергать, с какими только опасностями не встречался он из-за пристрастия своего к ребабу. В последний раз это было лет пять назад…

–

В то утро после бессонной ночи, проведенной вместе с Хюсаметтином над их общей книгой, ему не сиделось дома. Потолки давили, стук плошек, шорох шагов, приглушенные голоса, словом, шум обычной жизни, шедшей за стенами с постоянной оглядкой на него — не выйдет ли трапезничать, не позовет ли, не спросит чего, — утомляли. Хотелось побыть совсем одному, наедине с собой.

Он тихо вышел через заднюю дверь, думая направиться за город, в виноградники. Утро стояло ослепительно яркое, в воздухе ни дуновения, что предвещало удушливо жаркий, томительный день, и, шагая вдоль крепостной стены, отвечая на поклоны редких прохожих, он вдруг вспомнил об укромном местечке возле рва у самых султанских ворот.

Здесь, под древней чинарой, с трех сторон укрытой кустами жимолости, под густое гудение шмелей, он уселся на землю и раскрыл том стихов Санайи. Возгласы стражников, топот копыт по настилу, скрип арб не мешали его уединению — то была жизнь, текущая помимо него, своим неизменным ходом.

Он углубился в чтение.

Переворачивая страницу, рассеянно поднял голову. Шагах в пяти, сложив руки крест-накрест на груди, стоял тщедушный маленький тюрок-факих. Жидкая бороденка его тряслась от страха, но в узких глазках сквозила медоточивая хитрость. «Разыскал все-таки! Наверное, давно стоит тут, не решаясь ни подойти, ни нарушить молчания».

Встретившись с его взглядом, факих опустил глаза и пугливо, точно почва могла каждый миг разверзнуться у него под ногами, приблизился. Согнулся до земли, вытащил из рукава и протянул бумагу.

Один из самых серых, бесталанных богословов Коньи, старик вечно был на побегушках у своих более удачливых и сановных сотоварищей по ремеслу: надеялся хоть на старости лет сподобиться назначения на должность настоятеля в самом захудалом медресе или помощника кадия в каком-нибудь городишке. Он бы и добился своего, но только если бы перестал добиваться. Пренебрегаемый и презираемый другими улемами,

он был им нужен — каждый раз, когда предстояло неприятное поручение, в качестве жертвенной овечки выбирали его.

Что поручение и на сей раз выпало ему не из приятных, было видно по испугу бедняги. Джалалиддин догадался — снова дело идет о музыке, ибо его ушей успели достичь слухи о новом доносе, который принесли на него улемы главному кадию Коньи Сираджиддину:

«О глава учености, предводитель мудрости, опора шариата и наместник пророка, господин наш, ваше святейшество! — взывали к Сираджиддину богословы. — Отчего такая ересь, как пение и музыка, завелась и распространяется по нашей земле, заглушая хвалу, которую в мечетях возносят Аллаху правоверные?! Да исполнится надежда, что будет положен конец сему обычаю и будет вырван он с корнем!»

Приняв от старика свиток, Джалалиддин ничем не выказал досады. Спросил:

— От кадия?

— Истинно от кадия, господина нашего Сираджиддина! — откликнулся факих, успевший тем временем отступить на прежнее место.

Джалалиддин распечатал свиток. Тонким писарским почерком были выведены в нем вопросы по праву и логике, диалектике и красноречию, астрологии и алхимии, толкованию корана и медицине, о божественном и природном. Все эти вопросы считались каверзными, многие неразрешимыми, во всяком случае, задавшие их мужи — он-то их знал, — вряд ли сами могли на них ответить. Знания — как хлеб. Десять батманов хлеба нести легко, а вот съесть не просто. Откуда знать этим носильщикам хлеба учености, как его едят?!

А Сираджиддин хитрец! Сам бы не против издать фетву, запрещающую собрание с музыкой и плясками, которые отвлекают паству и ее подношения, коими кормились улемы. Но что поделать, если здесь, в Конье, простой народ любит музыку и стихи! Если Муиниддин Перване, всесильный управитель султанский, желая снискать народную привязанность, устраивает для Джалалиддина сэма, на которых присутствуют высшие сановники дивана и даже султанши!

Лучше бы уж не совались эти тупоголовые улемы со своим доносом. Но если донос получен, хочешь не хочешь, а разбирать его надо. Что ж, принесший донос от доноса погибнет.

— Каждого барана подвешивают за свои ноги, — ответствовал кадий Сираджиддин улемам. — Поскольку сей муж имеет силу от бога, негоже с ним тягаться. Он и в науках явных, а не только скрытых не имеет равных себе!

Кадий Сираджиддин, по крайней мере, умел отличить носильщиков от едоков. И знал, ибо по долгу службы приходилось ему не раз слышать стихи Джалалиддина, что тот пренебрег казненной ученостью не от невежества — сам съел раз в десять больше, чем любой из местных улемов мог натаскать в кладовые памяти, а оттого, что на пиршестве познания не мог удовольствоваться черствыми сухарями.

> …Однажды ученый грамматик поднялся на борт корабля.
> — Учил ты грамматику, кормчий? — спросил он, к рулю подойдя.
> — О нет, не учил, ваша милость, не знаю грамматики я.
> И молвил ученый спесиво: — Полжизни, знать, прожил ты зря.
> Умолкнул обиженный кормчий, досаду в душе затая.
> Но вот налетел в море ветер, и бездны разверзлись до дна.
> — Умеешь ты плавать, любезный? — спросил его кормчий тогда.
> — Нет, брат, не умею я плавать, ведь тело не держит вода.
> — Что ж, — кормчий ответил спокойно, — всю жизнь, значит, прожил ты зря.

Джалалиддин пробежал глазами вопросы, коими улемы, не удержавшись, решили проверить слова кадия о его учености.

— Перо и чернила! — приказал он факиху, точно говоря: «Ну, сейчас мы расщелкаем ваши семечки».

Не спеша ответив на каждый вопрос, он свел их все воедино, подобно опытному лекарю, составляющему из многих горьких снадобий одну пилюлю, ибо обладал способностью за разными явлениями видеть единую суть.

Покончив с ответом, он помедлил мгновение, представляя, как вытянутся лица его экзаменаторов, когда проглотят они эту пилюлю, которую, запыхавшись от усердия, почтительно вручит им старик, смиренно стоящий теперь в отдалении. А затем со все возрастающим удовольствием принялся писать на обороте слова письма, в коем за внешним смирением — его требовали правила этой дурацкой, но, увы, неизбежной игры — сквозила явная издевка.

«Ученейшие мужи мира! Да будет ведомо вам, что «страсть к нагроможденным кантарам золота и серебра, меченым коням» и прочему, упомянутому в стихе четырнадцатом третьей суры

Корана, а также медресе и ханаки предоставил я, покинув их, к услугам людей выдающихся и знатных. Ни на какой пост не претендую я, ни на что на свете не зарюсь, да будут обильными богатства этих господ, да вкусят они сладость мира сего. Мы же удалились от него в уединение. От славы заперлись у себя в доме. И даже запрещаемый, объявленный харамом ребаб выпустили бы из рук своих и вручили бы им, если бы был им он надобен. Ведь лишь от униженности и заброшенности ребаба взяли мы его в длани свои, ибо расположение к несчастным и униженным завещано мужам истины и веры самим пророком».

Опоздали, святейшие! Если раньше не удалось, то теперь и подавно никто не в силах отобрать у него ребаб. Придется вам проглотить пилюлю, как она ни горька…

–

Через несколько дней старик факих, всегда живший чужим умом, подражавший другим улемам, встретил в ювелирном ряду Аляэддина Сирьянуса и, не удержавшись, посетовал:

— Так-то оно так, сынок. Но ведь я прочел столько книг, что и на ишаке не увезти. И нигде не встречал ни строки, в которой было бы сказано о дозволенности вашего ребаба!

Сирьянус больше прочих мюридов Джалалиддина торжествовал победу над черными джуббе — эти длинные кафтаны колоколом носили все здешние богословы. Но в отличие от учителя он не был обязан облекать свои мысли в облатки ученой вежливости и не преминул воспользоваться этой свободой:

— Что поделать, отец, если ты читал их, как ишак, а потому и ничего не понял!

…Внемлите наставлениям моим
И предостережениям моим!

Дабы стыда и скорби избежать,
Не надо неразумно подражать.

В суфийскую обитель на ночлег
Заехал некий божий человек.

В хлеву осла поставил своего,
И сена дал, и напоил его…

Суфии нищие сидели в том
Прибежище, томимые постом…

Поймешь ли ты, который сыт всегда,
Чту иногда с людьми творит нужда?

Орава тех голодных в хлев пошла,
Решив немедленно продать осла.

«Ведь сам пророк — посланник вечных сил —
В беде вкушать и падаль разрешил!»

И продали осла, и принесли
Еды, вина, светильники зажгли.

«Сегодня добрый ужин будет нам!» —
Кричали, подымая шум и гам.

«До коих пор терпеть нам? — говорят. —
Поститься по четыре дня подряд?

Доколе подвиг наш? До коих пор
Корзинки этой нищенской позор?

Что мы, не люди, что ли? Пусть у нас
Веселье погостит на этот раз!»

Позвали — надо к чести их сказать —
И обворованного пировать.

Явили гостю множество забот,
Спросили, как зовут и где живет.

Старик, что до смерти в пути устал,
От них любовь и ласку увидал.

Один бедняге ноги растирал,
А этот пыль из платья выбивал.

А третий даже руки целовал.
И гость, обвороженный, им сказал:

«Коль я сегодня не повеселюсь,
Когда ж еще, друзья? Сегодня пусть!»

Поужинали. После же вина
Сердцам потребны пляска и струна.

Обнявшись, все они пустились в пляс.
Густая пыль в трапезной поднялась.

То в лад они, притопывая, шли,
То бородами пыль со стен мели.

Так вот они, суфии! Вот они,
Святые. Ты на их позор взгляни!

Средь тысяч их найдешь ли одного,
В чьем сердце обитает божество?

***
Придется ль мне до той поры дожить,
Когда без притч смогу я говорить?

Сорву ль непонимания печать,
Чтоб истину открыто возглашать?

Волною моря пена рождена,
И пеной прикрывается волна.

Так истина, как моря глубина,
Под пеной притч порою не видна.

Вот вижу я, что занимает вас
Теперь одно — чем кончится рассказ,

Что вас он привлекает, как детей —
Торгаш с лотком орехов и сластей.

Итак, мой друг, продолжим, — и добро,
Коль отличишь от скорлупы ядро!

***

Один из них, на возвышенье сев,
Завел печальный, сладостный напев.

Как будто кровью сердца истекал,
Он пел: «Осел пропал! Осел пропал!»

И круг суфиев в лад рукоплескал,
И хором пели все: «Осел пропал!»

И их восторг приезжим овладел.
«Осел пропал!» — всех громче он запел.

Так веселились до утра,
А утром разошлись, сказав: «Пора!»

Приезжий задержался, ибо он
С дороги был всех больше утомлен.

Потом собрался в путь, во двор сошел,
Но ослика в конюшне не нашел.

Раскинув мыслями, решил: «Ага!
Его на водопой увел слуга».

Слуга пришел, скотину не привел.
Старик его спросил: «А где осел?»

«Как где? — слуга в ответ. — Сам знаешь где!
Не у тебя ль, почтенный, в бороде?!»

А гость ему: «Ты толком отвечай,
К пустым уверткам, друг, не прибегай!

Осла тебе я поручил? Тебе!
Верни мне то, что я вручил тебе!

Да и слова Писания гласят:
«Врученное тебе отдай назад!»

А если ты упорствуешь, так вот —
Неподалеку и судья живет!»

Слуга ему в ответ: «При чем судья?
Осла твои же продали друзья!

Что с их оравой мог поделать я?
В опасности была и жизнь моя!

Когда оставишь кошкам потроха
На сохраненье, долго ль до греха!

Ведь ослик ваш для них, скажу я вам,
Был что котенок ста голодным псам!»

Суфий слуге: «Допустим, что осла
Насильно эта шайка увела.

Так почему же ты не прибежал
И мне об их злодействе не сказал?

Сто средств тогда бы я сумел найти,
Чтоб ослика от гибели спасти!»

Слуга ему: «Три раза прибегал,
А ты всех громче пел: «Осел пропал!»

И уходил я прочь и думал: «Он
Об этом деле сам осведомлен

И радуется участи такой.
Ну что ж, на то ведь он аскет, святой!»

Суфий вздохнул: «Я сам себя сгубил.
Себя я подражанием убил

Тем, кто в душе убили стыд и честь,
Увы, за то, чтоб выпить и поесть!..» [2]

КОНЕЦ СВЕЧИ ПЕРВОЙ

…На лице Джалалиддина обозначилась улыбка. И застыла. Уж не чудится ли ему? Послышались приглушенные звуки ребаба.

Затрещал фитиль, пламя заколебалось. Чувствуя, как в нем под темными сводами, где-то в самых глубинах приближается отзвук экстаза, он потянулся к щипцам у подсвечника, снял нагар с фитиля.

Снова заговорили едва слышно струны ребаба. Неужто его сын Велед угадал мысли отца? Или, памятуя о том, как действует на отца музыка, решил направить в иную сторону ход его мыслей: в последнее время он явственно стал побаиваться его сосредоточенных ночных уединений. Вряд ли, скорее всего любимец истины Велед просто соскучился: стыдится лечь, раз отец бодрствует, вот и взял в руки ребаб, думая, что его не услышат.

Эта мысль погасила зарницы радости, направив его размышления по старому руслу, к тому далекому вечеру, когда они в багдадском медресе слушали слова отца о непотребстве халифа, развлекающегося запретными забавами.

Музыка — как женщина. Можно употреблять ее, точно наложницу, усыпляя в себе человека и теша скота, как употреблял халиф Насир Лидиниллах.

Но можно и любить ее, стремиться к слиянию с нею в единое и так сделать первый шаг к пробуждению в себе истинной человеческой сущности.

Сэма — блаженное слушание. И оно так же отличается от развлечений халифа, как любовь от похоти.

Да, он мог понять отца и сейчас. Султан Улемов знал, что такое сэма. И если все же ратовал против музыки, то на это у него была другая причина.

Сэма — пробуждение. Но узник в темнице не желает пробуждения: оно лишний раз подтвердит его плен. Тот же, кто заснул в розовом саду, просыпается с радостью, тем более что сны его были тягостны. Музыка для свадеб и праздников — не для траура.

«Все суфии до сей поры, даже такие великие поэты, как Санайи и Аттар, больше говорили о разлуке. Наша же речь — о свидании. В этом суть».

Султан Улемов весь принадлежал к прежней эпохе плача и стенаний. Его сын Джалалиддин предвещал новую.

Воистину благословенна судьба, что в Конье простой народ любит музыку и стихи. После того как он, Джалалиддин, прожил здесь почти полвека, звуки ная и ребаба, голоса певцов, и правда, стали слышаться в городе не реже, чем заунывное причитание муэдзинов. И когда хоронят кого-либо из его учеников, не

хафизы, читающие Коран, не имамы идут впереди носилок, а музыканты и мюриды, пляшущие и поющие песни на стихи учителя, ибо лежит на носилках не просто мусульманин, а ашик, что значит влюбленный. Влюбленные же не умирают. «Не о разлуке, а о свидании наша речь…»

Но чтобы вести речь о свидании, надо было познать все виды разлук, подобно тому, как иные познают все сорта дынь, все виды начертания букв, все движения звезд.

И первая из них — разлука с родиной свершилась для него в Багдаде…

НЕСОСТОЯВШАЯСЯ КАРА

От проповеди, которую Султан Улемов по просьбе шейха Сухраварди прочел в соборной мечети Багдада, в памяти Джалалиддина осталось только великолепие ковров, устилавших пол, громады свисавших со свода светильников, дробивших пламя сотен свечей в граненых хрустальных подвесках, тесные ряды толпы, бороды улемов, но ни одного лица, ни одного слова из пророчески грозной речи отца, — верно, она повторяла уже слышанное.

Однако и сейчас, через полвека, стоило закрыть глаза, как перед ним в мельчайших деталях — до крохотного развода, похожего на молодой огурец, вставало пятно на обмазанной глиной стене в келье багдадского медресе, перед которой он провел бессонную ночь. На этой стене разыгрались перед ним страшные картины вечной разлуки с Балхом.

–

Не успели они вернуться из мечети, как по Багдаду разнеслась весть: войско Чингисхана, разрушив многие города Хорасана, обложило Балх.

Всю ночь напролет молились Султан Улемов, его сыновья и мюриды. О чем молился отец, сын не знал: лишь время от времени беззвучно шевелившиеся губы его вдруг произносили: «Хвала всемилостивому и всемогущему!»

Быть может, отец благодарил Аллаха за наказание нечестивых улемов, а может, за спасительное откровение, приказавшее ему покинуть Хорасан, как знать? Сам же Джалалиддин страстно и исступленно, в слезах, с отчаянием, в последней надежде просил милости к старой кормилице Насибе,

к сестре своей Фатиме, к ее еще не рожденному ребенку, к Синану, ко всем друзьям его игр и занятий, ко всем, кого он успел узнать и кого даже ни разу не видел в родном городе. Собственно, все молитвы человечества сводятся к одной: «О боже, сделай, чтоб не свершилось то, что должно свершиться!»

Его мольбы остались без ответа. Чингисхан взял город. И в отместку за гибель любимого внука Мутугана, убитого в сражении, неподалеку от Балха, велел перебить всех.

Шах Мухаммад, как и предсказывал Бахааддин Велед, бесславно бежал и кончил земной путь где-то на пустынном песчаном острове в Каспийском море.

Сбылось устрашающее пророчество Султана Улемов. Но не сбылась предсказанная им кара. В Багдаде предсказал он ее и халифу Насиру Лидиниллаху. Но тот, вдосталь насладившись нечестием и пороком, спокойно умер своею смертью. Когда же через тридцать семь лет монголы захватили Багдад, то вместо него запихнули в мешок и умертвили пинками другого халифа, Аль-Мутасим Биллаха, который, правда, мало чем отличался от первого и вполне заслужил такую же кару.

Но было ли это карой? Ведь халиф умер, как жил, — избранником. Если монголы — бич божий, то он понес заслуженное наказание за совершенное преступление, испытал обоснованные страдания. Он пережил грех и падение в такие времена, когда для сотен тысяч людей мусульманского мира наказание было незаслуженным, страдание необоснованным, падение невинным.

Перенести зло, пусть самое несправедливое, но знать, что именно тебя избрали жертвой во искупление вины, пусть даже не твоей, когда тысячи людей обращаются в кости и прах, не сознавая, за что, лишь оттого, что оказались на пути чьих-то коней, — это не кара, а завидная судьба, достойная мученика суфизма Халладжа. За триста лет до монголов проповедовал он на площадях Багдада и возгласил «Ана-ль-хак», то есть «Я — бог (истина)». За что был бит плетьми, распят, обезглавлен, а тело его сожжено на той же площади, где он это сказал. Не потому ли, что он сознательно шел на пытки и вынес самые страшные страдания, его слова «Человек есть истина» приобрели для последующих поколений силу истинности?

Больше двухсот тысяч балхцев погибло вместе с улемами и книгочиями, томами священных книг и мечетями. Они были втоптаны в прах, низвержены в небытие без всякого разбора: богобоязненные и нечестивые, мудрые и тупые, виновные и безвинные.

Тому, кто гибнет в многотысячной толпе, зная, что смерть

ждет всех его близких, весь город, весь народ, трудно поверить в справедливость предопределения.

Джалалиддин пережил гибель каждого балхца как свою собственную. И поэтому вечная разлука с родиной, настигшая его в Багдаде, стала для него и первым шагом к разлуке с верой в полную предопределенность сущего, первым шагом к свиданию со свободой человеческой воли на пути к совершенству…

–

На третий день их караван вышел из западных ворот халифской столицы и по куфской дороге направился к Мекке.

Увидев за откинутым пологом круглое девичье личико, Джалалиддин вдруг почувствовал, как волны неожиданной благодарности к судьбе заливают его, — Гаухер-хатун была с ним.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ
ЖЕМЧУЖИНА

Любовь — астролябия истины.

Джалалиддин Руми

ВОЙСКО

Мекка, Медина, Дамаск, Халеб, Эрзинджан — священные и торговые города — мелькали, как вехи на пути скачущего во весь опор всадника. Нигде подолгу не задерживаясь, вел Султан Улемов свой караван все на север и на север, к границам Сельджуков Рума.

По всем дорогам от Дамаска до Эрзинджана текли на север толпы людей. Бывшие хорезмийские беи, бросившие землю, бездомные, рассказывали о страшной гибели Гурганджа — столицы хорезмшаха, именовавшего себя «повелителем мира». После многомесячной осады монголы, ворвавшись в город, брали квартал за кварталом и, перебив жителей, затопили Гургандж водами Амударьи.

Ничто не могло преградить путь войску монголов — ни доблесть, ни хитрость, ни воинское умение. Сын шаха Мухаммада предпринял безрассудно-храбрую попытку остановить их и даже одержал победу над тюменами одного из монгольских военачальников, но был разбит другим. Словно дичь, преследуемая охотником, загнанный и припертый к границе Индии, он утопил в водах Инда свою мать, жену и наложниц, чтоб они не достались врагу, и, переплыв на коне реку, спас свою душу.

При имени монголов глаза рассказчиков округлялись от ужаса, точно перед ними возникали видения геенны огненной. Впрочем, облик бывших сановных вельмож говорил сам за себя — ободранные, напуганные, тащились они по дорогам с женами и домочадцами, погруженными вместе со скарбом на крестьянские повозки о двух деревянных колесах. Остатки дружин, дворовая челядь были вооружены чем попало — от сабель до кос и дубин.

Из захваченных монголами Хорасана, Мерва и Афганистана брели дервиши: каландары в островерхих куколях, с острыми, как копья, посохами в руках и кокосовыми плошками на поясе. Из Сирии шли последователи странной секты «джавляки», что

означало «голыши» — и впрямь голые до пояса, с обритыми головами и лицами. Немало было и дервишей-воинов, именовавшихся гази, эти издавна собирались к западным границам мусульманского мира под начало Сельджуков Рума, чтобы участвовать в отражении неверных френков, вот уже двести лет волна за волной наступавших из Византии.

Френкам удалось прибрать Византию к рукам, обосноваться под предлогом освобождения гроба Иисусова в Сирии и Палестине и ввести там свои варварские порядки: превратить свободных крестьян в рабов, хуже того — в скотину, которой навешивают ошейники с хозяйским клеймом.

Лишь сельджуки Рума, то отступая, то вновь одерживая победы, устояли и держались так прочно, как никогда еще не держались мусульмане в Малой Азии.

Дервиши-гази, вооруженные секирами, палицами, кривыми саблями, шествовали с песнопениями, подбадривая себя стуком привешенных к поясу барабанчиков-дюмбелеков. В торбах несли они с собой краски, которыми перед боем размалевывали лица, орлиные крылья и воловьи рога, нацепляемые для устрашения врагов.

К столице сельджуков, престольному городу Конья, оттуда на север к Трапезунду и на юг к генуэзским колониям в Анталье и Алайе торопились и купеческие караваны. Генуэзцы и русы, армяне с черными кушаками, индусы с голубыми знаками на лбу, евреи, перепоясанные, точно язычники, простой веревкой, суетились на постоялых дворах, искали лошадей, верблюдов, ослов, торговались, но не ссорились между собой, как обычно, — всех их объединяла одна мысль: поскорей и подальше от надвигавшегося нашествия увезти товары и унести ноги. Многие лавки на базарах были закрыты. Отправив достояние и семьи в укромные места, в деревни и усадьбы, их хозяева держали коней под седлом и нагайку в голенище.

На дорогах было неспокойно, а пуще всего на горных перевалах. Оголодавшие отряды хорезмийцев, никому не повиновавшиеся курды нападали на купцов, грабили путников. Озоровали и кочевые огузские племена, приглашенные сельджукскими султанами на приграничные земли. Время близилось к зиме, и огузы спускались вместе со своими стадами с горных летних пастбищ, норовя «обложить данью» путников не только в пользу султана, но и в свою собственную.

За два перехода до Малатьи караван остановили всадники, вооруженные луками, в легких кожаных панцирях, стянутых воловьими жилами, и легкими щитами из тростника, оплетенного шелковым жгутом. Караванщики приняли их за монголов и уже

готовы были распрощаться с жизнью. Но то оказались тюрки-мусульмане. Приказав не далее как через фарсах остановиться, чтобы уступить дорогу войску, лучники — верно, то был передовой отряд, — гремя подковами по камням, исчезли так же стремительно, как появились.

А вскоре за поворотом горной дороги, заглушая привычное журавлиное курлыканье караванных колокольцев, послышался разгульный плясовой мотив. Трубы, литавры, струны и барабаны возвестили о приближении главных сил. Вожатый гортанным криком свел караван на обочину. Погонщики загнали верблюдов как можно выше на крутой склон. Связанные коротким арканом — от ноздри к седлу, задрав умные головы, невозмутимо глядели верблюды, как суетятся охрана, караванщики и мюриды, пытаясь отгородить конями поклажу, женщин и детей, словно они могли и в самом деле оградить их от лихости воинов, если бы тем вздумалось поживиться.

Странная разудалая музыка приближалась. Шейх Хаджеги — прежде чем стать мюридом Султана Улемов, он воевал в Руме с гяурами — узнал мелодию. Она называлась «синджари», по имени Синджара, последнего могущественного государя Великих Сельджуков.

Двести лет назад, вынырнув из среднеазиатских степей, туркменское племя кочевников, ведущее свой род от легендарного вождя Сельджука, приняло ислам и основало империю, простиравшуюся от Китая до Византии, от Грузии до Ирака. Сельджукский султанат Рума, расположенный в Малой Азии, куда, спасаясь от монголов, устремились теперь толпы людей из Самарканда, Мерва и Тебриза, был единственным уцелевшим осколком этой некогда могущественнейшей державы.

Путники облегченно перевели дух. Мелодия «синджари» говорила о том, что им навстречу двигалось войско сельджукского султана в Коньи Аляэддина Кей Кубада I, высланное на помощь напуганному и бессильному халифу в Багдад.

Первыми из-за поворота показались копейщики на рослых гнедых конях. Дорога, спускавшаяся с перевала, окруженная высокими скалами Армянского Тавра, была узкой — три всадника едва умещались в ряд — и каменистой — пыли почти не было, так что Джалалиддин с братом, укрывшиеся по приказанию отца в намете, сверху, с верблюжьей спины, сквозь щелки в полотне могли хорошо разглядеть сельджукское воинство.

За отрядом копейщиков следовали альпы и бахадуры — отборные воины-богатыри, вступавшие в единоборство, от исхода которого нередко зависела судьба всего сражения. Кони под

ними, цвета хурмы или вороные самой темной масти арабские скакуны, с тонкими изогнутыми шеями, широким загривком и широкой грудью, короткими спинами и округлыми крупами, с трудом сдерживались, чтобы не перейти на крупную рысь, перебирали ногами с толстыми черными копытами, прядали ушами и злобно косили глазами на балхских жеребцов. У некоторых коней на шее висел кутас — вделанный в золото раскрашенный хвост яка, султанская награда за подвиг, за взятие крепости или победу над вражеским отрядом. А у главного бахадура Джалалиддин насчитал целых четыре кутаса — лиловый, два черных и желтый. То был огромный детина, весь в латах, с кривой дагестанской саблей у пояса. Здоровенную палицу его вез сзади оруженосец. Впрочем, оруженосцы — чавуши — по трое-четверо следовали за каждым бахадуром.

Сзади отряда альпов под охраной воинов, вооруженных кинжалами и легкими щитами, знаменосец вез черный треугольный стяг — знак верности черному цвету багдадских халифов, но с красным соколом посредине — родовым отличием сельджуков.

Когда на серых белуджистанских верблюдах, оглушая звоном литавр и барабанов, миновал отряд музыкантов, показались рядовые сипахи — наделенные землей служивые ратники. Каждый отряд под своим знаменем и под началом пятидесятников, которых можно было отличить по чеканным стременам и уздечкам, ярким туркменским узорам ковровых попон, переметных сум и золотым бляхам на сбруе. Кони у сипахского ополчения были разномастные — сивые в яблоках, чалые, луконогие, кривохвостые.

Но больше всего поразили балхцев три отряда, предшествовавшие обозу. На грузных конях воины в тяжелой броне и шлемах с забралами или же в кольчужных рубахах и штанах, с тяжеленными двуручными мечами, длинными копьями, саблями или острыми, как иглы, шпагами походили обликом то на персов, а то и на беловолосых русов. Заметив православные и грегорианские кресты на шлемах, мечах и накидках, прикрывавших броню, смутились ничему не удивлявшиеся мюриды отца: то были явно христиане, не скрывавшие своей веры. Как же идут они защищать халифа правоверных?!

Много позднее узнали они, что сельджуки, обосновавшиеся среди разноплеменного люда Малой Азии, не только не гнушались иноверцами, а, напротив, охотно призывали под свои знамена войска греческих и армянских вассалов, брали в наемные отряды не только тюрков, но и грузин, и френков, и даже норманнов. И веротерпимость их, быть может, немало помогла им

выстоять под ударами многовекового нашествия псов-рыцарей из западного Мира Тьмы.

Нескончаемой вереницей тянулись вьючные лошади, мулы, верблюды, груженные снаряжением, оружием, припасами. Казалось, сельджукское войско, собрав запас, необходимый на целый год, идет в безлюдный и голодный край. И Джалалиддин вспомнил: вместе с братом читали они книгу славного визиря Великих Сельджуков Низам-ул-Мулька о государственном управлении — «Сиясат-наме». И запал ему в память прозорливый совет — загодя заготовлять запасы для войска, дабы в походе не разорять и не раздражать поборами землепашцев. Знать, не перевелись среди сельджукских властителей следующие советам мудрецов и в отличие от безумного хорезмшаха понимающие, чего стоит поддержка народа.

То была их единственная радость на многомесячном пути: стройное, разумное, сильное войско. Неужто и его, как стадо овец, разобьют и разгонят монголы?..

Войско, встретившееся им у перевала через Армянский Тавр, не было разбито и благополучно вернулось домой: оно не сразилось с монголами — те повернули не на Багдад, а на север к Кавказу и, обтекая Хазер — Море Каспийское, — устремились на Волгу, на Русь. Но то была временная отсрочка…

Лишь когда скрылся из виду следовавший за обозом отряд лучников, таких же приметливых и остроглазых, как те, что остановили их на дороге, караван-вожатый решился свести верблюдов с кручи.

После полудня караван достиг перевала. Глазам открылась широкая долина. Глядя на сверкавшие под лучами солнца ослепительно белые шапки горных вершин, на радугу, раскинувшую свой мост у их подножия, там, где из теснин вырывались стальные воды Евфрата, на зеленые яйла с редкими хижинами летников, на сады и деревни, на благословенный город Малатья посреди долины, они расстелили молитвенные коврики и впервые за долгие месяцы с легким сердцем совершили послеполуденный намаз. Измученным дорогой, мельканием стран, городов и племен, им казалось, что наконец-то достигли они цели. Позади были пустыни и грозные цепи гор. Впереди лежала мирная плодородная земля, защищенная могуществом сельджукских султанов.

Но в Малатье Султан Улемов не задержался. Он повел их дальше на север. И лишь в Эрзинджане свернул к юго-западу.

КОСТРЫ

Когда они далеко углубились в пределы сельджукской державы, Султан Улемов остановился в небольшом городке, который греки и армяне, составлявшие большинство населения, именовали Ларенде. Долго ли, коротко ли намеревался пробыть здесь Султан Улемов, сказать трудно, но в лицо уже дышала холодным дыханием зима, и он решил провести ее здесь.

Султанский наместник эмир Муса, прямой, простодушный тюрок, неграмотный, невежественный, но верный государев служака, правил городом не столько по шариату, сколько по обычному кочевому праву огузов «тюре».

Он испытывал благоговейное почтение к ученым столпам веры и потому встретил балхское светило с достойным его славы почетом. Решение Султана Улемов остаться в городе льстило его честолюбию.

Каждый наместник, подражая повелителю султану Аляэддину Кей Кубаду, собиравшему при своем дворе ученых, шейхов и улемов, испрашивавшему у них совета, назидания и осыпавшему их милостями, считал верноподданническим долгом привлекать к себе людей слова и веры. Беда была лишь в одном: балхский проповедник ни за что не желал селиться где-либо, кроме медресе.

Город был всего лишь пять лет назад отвоеван султаном у армянского царя Левона II, в округе было полно церквей и монастырей, и древних, лежавших в развалинах, и новых, опустевших после завоевания. Но медресе еще не было ни одного.

Эмир, однако, уже принял решение: он удержит шейха в городе во что бы то ни стало. И обещал к зиме построить медресе.

Он сдержал свое слово. Через месяц Султан Улемов перебрался в новое медресе, правда, не чета тем, на сотни келий, которые они видели в Нишапуре, Дамаске или Халебе, но вполне достойное и обширное, чтобы в нем мог поселиться мударрис с домочадцами, его мюриды и десяток-другой учеников — софт.

Так честолюбие и простодушие султанского эмира задержало их в Ларенде вместо одной зимы на целых семь.

–

В этом городке, расположенном в семнадцати фарсахах к полудню от султанской столицы, детский ум Джалалиддина приобрел отточенную остроту, здесь овладел он основами явных знаний о мире, которыми располагала современная ему культура. Здесь, в прекрасном зеленом оазисе, окруженном вулканическими горами, в которых ранние христиане вырубили целые монашеские

города, среди греческих и армянских ремесленников, огузских воинов и хорасанских богословов прошла его юность. Здесь, в Ларенде, познал он и сладость первой весны, и первое огромное горе, и первое счастье.

Гуляя по рощам и виноградникам, забредая высоко в горы на цветущие луга, внимая звону ледяных ключей, впервые изведал он буйную радость, преисполненную благодарности к могучим силам, что движут природой. Она сызмальства потрясала его. Но только здесь, в Ларенде, в шестнадцатую весну эта радость обернулась исступленным самозабвением, которое потом все чаще стало посещать его при мыслях о бесконечности, таящейся в душе самого совершенного из созданий — человека.

Позднее он научился управлять этим исступленным вдохновением, как научился управлять всеми своими чувствами и состояниями, но и потом он не сдерживал его, а только направлял, позволяя обрушиваться лавиной, коей достаточно малейшего толчка, чтобы, низвергнувшись, снести все на своем пути.

По правде говоря, она, эта лавина, и прорвала завесы времен, пронеся мысли его и чувства через семь веков.

> …Вот тучи, долы окропив, прошли за караваном караван.
> «Пусть оживает все!» — небесный барабан грохочет.
> Земля проснулась и распахивает очи.
> От запаха весны — он шлет нам весть о самой сути розы —
> У ветви закипает в жилах кровь.
> Из семени в росток пошла любовь.
> И дерево в тоске выбалтывает тайны сердца…

Это сложилось много позднее, в Конье. Но силу, исторгавшую из него стихи, он ощутил в себе здесь, в Ларенде. Сам того не сознавая, начал он складывать стихи, вернее, они у него начали складываться, еще незрелые, как недоспевшая дыня. Странные, бессвязные возгласы, разорванные видения. Но иногда попадалась строка!.. Кое-какие из юношеских газелей своих, переложив наново, он записал потом, поставив под ними свой первый поэтический псевдоним тахаллус Хамуш. И даже приводил во время проповедей отдельные строки.

Ах, молодость, молодость! Хамуш означает «Умолкший». Еще и не начав гореть, он полагал себя познавшим жизнь и смерть, перегоревшим, умудренным… Но все это случилось позже, в Конье.

–

А в ту шестнадцатую весну он возвращался с прогулок, когда солнце уже склонялось к перевалу, окровавливая снеговые вершины Карадага, с беспричинной тоскою в сердце. Истомленное тело его, казалось, тает, растворяется в сиреневых весенних сумерках.

Не только у застав, — вокруг всего города горели по ночам костры: воздвигались крепостные стены, работники трудились без передыха, днем и ночью. Спали час-другой в пересменку здесь же, у костров, завернувшись в ватную рвань, на густо пахнущей овчине. Здесь же, у стен, и трапезничали — кому приносили из дому узелки с едой, кто прямо на кострах варил немудреную похлебку.

Джалалиддин, остановившись у костров, подолгу глядел на работу. Почти все мастера были армянами или греками. Казалось, труд уводит их куда-то далеко-далеко от неволи и полуголодной жизни, от надсмотрщиков, что денно и нощно ходили вдоль стен с гибкими палками в руках. Такие отрешенные лица, как у этих строителей, Джалалиддину приходилось видеть только у отца и его мюридов во время молитвы. И лица эти — голова не покрыта, волосы перехвачены тесьмой, чтоб не мешались, курчавые густые бороды, темные и русые, горящие глаза — вызывали в нем острое любопытство, смешанное с благоговением.

Ловко подгоняя камни, грубо обтесанные, с острыми режущими краями, они почти не разговаривали — видно, понимали друг друга без слов.

В дело шли и мраморные плиты древних языческих построек — распиленные кругляши колонн клали набок. И все это густо заливалось сверху хорасанским раствором, схватывавшим так быстро и прочно, что, мнилось, никакой силой не разъять эти стены, как не разъять горные кряжи Карадага. Да, то были строители!

Много позже, вспоминая о виденном в юности, он скажет: «Хочешь строить — зови греков, а рушить — тюрок!» Греки да армяне — строители, а тюрки — воины. Они тоже, конечно, строят, ибо нет народа, ничего не созидающего. Но строительство их не сразу увидишь глазом — это не здания, а держава.

В те годы не только вокруг Ларенде, во всех городах сельджукской державы жгли ночи напролет костры, рыли землю, свозили и тесали камень, украшали его тонким кружевом резьбы, возводили мечети, дворцы, медресе, бани, ханаки, но прежде всего караван-сараи, мосты и крепостные стены. Мастеров свозили и созывали со всех концов земли — из Грузии, Ирана,

Византии, Дамаска, Каира и Халеба. Чутье армянских каменотесов, традиции хорасанских зодчих, узорчатая вязь туркменских ковров и килимов, опыт греческих мастеров и живописцев — все это сплавлялось в пламени костров в единое целое, подобно тому, как сплавляются разные металлы в тигле алхимика.

Спешка была при этом такая, словно сельджукский султан в Конье, его наместники да и сами строители провидели судьбу и точно знали: передышка, последовавшая за недавно отбитым нашествием крестоносцев с Запада, будет коротка, и на страну обрушится еще более страшное нашествие с Востока. И тогда уже некому будет завершить начатое, и не останется от них на земле ни камня, ни памяти.

Действительно, за каких-нибудь тридцать-сорок лет в сельджукском султанате было построено и возведено столько, сколько не строили за предыдущие двести и за двести последующих. А кое-что пережило и монголов, и османов, и пребывает на лице земли памятью о тех днях и ночах, озаренных пламенем костров, вот уже семь с половиной столетий.

–

Джалалиддин передернул плечами, подошел поближе к огню. С гор долетало дыхание тающих снегов, от земли поднимался туман, ночи были еще холодными. Греческий мальчишка-подмастерье, варивший над костром похлебку в огромном, видно, на всю артель котле, заметив одетого, как мулла, Джалалиддина, привстал со старой овчины, поклонился и что-то сказал, серьезно, без улыбки. Джалалиддин в ответ покачал головой: не понимаю.

Надсмотрщик, стоявший у огня, заложив палку за спину, сверкнул по-волчьи глазами из-под мохнатой бараньей папахи. Взялся за бороду и расхохотался, обнажив плоские редкие зубы:

— Мелют по-своему необрезанные — дай только поболтать! Глаз да глаз за ними нужен, а ведь работать умеют!

Джалалиддин промолчал. Уставившись в огонь, глядел на полыхающие языки.

Уходя от насилия и невежества, немало земель прошли они — считай, на другой конец света явились. И всюду над умом и умением, над знанием и душой стояла невежественная сила палки. Видел он на пути, что кое-где ученость и пользуется почетом, но только если она угодна. Неужто так повсюду и так будет вовеки? Ведь ум и душа составляют человека, все остальное — кожа да кости, и этим он ничуть не лучше животного.

Той весной решил Джалалиддин непременно изучить язык, на котором говорили строители Ларенде, сам еще не давая себе отчета, чем вызвано это желание — ненавистью к тупости или почтением к мастерству.

С юности проявился в нем этот характер: все решенное и задуманное непременно исполнить до конца. И через год он уже свободно говорил по-гречески. Впоследствии читал в оригинале сочинения Афлятуна, как на Востоке называли Платона, подолгу вел беседы и диспуты с настоятелем платоновского православного монастыря под Коньей и даже писал по-гречески стихи.

–

Его брат Аляэддин не участвовал ни в его раздумьях, ни в его прогулках. Они и без того были разными, а тут еще в первую же зиму в Ларенде Аляэддин слег. То ли длинная дорога сказалась, то ли непривычный климат, то ли изнурительное учение по шесть-восемь часов в полутемной келье с ночными бдениями и молитвами, но только здоровье его было подорвано. Ничто ему не помогало: ни священные слова, смываемые с бумаги в воду, которую он глотал по настоянию матери, ни заклинания, сжигаемые и развеиваемые по ветру, как должна была сгореть и развеяться по ветру его хворь. Удивительная память его, легко удерживавшая длинную цепь передатчиков хадиса в сорок-шестьдесят имен, восходившую ко временам пророка, или целые страницы хитроумнейшего комментария к Корану, и та стала сдавать.

Отец, сам неплохой врачеватель, вызвал лекаря из Халеба. Тот составил мазь, которой велел натирать больного каждое утро, и чудодейственное зелье, коим подлежало его потчевать по вечерам.

Но весной Аляэддину снова похудшело. Плоскогрудый, тощий, сгорбившись по-стариковски, он лежал на подушках, сотрясаемый кашлем, и почти не выходил на занятия с наставником, все чаще пребывая на попечении матери. И с каждым днем отдалялся от Джалалиддина куда-то в прошлое.

ГАУХЕР

В один из таких весенних дней Джалалиддин, стоя во дворике, слушал надрывный кашель, доносившийся из кельи

брата, и со смешанным чувством жалости и стыда думал, что вот он, с детства слабый, мечтательный, ранимый, здоров и, ощущая сквозь сандалии тепло нагретых солнцем каменных плит, невольно наслаждается весенним воздухом, запахом цветущих слив, а брат, такой живой, любивший шум, движение, казалось бы, куда лучше был приспособлен к жизни, но судьба распорядилась по-иному. Неожиданно за спиной у него раздался тонкий девичий голос:

— Отец прислал для брата вашего кизиловый шербет! Да будет болезнь его в прошлом!

Он обернулся. Перед ним, протягивая кувшин, стояла дочь отцовского мюрида Шарафаддина Лала.

Как она выросла, изменилась! Такая же луноликая, на щеках — ямочки. Но рот, как у взрослой, прикрыт краем головного платка. Из-под шелковых шальвар видны острые, загнутые кверху носки узорчатых бабушей. Круглые глаза не смотрят прямо ему в лицо, как бывало, а взметнулись и опустились к земле.

Он не сразу догадался взять у нее кувшин.

— Извольте!

Не зная, что сказать, он молча принял кувшин. Но не тронулся с места. Она снова вскинула на него и опустила глаза. Поклонилась и плавно пошла к воротам. Только когда они закрылись за ней, он пришел в себя.

–

Его тоска получила той весной имя — Гаухер. Оно чудилось ему в шелесте трав, в шепоте листвы, в цокоте копыт, в скрипе арб. И, глядя на взмах птичьих крыльев, он краснел, точно снова вскидывала на него глаза Гаухер-хатун. Это имя светилось в водах каждого ключа, ибо «гаухер» означает «жемчужина», и отвлекало его от мыслей о божественном, поскольку в схоластическом богословии суть вещей также именовалась жемчужиной.

Все лето он старался быть поближе к ее дому. Ловил миг, чтобы встретиться с нею, когда она пойдет к источнику. Но это удавалось редко. По пальцам мог он пересчитать те утра, когда вечной, как вода, плавной походкой, держа кувшин на правом плече, она шла за водой к источнику, а он, никем не замеченный, провожал ее взглядом.

Вся его затаенная тоска и нежность перенеслась на ее отца. Он бросался навстречу почтенному тучному старику, подавал миндеры, усаживал. Угощал шербетом, айраном и не спускал с него глаз, точно пытался разглядеть на морщинистом смуглом

лице черты своей Гаухер.

Все это не укрылось от внимания старших.

–

Осенью, когда деревья затяжелели плодами и винный дух опавшей листвы оповестил о приближении дождей и свадеб, его призвал к себе отец.

— Тебе уже семнадцать! Пора тебя женить, если будет на то соизволение Аллаха! Мы подобрали тебе невесту, но прежде хотели бы послушать: может, у тебя самого есть кто-нибудь на примете?

Джалалиддин опустился на колени. Не смея глянуть на отца, чуть слышно проговорил:

— С вашего благословения, Гаухер-хатун, дочь Шарафаддина, мюрида вашего…

Султан Улемов не сдержал улыбки.

— Встань! О ней мы и думали!

Джалалиддин припал к сухой, морщинистой, но грозной — он не забыл той вспышки гнева под Багдадом, — отцовской руке.

Сегодня свадьба, праздник на весь мир!
И торжество сегодня скроено по нас.
По нашей стати и по росту, как атлас.
Да славится наш праздник и наш пир!

Сегодня свадьба, праздник, радость:
То птица вещая Дуду вкушает сахарную сладость,
То месяц ясный парой стал Венере.
Сердца сегодня переполнены без меры.
Все люди — братья, родина — весь мир.
Да славится наш праздник и наш пир!

Сын шаха, город украшающий собой,
Сегодня ночью сочетается с красой.
О, как, красавица, красиво ты идешь!
Походкой плавной в наш квартал течешь,
Звеня, ручьем впадаешь в нашу реку.
И с наших ног смываешь тяжесть гирь.
Да славится наш праздник и наш пир!

Венера нам с вином протягивает чашу.
Танцуют, вертятся и пляшут.
В кругу одном влюбленный с мудрецом.
То, словно море, хоровод вскипает,
То, словно волны опадая, приседает,
То в исступлении сверкает, точно меч,
Сносящий головы печалям нашим с плеч.

Так бей же ликованья барабан!
Халву — о, чудо! — приготовил нам
Сам господин миров, пресветлый ликом,
Дабы на пиршестве любви великом
Вкусить его могли шиповник с розой,
Сей ночью возлежа на брачном ложе.
Да славится наш праздник и наш пир!

СВЕЧА ВТОРАЯ

Стихи Джалалиддин обычно произносил вслух. Ритм, звучавший в них, обладал неодолимой силой. Он подчинялся ей, но не вдруг. Сначала прислушивался, склонив голову к правому плечу, затем неспешно, как бы сопротивляясь, поднимался на ноги. Подобрав полу халата, делал первый шаг и, откинув левую руку с бессильно повисшей кистью, медленно поворачивался на месте.

Перед его духовным взором возникала гармония вселенной с ее вечным кружением: планет вокруг Солнца, семи сфер неба вокруг Земли. И гармония эта завладевала всем его существом.

Тогда он вскидывал правую руку и начинал кружиться в пляске. Сперва не торопясь, затем все быстрее, быстрее, покуда не забывался в радостном слиянии с ритмом, разлитым в мироздании, ритмом, чьей бледной тенью были музыка стиха и пение ребаба.

Вот и сейчас, произнеся «Да славится наш праздник и наш пир!», он поднялся, сделал шаг по каменным плитам пола и медленно двинулся вокруг свечи, одиноко горевшей посредине погруженного в сон медресе. И тут, вторя его словам, снова зазвучали струны ребаба. Крыльями взмыли руки, заметались по стенам тени.

Ребаб ликовал: свершилось таинство, влюбленные

соединились. Но в ликовании звучала и тоска о невозможном — о полном растворении друг в друге, таком слиянии в любви, когда не существует более отдельных друг от друга «я» и «ты». И эта тоска о неосуществимом, стремление к снятию извечной противоположности любящего и возлюбленной, составляющих единое, звучали с каждым мелодическим повтором все исступленней и трагичней.

И все быстрей и самозабвенней кружился в пляске седобородый старец, едва не задувая свечу ветром, что подымали полы его халата…

–

Давайте же, читатель, снова оставим его в этот счастливый миг самозабвения. Покинем медресе и Конью, ибо приспело время нам разобраться в том, чем стала любовь для Джалалиддина Руми.

Поэт полагал любовь единственным средством познания истины.

Любовь ювелира к своему ремеслу, говорил Джалалиддин, ведет его к познанию истинных качеств металла, или, говоря языком того времени, к познанию скрывающихся в нем тайн, а следовательно, и к овладению приемами и способами его обработки.

Причем процесс овладения тайной металла есть для мастера одновременно и процесс познания самого себя.

Совершенное мастерство, то есть познание абсолютной истины, предполагает полное слияние субъекта с объектом в единое, растворение мастера в материале, отождествление себя с ним. Но, поскольку в действительности, или, говоря языком Джалалиддина, «в этом мире множественности и половинчатости» такое слияние остается недостижимым, то единая и абсолютная истина познается лишь относительно, а отождествление мыслится в мире абсолюта, или, выражаясь тогдашней терминологией в ином мире, мире единичности или универсума.

Стремление к снятию противоречия, то есть к постижению абсолюта, и невозможность такого постижения составляют суть поэтической диалектики Джалалиддина Руми. И в этом ее отличие от традиционного суфизма, считавшего возможным постижение абсолютной истины.

По сути дела, отождествление наблюдающего с наблюдаемым, познающего с познаваемым есть форма

олицетворения объективных сил природы, характерная для той структуры сознания, которую мы называем религиозным.

Между тем олицетворение, одушевление природы, запечатленное в фольклоре любого народа, является одной из основ метафорического, образного мышления вообще.

Если попытки метафорической системы мышления познать объективные закономерности материального мира часто приводили к результатам фантастическим (так, суфии объясняли любовью и падение камня на землю, и вращение планет вокруг Солнца), то не следует думать, что метафорическое мышление вообще лишено реального содержания или исчерпало свои познавательные возможности в эпоху мышления рационалистического.

Даже, отвлекаясь от главной сферы метафорического мышления — искусства, можно отметить, что и в середине XX века в эпоху расцвета рационалистического мышления, именуемого научным, возникает такая дисциплина, как синектика. Она использует именно метафорическое мышление для решения самых что ни на есть утилитарных технических задач, которые не удается разрешить мышлению логическому, и в основу своей методики кладет прежде всего олицетворение. Синектики привлекают для решения инженерной судостроительной задачи художников, поэтов, музыкантов, то есть людей, профессионально мыслящих метафорически, и требуют, чтоб они представили себя на месте какого-либо предмета или явления и выразили свои ощущения.

Если стоять на точке зрения философского монизма, то есть признавать единство вселенной, а именно на этой точке зрения, будучи идеалистами, стояли суфии, то очевидно, что процессы, происходящие в природе и обществе, равно как в психической и эмоциональной жизни личности, подчиняются общим диалектическим закономерностям.

Но именно познанием психической жизни, то есть познанием самих себя как микрокосмоса, и занимались суфии, полагая, что одновременно познают и весь мир, то есть макрокосмос.

Вот почему Джалалиддин на вопрос, где находится мир абсолюта, отвечал: «В вашем сердце».

Закономерно, что любовь, и прежде всего любовь мужчины и женщины, заняла в суфийской философии важнейшее место, ибо, как известно, отношения мужчины и женщины, являясь отношением людей друг к другу, в то же время есть и отношения людей к природе. Или, говоря словами Маркса, в любви самым непосредственным образом проявляется, насколько родовая сущность человека стала его природной сущностью, то есть

насколько человек стал человеком.

На психологии любви с ее стремлением к слиянию, растворению друг в друге и с недостижимостью тождества и была построена диалектика Джалалиддина Руми, в чем-то предвосхитившая гегелевскую.

Неутомимая жажда гармонии с миром — вот что двигало Джалалиддином. Он искал ее на почве тогдашней логической схоластики, но в ее мелочном догматизме было столько же гармонии, сколько льва в осле.

Оставалось сердце.

Можно понять Джалалиддина Руми в том, что он предпочел сердце рассудку: плоская формальная метафизика тогдашнего логического мышления была, пожалуй, дальше от истинного познания, чем «наука сердца», или, как мы бы теперь сказали, экспериментальная психология, разработанная поколениями подвижников-суфиев на основе тончайшего самонаблюдения.

Но познание сердцем интуитивно. И понятно, результат его будет паралогичным, тяготея к символу, метафоре. Метафоричность же — владение искусства.

Суфизм как идеологическое течение с самого своего возникновения был неотделим от поэзии.

Вначале на суфийских маджлисах просто пели народные любовные песни. Так поступал нишапурский шейх Абу Саид Мейхени, за что, как мы знаем, и подвергался обвинениям в нечестии и ереси. Затем суфии сами стали складывать рубаи и газели специально для маджлисов. В этих стихах иносказательно передавались психические состояния «взыскующего истины», что должно было вызывать соответственный эмоциональный отклик у слушателей.

Ораторская и проповедническая деятельность вскоре потребовала более развернутого изложения той или иной стороны суфийской доктрины. Так родились аллегорические назидательные поэмы Ансари, Санайи и Аттара.

В процессе развития суфийская поэзия выработала традиционные образы и метафоры, подобно тому, как философская мысль выработала общепринятые абстрактно-логические категории.

Джалалиддин Руми стоял на вершине этой традиции. Любимые образы его поэзии — зеркало, отражение, тень. Объективную реальность он полагал тенью, отражением иного, идеального мира, который считал единственно истинным. То есть принимал действительность за отражение, а отражение за действительность. Об этом следует всегда помнить.

В зеркале, как известно, все наоборот. Но без него мы

никогда не увидели бы самих себя.

И если, не забывая об идеализме Джалалиддина Руми, продолжить его излюбленную метафору, то можно сказать, что его поэзия — незамутненное зеркало, в которое на протяжении семи веков глядится человечество, ибо в нем с поразительной глубиной и ясностью отражены душевный мир человека, законы его движения, а через него и закономерности развития мира действительности.

–

Некоторые ученые не случайно считают, что термин «суфий» произошел не от арабского слова «суф», означающего шерстяную ткань, власяницу, а от греческого «софос» — мудрец.

Джалалиддин Руми и его ученики называли себя, однако, не суфиями, а влюбленными, ашиками. Не логика, а любовь была их поводырем на пути познания.

О вы, рабы прелестных жен! Я уж давно влюблен!
В любовный сон я погружен. Я уж давно влюблен.
Еще курилось бытие, еще слагался мир,
А я, друзья, уж был влюблен! (Я уж давно влюблен!)
Семь тысяч лет из года в год лепили облик мой,
И вот я ими закален, я уж давно влюблен.
Едва спросил Аллах людей: «Не я ли ваш господь?»
Я вмиг постиг его закон! Я уж давно влюблен.
О ангелы, на раменах держащие миры,
Вздымайте ввысь познанья трон. Я уж давно влюблен… [3]

Любовь для Джалалиддина — движитель всего сущего. Любить умеет и зерно, и растение, и животное. Но только кожей своей, телом своим. Лишь человек умеет любить и телом, и разумом, и воображением, и памятью.

Стремясь к абсолюту, Джалалиддин считал высшей любовью — любовь к истине. Но истинный диалектик, он не оскоплял человека, подобно суфийским аскетам, презрением к любви плотской, земной, или, как он сам выражался, любви преходящей.

Всякая любовь — к ремеслу, к земле, к родине — была для него ступенью к любви истинной, а следовательно, благом.

Он сравнивал любовь со светом солнца. Но себялюбие, обрекающее человека на вечное заточение в темнице собственной шкуры, уподоблял ослеплению.

Он славил любовь к женщине, ибо здесь, в любви к себе подобному, человек познавал собственную сущность и человеческую сущность вообще.

И пляска, в которой кружился седобородый старец, оглашая ночную тьму восторженными стихами о слиянии с любимой, была не блаженным слушанием суфиев, а самозабвенным единением в любви со всем миром.

–

Он остановился, тяжело дыша. Огляделся, медленно возвращаясь к действительности.

Свеча догорала. За стенами все еще стояла глухая ночь. А ведь прежде, бывало, мог он кружиться в самозабвении до утра и, передохнув немного, снова плясать до полудня, а то и до вечера.

Никого не приходилось ему в жизни стыдиться. А теперь вот испытывал он стыд перед собственным телом. Стыд, подобный тому, который испытывает всадник, когда цель достигнута, перед дрожащим, загнанным конем, которого он безжалостно хлестал в своем стремлении к этой цели.

С трудом, на ватных дрожащих ногах сделал он шаг. От тени отделился Велед, почтительно поддержал отца под руку. Это он, Велед, услышав взволнованный голос Джалалиддина, взял ребаб и вышел к нему в полутемную залу.

Отец глянул на него, не узнавая. Да и трудно было представить себе, что пожилой мужчина в круглой шерстяной шапочке, наспех обернутой чалмой, в коротком разрезном кафтане с вышитыми на обеих сторонах груди изображениями не то двух пар сердец, не то кипарисов, возносящихся к сводам, на которых начертаны священные письмена, что этот пегобородый мужчина, который, зажав под мышкой ребаб, бережно поддерживает его под руку, и есть его сын Велед, зачатый той далекой ночью в Ларенде, когда, подталкиваемый по обычаю кулаками в спину, он вошел в брачные покои и лег на ложе незабвенной Гаухер-хатун.

–

Той ночью, от которой его теперь отделяло полвека, мелькнувшие, как полмига, он, оглушенный счастьем, не думал ни о стихах, ни об истине, ни даже о любви. Бессознательно совершив омовение, вслед за Гаухер повторил он все слова, что

должно было повторить согласно шариату первой брачной ночью, и склонился над нею, как тростник под ураганным ветром клонится к озерной глади. Круглое лицо, зардевшееся, будто восходящая луна, гибкая шея, манящая беззащитной покорностью, угадывавшиеся под одеждой белоснежные ангорские ягнята грудей с призывно торчащими рожками сосков, податливое лоно, таящее могущество творца, одухотворенность, просвечивавшая в каждом изгибе тела, — во всем была такая зовущая готовность, такая неодолимая сила слабости, что мгновенная вспышка исступления, подобная тем, которые озаряли его в уединении с природой, но во сто крат яростней, опалила его, закружила и понесла. Под полуденным зноем этого исступления гладь, скованная прохладой предутреннего ожидания, закипая, взметнулась ему навстречу, волны захлестнули его, растворив без остатка, как растворяет море пролившийся ливень.

–

Вспышка самозабвения, в которой был зачат Велед, что переживет его лет на сорок, была предвестником того самозабвения в любви к миру, которая, спалив его дотла, родит поэзию, что переживет его на столетия. Но ни той ночью в Ларенде, ни много позже до самой встречи с Солнцем Его Жизни он не подозревал об этом.

И стихи о пиршестве любви, которые зазвучали в нем теперь, при воспоминании о Гаухер, он сложил не в день своей собственной свадьбы, а в день свадьбы Веледа, когда ему снова примнилось, будто в жизни сына может повториться его собственная, но без душевной немоты, терзавшей его в юности.

Велед, как некогда он сам, женился на дочери отцовского соратника. Ее звали Фатимой, по имени дочери пророка. И в самом ее имени Джалалиддину мнился скрытый смысл, ибо ее отца, старейшину цеха золотых дел мастеров Фаридуна Саляхаддина, он почитал за величие души человеком необыкновенным. Крестьянский сын Саляхаддин не получил образования, но обладал безошибочным чутьем правды-справедливости, которое нельзя приобрести ни в одном медресе на свете. Джалалиддин называл его «светом истины, опорой сердец». И, не желая на старости лет заниматься ничем, кроме того, что мог он выразить в стихах, поставил его шейхом над всеми своими учениками и последователями.

В его дочери Фатиме он не чаял души. Сызмальства взял ее к

себе в дом. Сам воспитывал. Учил грамоте, пониманию мира и тратил на нее столько времени и сил, что повергал в изумление даже близких.

Сразу же после женитьбы сына Джалалиддин удалился в пригородные сады Филубада, чтобы продолжить «Месневи», но первым делом написал оттуда письмо Веледу. Содержание письма он просил его держать в тайне, ибо только тому, кто хранит познанное, даруется знание скрытого, а за словами отца стоит сокровенное знание его сердца.

«Сегодня, — писал сыну Джалалиддин, — в день обручения твоего завещаю тебе хранить Фатиму-хатун, как свет очей и сердца моего, ибо вручена она тебе для испытания тебя. Надеюсь, что вольно или невольно не будешь ты никогда несправедлив к ней и не оставишь попечением своим. Чтобы сохранить в чистоте чело отца твоего, твое чело и честное имя потомков своих, да будет каждый твой день с нею днем свадьбы и каждая ночь — первой брачной ночью. Старайся уловить ее силками души и сердца и не полагай добычей, не нуждающейся более в уловлении, ибо подобное убеждение есть дело верхоглядов, о коих сказано, что видят они лишь поверхность мира…»

–

Велед довел его до миндера. Бережно усадил на сиденье. Принес новую свечу. Запалил ее от догоравшей. Поставил в светильник.

Джалалиддин жестом отпустил его. И молча проследил взглядом, как Велед все так же благовоспитанно ушел к себе в келью, где, не смыкая глаз, дожидалась его возвращения Фатима-хатун.

Жена Веледа была на шестом месяце, и по ночам ее терзал страх. Двенадцать детей родила она мужу, и все они умерли — кто сразу после родов, кто через шесть, кто через десять, месяцев, кто через год. В отчаянии зареклась она насыщать плотью своей ненасытную землю: затяжелев, делала все, чтоб избавиться от плода. И на сей раз стала нарочно поднимать тяжести, плясать ночи напролет на собраниях женщин, пить зелья. Но все оказалось бесполезным.

Джалалиддин знал об этом. И когда минули три месяца, решился наконец поддержать невестку. Он знал, что она верит ему, а вера способна разбудить силы тела, о коих оно не подозревает.

Через почтенного мюрида Татари велел он передать Фатиме-

хатун свое благословение и сказать, пусть сохранит ребенка, ибо был ему знак, что родится он и будет жить, а он, Джалалиддин, хотел бы земными глазами увидеть внука.

Из любви к свекру и наставнику своему, веруя во всеведение его, как веруют в бога, Фатима-хатун решилась: раздала милостыню нищим, велела принести в жертву баранов. И принялась ждать с терпением и любовью. Но страхи по ночам не отпускали ее, хоть она старалась справиться с ними и никому не подавала виду.

Велед тоже горевал по умершим детям, да не так, как Фатима-хатун. Благостный и смиренный перед лицом судьбы, пресекавшей его род, он обратил недовольство свое против жены.

Джалалиддину, который, по смерти незабвенной Гаухер, женился на вдове и прожил с нею до конца своих дней, больно было понимать, что сын его втайне подумывает о второй жене или, на худой конец, о наложнице. Шариату это не противоречило — он ограничивал лишь число жен четырьмя, а невольницы вообще не шли в счет до тех пор, пока не понесли. Но ведь его сын и наследник не должен бы ограничиваться обязательным для каждого мусульманина откровенным законом, а поступать по сокровенным законам сердца, непреложным для влюбленного в истину — ашика.

И, глядя в спину Веледа, беззвучно уходившего в свою келью, Джалалиддин с неприязнью подумал, что мягкость и благостность бывают много безжалостней суровой непреклонности. И снова дрогнула в нем надежда обрести в сыне продолжателя. Раз не понимает он жены своей Фатимы, причиняя ей затаенным недовольством новые мучения, где ему понять отца? Понять не разумом только, а всем своим существом. Не речи его, а суть?!

В этот миг Фатима-хатун, его воспитанница и невестка, была ему ближе сына, ибо не благостность и смирение старчества, а главное — бунтарство его унаследовала она. Разве не так же взбунтовалась Фатима-хатун против судьбы, как он сам взбунтовался против целого света, потеряв несравненного друга, Солнце Своей Жизни?

> Я такая глухая и черная тьма, что мне ненавистна в небе луна.
> Таким обездоленным нищим я стал, что в ярости против султана восстал.
> Благоволит и к себе призывает меня несравненная в мире краса.
> Но я не иду, хоть пути к ней я знаю: я все пути презираю.

Пусть мною любимая пренебрегает и прихоти ради пусть мной помыкает.
Пусть в море печали меня повергает: ей не услышать ни ахов, ни охов.
Против мольбы я восстал, против вздохов,
Сулят мне то злато, то власть или славу. Но я-то ни власти не жаждал, ни злата.
Я против славы всемирной восстал.
Я такая былинка сухая, что против магнита вселенной восстал.
Мы такие частицы праха, что восстали против Огня,
Против ветра, воды и земли, чувств пяти, четырех измерений.
Да и что измеренья твои?
Я такая частица праха, что восстал я против Аллаха!
Наши речи тебе не под силу — ты этой воды не хлебал.
Я против тех, кого с солнцем равняли, потому что их с солнцем равняли, восстал.

Джалалиддин закрыл глаза, сдерживая порыв. И сидел так, не шелохнувшись, быть может, миг, а быть может, вечность, пока, успокоившись, мысли его вновь не потекли ровной чередой по прежнему руслу.

–

Разве так уж виноват его сын Велед, что хлебал воду слов, но смысл их бунтарский часто оказывался ему не под силу? Ведь не зря сказано: «С легкостью отпускаем мы тягчайшие грехи тем, к кому равнодушны, и не прощаем малейшей вины тем, кого любим».

«Женщина не только любимая. Не только создание, но и творец. Много ли людей в состоянии понять творца? Много ли мужчин понимает женщину?

Привыкших к темноте свет солнца ослепляет. Не оттого ли факихи, зарывшись, как черви, в свои книги, велят закрывать лицо женщинам, запирать их в гаремах, не внимать их речам и даже имени не высекать на камне надгробном, что им, привыкшим к тьме ученого невежества, непереносим ослепительный свет женского сердца? Ссылаются при этом на стих Корана: «Мужья стоят над женами». Но повторять чужие слова не значит еще понять их смысл. Во времена пророка

Мухаммада женщины не закрывали лица, и сколько их прославилось делом и словом! Мужами не родятся, ими становятся. В мужестве и зрелости множество женщин выше мужчин».

Вкусив сладость женской любви, Велед мог бы увидеть в женщине свою собственную ипостась и, распростившись с немотою сердца, научиться его языку, как попугай, поощряемый сладостью сахара, перед зеркалом учится человеческой речи.

«ЧТО ЕСТЬ ЖЕНЩИНА?»

В Ларенде, когда брат его Аляэддин впервые почувствовал себя плохо, матушка Мумине-хатун где-то раздобыла чудо: зеленоперую, с красным клювом и черными пуговицами глаз нездешнюю птицу, попугая дуду. Эти попугаи были любимой забавой затворниц гаремов, детворы и в Балхе, и во многих других городах Хорасана.

Сама птица, с презабавной серьезностью смотревшая на людей, склонив голову набок, непоседливая, любопытная и горластая, напоминая о родине и доме, могла развеять печаль больного. Но, главное, она должна была занять его — попугай был молодой, обучить его человеческому языку еще только предстояло.

Для этого брали железное зеркало, ставили его в клетку и, спрятавшись за зеркалом, без конца повторяли какое-нибудь слово. Глядя на собственное отражение, дуду принимал его за подобное себе существо и, пытаясь вступить с ним в общение, пробовал повторять издаваемые им странные звуки. За это дуду следовало поощрять сахаром. Сладость награды заставляла попугая, позабыв о зеркале, выпрашивать сахар самостоятельно.

Мальчики так и поступили. То ли попугай оказался несмышленым, а скорее всего чересчур умным, он ни за что не желал общаться с зеркалом.

На него махнули было рукой, но однажды при виде матушки Мумине с сахаром в руке он прокричал слова, которым его, казалось, тщетно учили: «Дай сахара!»

Аляэддин закатился от смеха.

Вскоре черноглазое чудо научилось говорить «Спасибо!», когда ему давали сладости, просить пить, а заслышав шаги, спрашивать: «Кто там?» И даже требовать «Спать!», когда вечером его клетку забывали покрыть холстом, словно дуду и в самом деле понимал язык фарси.

Наступила зима. Аляэддину стало лучше. Дуду сделался

всеобщим любимцем, но к нему привыкли, перестали им заниматься. А он, видно, мотал на свой попугайский ус все, что ему доводилось слышать.

И вот как-то днем, услышав приближающиеся шаги, он прокричал свое обычное «Кто там?».

Вошел отец. Страшное волнение охватило дуду. Он захлопал крыльями и заорал во всю глотку:

— Геррхахар! Геррхахар!

Все оцепенели. Обозвать Султана Улемов герхахаром, то есть братом шлюхи! Да ведь если бы хоть на мгновение отец допустил, что птицу подучили!.. Но отец только покачал головой — верно, даже из слов попугая умел извлекать для себя уроки.

Дуду срочно подарили в дом греческого каменщика приятелю Джалалиддина — слава аллаху, там не понимали фарси. Но откуда попугай научился этому слову, так и осталось тайной: ведь то было единственное ругательство, которое в минуту гнева срывалось с губ Султана Улемов.

–

Выучить слова может и попугай, но вникнуть в их суть — только человек, да и то не всякий.

В семнадцать лет любовь к Гаухер исцелила Джалалиддина от душевной немоты, научила первым словам на языке сердца. Означало ли это, что он тут же постиг их смысл? Нужно было пройти сквозь пламя бунта, одолеть демонов себялюбия.

Но каждое приобретение есть потеря, а каждая потеря — приобретение. Он потерял в этой борьбе Гаухер!

Не исполнив отцовского завета, Велед не выдержал испытания любовью, и потому тайна, о которой говорилось в письме, отправленном сыну в день его свадьбы, так и осталась тайной Джалалиддина. И звалась она тоже Гаухер.

–

Весной шестьсот двадцать третьего года хиджры, или тысяча двести двадцать шестого года по христианскому летосчислению, Гаухер-хатун благополучно разрешилась от бремени сыном.

Когда Джалалиддин впервые увидел нового пришельца в мир, который был обязан своим появлением на свет его любви к Гаухер, тот лежал на подсиненной простынке светящимся розовым шаром. Молодая мать — ей было всего пятнадцать, —

зардевшись от гордости и смущения, оторвала взгляд от сына и подняла глаза. И Джалалиддин поразился колодезной глубине, которую они обрели за несколько часов страданий.

Мумине-хатун сидела лицом к невестке и зашивала в простынку внука древнюю золотую монету. Она переходила в их роду из поколения в поколение, и сегодня Султан Улемов в знак благословения подарил ее невестке на счастье.

Обкусив нитку, Мумине-хатун запеленала ребенка и передала его матери. Как зачин неведомой мелодии, звякнули браслеты на запястьях Гаухер. Она обнажила налитую грудь, с нежностью вложила потемневший сосок в розовый беззубый рот младенца. Ритмично причмокивая, младенец жадно засосал, в такт его глоткам чуть заметно покачивалось тело матери. И Джалалиддин, весь ушедший в созерцание, следуя душой за этим ритмичным покачиванием, услышал, как зазвучала в нем, все разрастаясь, ликующая мелодия.

–

Он увидел перед собой не только свою Гаухер, а саму Зухру — живое олицетворение неистощимого плодородия природы. Совсем такой, как ее изображали на старинных миниатюрах: в желтых одеяниях, с браслетами на запястьях рук, на ногах. И, как на рисунках, другая женщина сидела перед нею. Правда, на руках у нее вместо старинного инструмента — кобуза, лежал младенец, но держала она его так, словно извлекала из него всю музыку мира.

Но, может быть, Зухра, эта утренняя звезда, которую иранцы в древности называли Нахид, а римляне — Венерой, пришла Джалалиддину на ум еще и потому, что в Ларенде волновали его тайны астрологии.

Хоть невелик был его век, но успел он пережить и падения царств, и смерть сотен тысяч людей. Звездочеты утверждали, что от небесных светил, их движения зависят судьбы и людей, и царств. Он должен был познать законы и причины.

Его Велед был зачат в ночь на среду, а явился в мир в пятницу. Эти дни по астрологической науке были подчинены Зухре. Рожденные под знаком ее должны быть добры нравом, приятны голосом, красивы лицом, правдивы. Такой была Гаухер-хатун. И он, влюбленный мальчик, невольно хотел видеть таким и свое дитя.

Меж тем, уж если уповать на судьбу, ему следовало бы молить у нее для сына страстности и воли. Что дано женщине

самим ее естеством, мужчине, созданию бесплодному, дается лишь подвигом. Но откуда мальчику, стоящему в начале пути, ведать то, что известно прошедшему его старику?

Пожалуй, никогда больше не знал он такого безмятежного счастья, как в Ларенде, когда, подвигаемый любовью, делал первые шаги к познанию. Мир открылся ему заново, свет, озарявший дорогу впереди, скрадывал смертельную крутизну подъемов, бездонные пропасти отчаяния.

Известия о реках крови, гибели народов, разрушении городов, глухим эхом долетавшие в зеленую мирную долину, окруженную горами, мнились далеким бредовым сном. И все, кого он любил, были рядом с ним, еще живы. То было безмятежное счастье неведения.

–

Летом следующего года Гаухер принесла ему второго ребенка. Вопреки предсказаниям звездочетов и повитух роды оказались тяжелыми. Трое суток, не смыкая глаз, молились они с отцом и мюридами. И за трое суток не услышали ни одного ее крика. По словам Мумине-хатун, бедняга всю подушку изорвала зубами, чтобы только он, Джалалиддин не слышал ее мук.

Еще за три месяца до родов он решил, что, если это будет девочка, он назовет ее именем матери, а сын — именем брата. Тот был совсем плох, видать, не жилец, так пусть хоть имя его останется с ними.

Гаухер родила крепкого здорового мальчика. Уж лучше бы ему вовсе не рождаться, если явился он лишь затем, чтобы взрослым лишить отца своего света очей, а мир — светоча истины. Но, может, он пришел, чтобы Джалалиддин увидел в нем, как в зеркале, оборотную сторону своей собственной страстности, только искаженной завистью и злобой? Не зря ведь каждое человеческое свойство имеет в любом языке два названия — твердость и тупость, суровость и жестокость, гибкость и беспринципность, храбрость и безрассудство, мягкость и слабость, осторожность и трусость? Все дело в том, на что они направлены, эти свойства.

Гаухер так и не оправилась после родов. Не желая докучать мужу, занятому родами собственной души, связывать его своей недужностью, она по собственной воле все дальше отдалялась от него, а он, толком даже не разобравшись, что ею движет, легко принял эту жертву.

Как мог он не догадаться об этом? Не почувствовать, не

понять? А ведь он должен был держать ее холодеющие руки в своих, до последнего вздоха глядеть в ее глаза, развеять смертный ужас души ее — ведь даже зерно растения, если оно созрело, зарытое в землю, дает всходы, отчего же мы полагаем иначе о сердце человеческом, созревшем в любви?

Никакие науки мира не могли его этому научить, никакая мудрость не могла утешить, кроме мудрости сердца. Но тогда, в молодости, он только научился повторять ее слова, как попугай дуду повторял слова языка фарси.

–

Вот что таилось за словами письма к сыну: его, Джалалиддина, собственный опыт. Он не сказал о нем в письме и не скажет до конца своих дней, ибо Велед так же не выдержал испытания, как не выдержал его отец. Но в сорок лет он уже понимал то, чего не понял Велед. А Веледу уже давно за сорок…

Все понимая, наблюдать безумие мира, не будучи в силах ничему помочь и ничего исправить! Чем больше он жил, тем больше убеждался: научить никого ничему нельзя. Можно только указать путь. Пройти его каждый должен сам…

–

В последний год их жизни в Ларенде, словно требуя возмещения за безмятежную радость предыдущих, несчастья и муки навалились на их плечи одно за другим.

Брат с весны не вставал с постели. Иногда мать со слугами после полудня выводила его под руки в сад. Сидя на толстом тюфяке, прислонившись к стволу абрикосового дерева, Аляэддин подолгу, пока не замерзал в своем ватном халате, — а лето стояло жаркое, — глядел печальными, как у жертвенной овцы, глазами на облака, легко срывавшиеся в бездонно-синее небо с высоких снежных вершин. Нет, не глазами — душой, которая, казалось, вот-вот готова отделиться от его тела так же легко, как эти облака.

Но умер он нелегко — захлебнулся кровью, внезапно хлынувшей из горла, обагрив ею руки, рубашку, шаровары матери, державшей его голову в объятиях, будто она могла удержать его, не отпустить.

В быстро наступивших сумерках раздался крик глашатая, оповещавшего о смерти мусульманина.

И в ответ ему, перекрывая испуганные причитания женщин, раздался с минарета страстный голос муэдзина:

— Аллаху акбару! Аллах велик!

Джалалиддин как истукан опустился на коврик, поднес ладони к щекам и стал молиться. Но слова молитвы текли сами по себе, лишь разум его понимал, что произошло, но еще не мог он сердцем принять случившееся.

«Ты видел мятущихся в постели, покрытых язвами больных? — вопрошал древний индийский мудрец. — Ты видел также немощных, обезображенных старостью? Ты видел, наконец, мертвецов? Неужто ничего не сказали они тебе о тебе самом?!»

В страстном пении муэдзина услышал Джалалиддин не смирение, а ярость и надежду, неизбывную надежду человечества, уходящего, приходящего, но пребывающего. И потрясенный мужеством людей, почувствовал, как по щекам его покатились слезы.

Воистину вечен и бескраен мир, открывающийся глазам человека. Но как мгновенна отпущенная ему жизнь! Что успел, что понял, что свершил его единоутробный брат за свои девятнадцать лет? Зачем явился, почему ушел? И есть ли на это ответ?

–

Мумине-хатун ненадолго пережила сына. Казалось, кровь, обагрившая ее руки, не отпускает ее: забросив все дела по дому, она молилась дни и ночи напролет. На сей раз не помогли и увещевания Султана Улемов: дескать, с мертвыми не умирают, горевать по умершему — гневить аллаха! Аляэддин был частью ее самой.

Как-то во время вечерней молитвы она вдруг встала с колен, распрямилась, будто прислушивалась к неведомому голосу, потом схватилась за сердце и рухнула замертво. Боль, исказившая ее черты, застыла горделивой улыбкой: наконец-то.

Шагая в толпе за погребальными носилками, внимая звонким голосам хафызов, распевавшим наизусть суры Корана, глядя на свежий холмик рыжеватой земли Ларенде, которая вслед за братом навсегда скрыла от него лицо матери, Джалалиддин уже не плакал.

–

Что знал он о той, чьей плотью от плоти, кровью от крови был он сам? Постоянно занятая хлопотами, она исполняла все установления мужа истово и бессловесно, никогда не заговаривала с ним первая, а, как полагается мусульманке, только отвечала на его вопросы. Что значит слово женщины в этом мире?

Мать вела почти что аскетическую жизнь, достойную жены Султана Улемов, и даже детей своих ласкала изредка и украдкой, робея перед суровостью мужа: пуще всего страшился Султан Улемов в детях своих изнеженности и безволия, коими могли наградить сыновей женские ласки.

Да, мать денно и нощно пеклась о том, здоровы ли они, сыты ли, чисты ли их одежды. То были заботы об их теле, но заботы эти, естественные, как воздух, всеми детьми мира не замечаются, так же как воздух, коим они дышат.

Пожалуй, он больше матери помнил кормилицу отца, старую Насибу. Она хоть рассказывала им сказки про злых великанов — дэвов, про чудесную птицу Феникс. Да еще наставления отца, которые тот всегда облекал в плоть народных рассказов.

Как-то они с Аляэддином, бог знает по какой причине, подрались. И отец поведал им притчу о персе, тюрке, арабе, греке.

…Шли вместе тюрок, перс, араб и грек.
И вот какой-то добрый человек

Приятелям монету подарил
И тем раздор меж ними заварил.

Перс, обратясь к другим, сказал: «Пойдем
На рынок и энгур [4] приобретем!»

Врешь, плут, — в сердцах прервал его араб, —
Я не хочу энгур! Хочу эйнаб!»

А тюрок перебил их: «Что за шум,
Друзья мои? Не лучше ли узюм!»

«Что вы за люди! — грек воскликнул им. —
Стафиль давайте купим и съедим!»

И так они в решении сошлись,
Но, не поняв друг друга, подрались.

Не знали, называя виноград,
Что об одном и том же говорят.

Невежество в них злобу разожгло,
Ущерб зубам и ребрам нанесло…

Слова несведущих несут войну,
Мои ж — единство, мир и тишину… [5]

Притчи отца, сказки кормилицы Насибы были их первой пищей: не для тела — для духа.

Плоть и дух нераздельны, как конь и всадник, спешащие к цели с благой вестью. Но пища коня не может быть пищей всадника. У каждого из них своя пища, свое благо. И если всадник не подчинит коня своей воле, то конь привезет его не к цели, а в стойло.

Бытие тела человеческого — миг. Хоть и чуть подлинней лошадиного. Только если не давать спуска телу, повелевать им, а не потакать ему, можно донести благую весть о человеческом духе до тех, кто ждет впереди, а не сгинуть бесследно в навозе и прахе.

Откуда было знать тогда юному Джалалиддину, что стариком ему предстоит испытать стыд перед телом своим, ибо он пренебрегал им?

Он вспомнил, как, страшась за его плоть, матушка пыталась на крыше отчего дома в Балхе удержать его от первого, пусть ничтожного, но подвига, и крик ее едва не стоил ему жизни. И содрогнулся от жалости и ужаса. Жалости к матери, ко всем, кто уходит из мира, не в силах раздуть в себе искру духа, от ужаса перед женской судьбой…

–

«Что есть женщина? Да то же, что мир. Говори ей иль не

говори, она то, что она есть, и от себя не отречется. Вразумления твои могут лишь причинить вред. Возьми, к примеру, каравай хлеба, спрячь его за пазухой и скажи: «Не то что поделиться с кем, не покажу никому ни за что на свете!» Чем больше ты будешь скаредничать, тем сильней возалкают хлеба люди, лишенные его. Станут умолять тебя, преследовать, поносить. Точно так же, чем больше ты приказываешь женщине, чтоб она пряталась, тем больше будут желать ее, прячущуюся, и тем сильней возалкает она показать себя, ибо запретное влечет к себе человека… А ты сидишь и полагаешь себя в покое, меж тем как своими руками зажег ты пламя страстей вокруг себя. Если заложено добро в душе ее, она пойдет путем добра, запрещай ты ей или не запрещай. Не суетись же понапрасну, отступись! А если нет, если иное на душе у нее, все равно поступит она по-своему, а запреты твои лишь усилят вожделение… Ты же споришь с нею дни и ночи, думаешь исправить ее. Собой счищаешь ее грязь. Меж тем дана тебе такая для испытания, чтобы ты ею очистился от грязи своей. Прими самые невозможные слова ее, пойми, подойди к ней, укрась ее. И хоть мужчине свойственна ревность, не будешь ты знать ее. Сказано: «Мужья стоят над женами» (Коран, сура IV, стих 34). Воистину невежды стоят над женщинами, поскольку грубы невежды и жестоки, мало в них жалости, любви и благоволения. Преобладает в природе их скотство, ибо любовь и жалость — качества человеческие, а злоба и похоть — скотские. И намного выше стоят женщины над теми мужьями, в ком есть ум и сердце».

Так, споря с Кораном, с самим пророком, отвечал на вопросы учеников Джалалиддин Руми в конце своего пути, в годы, когда женщин, как пленниц, держали в затворничестве, когда слова их не считались свидетельством ни перед судом человеческим, ни перед судом аллаха, когда они не смели появляться на людях и открывать лица своего, когда десятки жен и сотни наложниц содержались в гаремах знати, а бедняки не могли жениться, ибо не было у них денег на выкуп невесты, словом, в эпоху, когда женщина не почиталась за человека не только в мире ислама, но и в странах христианнейшего Запада.

И «писари тайн» записали его слова в книгу проповедей, названную «Фихи-ма-фихи», что означает «В ней — только то, что в ней».

Стоя в Ларенде над раскрытой могилой матери и даже потом в Конье над холмиком, навсегда скрывшим от него жемчужину его сердца Гаухер, он еще не знал этих слов. Но именно они, его любимые мертвецы — он разбросал их на своем пути, как семена, по всему лику земли, — проросли мыслями, которые много лет спустя неверным, дрожащим почерком, страшась их еретического

духа, занесли на белую самаркандскую бумагу его ученики.

ДОНОС

Султанский наместник Ларенде эмир Муса принял самое деятельное участие в похоронах Мумине-хатун. Выждав несколько дней, чтобы не помешать скорби Султана Улемов, он вместе со свитой явился пред его лицо и предложил, если святой отец соблаговолит дать свое позволение, поставить над могилой надгробие, правда, не такое великолепное, как того заслуживает жена Султана Улемов мусульманского мира, но такое, которое позволит его эмирская казна.

Джалалиддин сразу решил, что отец, всю свою жизнь считавший харамом любое даяние власть предержащих, откажется. Но он ошибся: отец изъявил свое благоволение. Верно, смерть сына и жены смягчили и непреклонного Султана Улемов.

Эмир Муса, дороживший тем, что столь славный улем и проповедник живет во вверенном ему городе, жертвовал своей казной на богоугодное дело не без задней мысли: теперь, думалось ему, Султан Улемов не покинет дорогие ему могилы. Но вышло иначе.

–

Главное содержание собственной жизни каждого двора, даже самого ничтожного, составляют интриги и доносы. Хоть эмир Муса, простоватый воин-тюрок, и терпеть их не мог, его двор не составлял исключения. Султанский наместник был уже не только воином, но и управителем, то есть политиком, а следовательно, должен был уметь каждый день без выражения неудовольствия проглатывать жабу. Иначе его место всегда был готов занять ловкач, готовый глотать и менее приятные предметы.

Постройка надгробия Мумине-хатун — оно и сейчас стоит над ее могилой, — на которую ушла чуть не половина эмирской казны, — была весьма удобным поводом для доноса в столицу на высочайшее имя. Как все доносы, он был составлен не очень грамотно, но весьма благочестиво.

«В земли Рума из Балха пришел Султан Улемов Бахааддин Велед, дабы освятить этот край светом своей святости. Меж тем Султану Нашего Века об этом ничего не ведомо, ибо его раб и наместник эмир Муса силой удержал Султана Улемов в Ларенде, построил ему медресе, водрузил над могилой недавно усопшей

жены надгробие, стоившее немалых денег. Проявленная эмиром дерзость показывает, что сей раб вашего величества не страшится гнева падишахского».

–

Султан Аляэддин Кей Кубад I, начинавший каждый день с чтения писем и доносов, пришел в такой гнев, что эмиру Мусе вряд ли удалось бы сносить свою голову, ежели бы не успокоил повелителя его визирь. Узнаем-де, как обстоит дело, посредством наших проведчиков, тогда и решим, как поступить с наместником.

Через неделю в дом наместника прискакал султанский гонец и вручил ему скрепленную султанской печатью кожаную трубку. Эмир Муса приложил ее к голове в знак святости монаршей воли, поцеловал печать и велел позвать кадия для прочтения послания. Кадий, пробежав письмо, побелел и вскинул на эмира пустые глаза, словно перед ним был не человек, а неодушевленный предмет.

«Как осмелился ты, — писал султан, — не подать мне вести о прибытии святого человека?! Подобная забывчивость и небрежение вряд ли будут прощены тебе Аллахом».

Дальше Муса не слышал. Выражения высочайшего послания не оставляли сомнений, что дело идет о его жизни и смерти.

–

Муса видел не одну смерть на поле брани. Но храбрость в бою и храбрость перед лицом повелителя — разные вещи. По обычному праву тюрок-сельджуков слуги и чины державы в отличие от земледельцев, считавшихся свободными общинниками и подлежавших шариатскому суду, числились рабами султана: их имущество, честь, жизнь и смерть зависели от его воли.

Не ведая, долго ли ему осталось жить, эмир Муса бросился за последним благословением к Султану Улемов, поскольку тот был отчасти и причиной постигшей его султанской немилости. Не раз намекал Муса, что следовало бы дать весть о нем в Конью, но Султан Улемов удерживал его: незачем, мол, знать султану этого суетного мира о рабе аллаха, всецело преданного миру иному.

Увидев в руках эмира послание, Султан Улемов тут же понял: весть недобрая. Не спеша прочитав письмо, он медленно вложил его в трубку и задумался.

Известно было ему, что сельджукские султаны относились к богословам и шейхам с неизменным благоволением: земли их были расположены на окраине мусульманского мира, нужно было привлечь приязнь правоверных, дабы успешно отражать натиск крестоносцев и одну за другой отвоевывать области византийские. А для этого требовалось во всем блюсти идеал мусульманского правителя: раз власть султана исходила от бога, он обязан был исполнять божественные веления, запечатленные в Коране и хадисах, толкуемые святыми старцами и улемами, устами которых глаголил вседержатель миров.

Дважды огладив бороду, Султан Улемов обратил свой взор на эмира, покорно склонившего шею в ожидании приговора.

— Ступай без страха пред лицо султана! Изложи ему все, как было!

Наскоро собрав в подарок повелителю остатки казны, эмир Муса вместо письменного ответа с гонцом в тот же день в сопровождении трех телохранителей ускакал в Конью сам.

–

Аляэддин Кей Кубад I, Султан Эмиров Ислама, коему покорялись князья и тираны всех стран от Йемена до Грузии и Абхазии, от владений Руси до границ Тарсуса, от Антальи, что на берегу моря Средиземного, до степей Кыпчака и Судака на той стороне моря Черного, от исхода владений Византии, френков и армян до Ктезифона, принял своего наместника в государственном диване. Пав ниц, Муса трижды бил челом, поцеловал деревянную ножку престола, покрытого ковром, на котором сидел, поджав под себя ноги, повелитель. Получив разрешение встать, он в знак покорности и повиновения скрестил на груди руки, ожидая, пока султан или кто-нибудь из улемов в черных джуббе, эмиров и вельмож в ярких халатах даст знак, что ему дозволено держать ответ.

— Говори! — приказал визирь, стоявший по правую руку от престола.

Муса, поклонившись еще раз, рассказал, не снимая вины с себя, все как было, присовокупив пространные похвалы святости Великого Шейха и Султана Улемов, пожаловавшего по велению аллаха на земли сельджукской державы и пожелавшего сделать местопребыванием своим город Ларенде, доверенный повелителем его ничтожному рабу.

Аляэддин Кей Кубад, рыжебородый, тридцатипятилетний, только что вернулся из победоносного похода на Трапезунд.

Присоединив ко всем своим титулам еще один — «повелителя побережья», и не без основания полагая, что после разгрома Хорезма монголами он сделался могущественнейшим мусульманским государем, султан много размышлял в то время о дарованной ему власти, открывавшей пути к господству над миром, и, быть может, не только мусульманским. Великий шейх, носивший титул Султана Улемов, был ему, Султану Эмиров Ислама, весьма кстати.

–

Эмир Муса вернулся в Ларенде против ожидания живой и здоровый. Мало того — с султанскими подарками, в сопровождении дворцовой охраны и двух придворных вельмож, коим поручено было передать высочайшее пожелание, чтобы святой отец, если он соблаговолит, сделал местопребыванием своим и детей своих Конью, ибо султан будет счастлив пользоваться его наставлениями.

Как ни тяжко было покидать город, где покоились в земле родные сердцу старика мертвецы и где мирно прошли последние годы его жизни, делать было нечего. Слова султанских посланцев, подкрепленные подарками и отрядом телохранителей, не оставляли сомнений — то было не пожелание, а приказ.

–

Снова, как семь лет назад, увязывались книги и пожитки, прощались взаимные грехи и обиды, уплачивались долги, давались наставления мюридам, остававшимся в Ларенде учить людей слову истины.

Снова у дверей медресе, как некогда перед их домом в Балхе, стоял наготове караван.

Последней по приставной лесенке взошла на спину верблюда еще не оправившаяся после родов Гаухер-хатун с малыми детьми, и Султан Улемов воздел руку, отправляя караван в последний для себя путь по дорогам земли.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
КРЕПОСТЬ

Зашей глаза, пусть сердце станет глазом.

Джалалиддин Руми

СПОР

Серое небо медленно наливалось голубизной. Звезды таяли одна за одной и вдруг канули разом, лишь утренняя пастушеская Зухра продолжала сиять негасимым глазом, сопротивляясь желтому свету, набиравшему силу за невысокими горами.

Муэдзины пропели призыв к молитве. Легкий ветерок зашелестел листвой под стенами. Грубые заспанные голоса приворотной стражи заглушил визгливый скрип железных петель.

Заревели волы, заблеяли овцы, подгоняемые окрестными крестьянами, с нетерпением дожидавшимися открытия городских ворот.

Во двориках за стеной послышались женские голоса, застучали спешащие за водой деревянные сандалии.

На рынке стали открываться ставни лавчонок. В рядах оружейников зазвенели первые удары по металлу, застучали молоточки чеканщиков в ювелирных мастерских.

Солнце выкатилось из-за гор, и вся долина с садами, домами, упрятанными в зелени загородными поместьями знати, дорогами, арыками открылась перед ним как на ладони.

Каждый дом, каждый сад, каждый звук были ему знакомы — шутка ли, он прожил в этом городе без малого полвека, и каких полвека! Близка была уже разлука, но он все не мог насытиться им: светом, красками, запахами, разноплеменной речью, самим духом города.

Всю ночь до утра шел сегодня пир во дворце Муиниддина Перване, первого сановника державы, на который вместе с Джалалиддином и его мюридами были приглашены виднейшие шейхи Коньи. По тому, как Перване, обычно сдержанный в проявлении чувств, переходил от задумчивости к веселью, как часто оглаживал бороду, устремляя свой взгляд куда-то далеко за стены или внутрь себя, видно было, что и его, Муиниддина Перване, долгие годы правившего страной, а теперь ставшего

безраздельным господином ее, ибо он управлял от имени малолетнего султана, снедает душевная тоска.

В словах и стихах Джалалиддина искал он утешения, уверенности и опоры, коих не находил ни в воинской силе мирозавоевателей-монголов, на которую опирался, ни в хитрости, с которой, умело разделяя, расправлялся с противниками своими — удельными беями и придворными вельможами, ни в тайной поддержке египетских султанов, с коими состоял в заговоре против монголов, ни в страхе, который он наводил на простонародье, ни в богатствах, коими владел без числа, ни в пожертвованиях на богоугодные дела, на постройку мечетей, медресе, караван-сараев и ханака, которые разбросал по всей державе.

Изощренный и прозорливый в делах двора и дивана, знатный родом — отец его был доверенейшим лицом султана, — да и сам породнившийся с династией, Перване был и умен, и образован. Бывало, умел без гнева снести горькие слова правды и о самом себе, особенно если исходили они от Джалалиддина, ибо, будучи политиком, почитал силу, даже если то была сила духа.

–

Как-то во время голода, постигшего страну после очередного набега монгольской саранчи, явился Перване к медресе Джалалиддина испросить поучения. Мевляна был разгневан: амбары Перване ломились от зерна, а люди умирали на улицах.

Он принял сановника стоя, сесть не предложил и перед лицом всей свиты задал ему вопрос:

— Верно ли, что ты, как говорят, знаешь наизусть Коран, изучаешь хадисы у шейха Садреддина?

— Верно, отец.

— Так вот тебе наше поучение: кто не творит добра, тот насильник. Но что тебе скажут мои слова, если не оказали на тебя действия слова самого пророка?

Перване удалился мрачный, однако внял совету — роздал два амбара беднякам и тем избежал голодного бунта. Но разве насытишь всех, когда страна разорена?

–

И этой ночью, внимая словам и стихам Мевляны, до утра думал на пиру свою думу Перване и лишь под конец решился

высказать ее словами:

— А все-таки, отец, главное — это деяние!

То был их давний спор. Эмира с поэтом, политика с мудрецом, спор человека действия и человека слова. Менялись доказательства, текли чередой события — и обстоятельства и доказательства преходящи, а существо спора оставалось неизменным и, наверное, пребудет таковым всегда, доколе будет дело, отделенное от слова, и слово, отделенное от дела.

Перване был убежден в превосходстве силы так же, как Джалалиддин в победе духа. Но спор был важен для обоих — как противники они стоили друг друга.

Сощурив блестящие от вина миндалевидные глаза, Перване — рука на поясе, другая на колене, — ожидал, что скажет ему на сей раз Мевляна. Но тот, перебирая в памяти деяния его, не торопился с ответом.

–

Отец Перване некогда без страха отправился в ставку монгольского военачальника. Было это двадцать пять лет назад после первого страшного и срамного поражения султанского воинства в битве при Кёсдаге. Он выговорил мир, правда, унизительный: сельджукский султан стал данником монголов. Но спас столицу и жизнь ее обитателей.

С той поры сын его, пользуясь благоволением монголов, пошел в гору. Сперва с их помощью одолел соперника — эмира Эрзинджана и сел на его место. Потом, отправившись в Тебриз, к самому монгольскому ильхану Хулагу, добился возведения на престол одновременно двух наследников престола Иззеддина и Рюкнеддина. В братоубийственной усобице, что разгорелась между ними, принял сторону последнего, отвоевал для него Синоп и получил его в свою вотчину. При поддержке монголов возвел своего покровителя Рюкнеддина единолично на престол, умертвил его противников, потом самого Рюкнеддина и стал править от имени малолетнего принца. Убийства беев и султанов, участие в усобице меж братьями-султанами не были для Перване всего лишь средством для личного возвышения, так же как, выколачивая дань из народа в пользу монголов, он, конечно, не забывал о себе, но преследовал не только виды личного обогащения.

Перване не гнушался средствами, однако пытался сохранить державу от окончательного развала. Но обладал ли он для этого словом? — спросил себя еще раз Джалалиддин, как мы бы с вами,

читатель, спросили: «А есть ли у него идейная база?»

Перване лишь следовал за обстоятельствами и событиями. Он умел находить средство от сегодняшней напасти, в лучшем случае от завтрашней. Меж тем развал страны шел своим чередом. Впрочем, на иное Перване был и не способен, оставаясь тем, кем он был, — прежде всего султанским эмиром.

Мевляна заговорил негромко, не подымая голоса, будто с самим собой:

— Подай мне способного на деяние! Пусть явится сей молодец, и мы ему покажем деяние. Но где он? Наука познается в сравнении с наукой, облако с облаком, дух с духом. Ты стоишь не на нашем пути, и будь у нас деяния, как бы ты их увидел?

Джалалиддин вдруг встал, словно в нем развернулась пружина.

— Деяние не есть нечто внешнее, как полагает чернь. Человек, в коем внешнее не объединено с внутренним, легко бежит в сторону деяния, но прибегает совсем не туда, куда бежал. — Он возвысил голос: — Ты и понятия не имеешь о слове и потому презираешь его. Меж тем главное — это слово. Оно плод древа деяний. И как плод, порождает новые деяния… Вот ты, Муиниддин, весь обратился в слух и ждешь слова. Не скажи я его, ты бы огорчился, — продолжал поэт снова тихо, раздумчиво. — Значит, слово мое сейчас для тебя великое деяние. Ты говорил мне, что слово бессильно. Но если ты прав, это значит лишь, что слово твое о бессилии слова бессильно тоже.

В голосе Джалалиддина была такая убежденность и сила, что Перване и в голову не пришло, сколь дерзостен смысл его речи. Набычившись, он ждал продолжения. Но Мевляна молчал.

Его ученики сидели потрясенные, по бородам их текли слезы, они не замечали их. Их делом тоже было слово, но у них сейчас не было слов.

И Джалалиддину захотелось выйти отсюда, из палат, пропахших воском свечей, вином, потом изнемогшей от плясок немытой дервишской плоти, бараньим салом и благовониями, на вольный воздух, под звездное небо, подняться сюда, на крепостную стену, чтобы здесь встретить новый день.

Он повернулся и, жестом остановив рванувшихся было за ним эмирских слуг, вышел.

–

Он был убежден в своей правоте: только слово способно вместить в себя смысл всех деяний прошлого и настоящего и

передать его, как гонец, тем, кто ждет впереди. Но чем дольше глядел он на открывшуюся перед ним долину, тем острее чувствовал, что не радость приносит ему эта правота, а печаль.

Да, слово — плод древа деяний. Но как бы хотел он обладать не только плодом, но и корнями, питающими ствол, и стволом, держащим зеленые ветви, и листвой, в тени которой могли бы отдохнуть люди.

Все познав, быть не в силах ничего изменить! Не довелось ему испытать того великого счастья, которое выпадает людям, когда движение их сердец совпадает с движением мира. Сколько помнил себя, он всегда шел наперекор. Пока он все глубже проникал в чудеса человеческого сердца, постигал скрытые в нем тайны, по земле все шире разливалось бесстыдное в своем убожестве насилие, затопляя ее волнами крови. И чем ближе подходил он к главному слову своей жизни, тем сильней ощущал: не вмещается и в слове все, что может вместить дух человеческий. Много мудрости — много печали.

Из-за горизонта, медленно поднимаясь, выплыли лазоревые переливчатые облака. Словно связанные арканом караванные верблюды, принесли они ему одну за другой картины деяний, свершенных им в поисках слова, в страстном нетерпении изменить мир, деяний, составляющих его жизнь.

Солнце, прикрытое облаком, точно глаз из-под чадры, ударило лучом в порыжелые пологие холмы Казанвирана. И он увидел страшный день, который запомнился ему навсегда, — последнюю субботу месяца зулькада шестьсот пятьдесят четвертого года хиджры [6]

ЧУДО

В тот год султан Изеддин попытался снова дать бой монголам. И был, конечно, без промедления разгромлен; большая часть его войска была перебита на месте, часть рассеялась.

Обычно монголы старались ворваться в город на плечах бегущих. Но объятое ужасом султанское воинство бросилось искать спасения не за крепостными стенами Коньи, а в лесистых холмах. И когда после полудня у города показались передовые конники монгольских тюменей, ворота были заперты.

Покружив, монголы так же внезапно, как появились, скрылись за холмами.

Толпы горожан, надеясь выбраться из столицы прежде, чем монголы начнут штурмовать стены, осадили все городские ворота изнутри. Отбиваясь от обезумевшей толпы, стража пустила в ход

оружие. Вопли женщин, стоны задавленных, покалеченных, рев вьючных животных смешались с предсмертными молитвами и хрипами умирающих.

На помощь стражникам поспешили вооруженные кинжалами и длинными палашами отряды ремесленного братства ахи, решившие оборонять город. Но сколько они могли бы продержаться вместе с дворцовой охраной и городскими стражниками? Необученные, без опытных военачальников, они предпочли принять смерть в бою, нежели быть умерщвленными, как бараны, монгольскими булавами.

К вечеру десятки тысяч людей сбились в городские мечети. Попрощавшись с родными, друг с другом, они творили предсмертную молитву, плач и стоны сотрясали город. Все знали, что ждет их, если Конья будет взята штурмом: женщин — бесчестие и рабство, мужчин — смерть, ремесленников — подневольный труд в диких монгольских степях без радости и надежды, труд до самой могилы.

Раздирающие душу сцены разыгрывались прямо перед обителью, где собрались мюриды Мевляны. Живший по соседству купец тоже хотел выбраться с семьей из города. Но когда пришла весть, что ворота закрыты, его красавица жена, позабыв о стыде, прямо на улице, пав перед мужем на колени, принялась умолять прикончить ее, не дожидаясь, пока ее обесчестят монголы. Невыносимы были, видимо, ее мольбы. Купец выхватил из-за пояса кинжал, занес его над головой. И застыл, точно чья-то рука схватила его за кисть. Потом уронил клинок и заплакал слезами бессилия. Тогда, проклиная и его любовь, и его слабость, жена подняла кинжал с земли и вонзила его себе в грудь.

–

Если монголы не обрекали город на уничтожение, они не трогали духовенство. Убивая воинов, под корень вырезая династии правителей, забирая в рабство женщин и ремесленников, они предпочитали договориться с духовенством, если оно, конечно, не призывало к сопротивлению. Так было и в мусульманских, и в христианских странах, в Персии и Грузии, и в Европе. Быть может, смерть и миновала бы поэтому Мевляну и его мюридов, хотя они не занимали никаких постов в иерархии служителей аллаха. Но легче было умереть, чем своими глазами видеть расправу над городом и панический страх, объявший его жителей, не будучи в силах ничто изменить.

Все глаза были устремлены сейчас на него. От Джалалиддина

ждали слова. Спасительного слова истины. Слова-деяния. Но у него не было слов. Вернее, их было столько, что, сталкиваясь, они разлетались на мириады атомов, прежде чем успевали достигнуть его уст. И, прислушиваясь к себе, он все отчетливей сознавал, что никакое слово не может вместить в себя адский скрежет и грохот бури, бушевавшей в его сердце, любое казалось ему бессильным.

В молчании текли драгоценные минуты. Сумерки саваном окутали город.

Мевляна склонился в поклоне, обошел учеников, каждому подолгу глядя в глаза, словно прося у них прощения.

Удалился к себе. Попрощался с женою, с детьми.

И, взяв с собой только Веледа и Аляэддина Сирьянуса, вышел из обители и зашагал по обезумевшему от горя городу к восточным воротам Халкабегуш.

–

Старший чавуш приворотной стражи, несколько часов отбивавший напор толпы, злобный, как ангел смерти Азраил, при виде трех фигур с фонарем, которые приближались к воротам, чуть было не приказал стражникам дать им как следует по шеям, но десятник отряда ахи узнал Джалалиддина и дернул чавуша за рукав. Смущенный, тот не посмел воспротивиться поэту.

Скрипучие вороты подняли стальную решетку. Четверо стражников — по двое с каждой стороны — растащили тяжеленные щеколды, запиравшие окованную железом дверцу в массивной дубовой створке ворот.

Приказав Веледу и Сирьянусу дожидаться его здесь до утра, Джалалиддин пригнулся и исчез в ночи.

Рваные клочковатые облака, подсвеченные мутным подслеповатым глазом луны, быстро неслись по небу. Изредка в прорезях, мигая, пробегали звезды. Ветер, упругий, дышащий травами степей, шелестел листвой в садах, унося прочь окрики воинов на городских стенах, смятение и ужас минувшего дня.

Он был один в ночи. И, поспешая по знакомой тропе, вьющейся среди пригородных садов, к холмам Казанвирана, за которыми скрылись монгольские конники, чувствовал, как в нем медленно вызревают слова.

Океанский вал остановить нельзя. Но можно выстоять. Так и монголы: против них идти бесполезно, можно только устоять, как всегда стоял народ. И нечего их бояться тем, у кого ничего нет. Пусть хозяева добра увязывают тюки. Пусть трепещут властители, погрязшие в насилии, не гнушающиеся ничем, дабы тешить свое

себялюбие. Пусть дрожат улемы и факихи, освящающие неправду именем аллаха. Для бедняка неволя есть неволя. Новая страшна лишь тем, что она непривычна. Дальше смерти деревни нету. Зато из праха и разгрома, на месте прогнивших старых устоев может родиться новая вера и новая человечность.

–

Он медленно поднимался на вершину холма. Далеко внизу, опоясанный кострами, раскинулся монгольский стан. Посредине стоял огромный шатер Байджу, командовавшего монгольскими тюменями. Пламя играло на белоснежном войлоке, на копьях и саблях охраны. Справа и слева угадывались юрты поменьше. Всю землю в кругу костров покрывали темные тела уснувших воинов.

Кого только не увлекли на своем мирозавоевательном пути монголы — тюрок, таджиков, хорасанцев, хорезмийцев. Все народы отдали им свою кровь, своих воинов. Что ж, монголы, в свою очередь, растворившись со временем среди завоеванных народов, отдадут им свою…

Даже во сне блюли войска порядок, заведенный Чингисханом. По правую руку от шатра Байджу лежали воины правого крыла, по левую — левого. Тюмени были разделены широкими проходами для всадников, тысяча от тысячи — прогалинами поуже, сотня от сотни — пешими тропинками, едва угадывавшимися отсюда, сверху.

Если бы не долетавшее по ветру бряцание конской сбруи — караулы у костров и на ночь не расседлывали своих длинношерстных, ко всему привычных низкорослых коней — да пламя костров, можно было подумать, что не сон, а смерть сразила монгольский стан, так было тихо и покойно вокруг. Битва была выиграна, завтра предстояло торжество, и рядовые воины, и тысяцкие спали младенческим невинным сном людей, на славу сделавших свое дело.

–

Монголы разрушали города, вытаптывали пашни и сады не оттого, что злы по природе, подумал вдруг Джалалиддин, а оттого, что служили своему скоту, который нуждается в пастбищах, а не в пашнях. Это, конечно, дикость, но дикость — состояние преходящее.

За сорок лет, что минули с того страшного первого вала

нашествия, который вырвал их с корнем из Балха, монголы уже изменились. Давно нет в живых Чингиса, а его потомки заботятся уже не столько о скоте, сколько о землях, доставшихся им в удел: чтоб земли эти кормили их, приносили дань. Значит, нет смысла разорять дотла города, уничтожать людей, что создают богатство. И если люди эти будут не только поболее числом, но и посильнее духом, то неизвестно, кто у кого окажется со временем в плену и что останется тогда от имени Байджу иль даже от имени ильхана Хулагу?

Он пробыл на холме до самого рассвета. И, глядя на монгольский стан, все больше утверждался в убеждении, что с Коньей завтра не случится ничего. Даже перед рассветом в монгольском стане было тихо, ничто не говорило о приготовлениях к битве, к штурму. Да и зачем им было штурмовать столицу, которая лежала распростертой перед копытами их коней?

–

Джалалиддин не ошибался. В одном из шатров по левую руку от юрты Байджу той ночью без сна ворочался на войлочной постели Рюкнеддин, будущий султан сельджукской державы, которого монгольский ильхан приказал посадить на престол в Конье вместо его взбунтовавшегося брата. А рядом с ним в шатре был и Муиниддин Перване. Тот самый Перване, с которым Джалалиддину предстояло вести свой многолетний спор, спор о слове и о деле. Как некогда его отец выговорил у монголов мир, так в тот год сын снова выговорил жизнь для жителей Коньи, став истинным правителем державы.

Но, стоя на холме, Джалалиддин об этом знать не мог. Он только размышлял и наблюдал. И когда солнце тронуло небосвод первыми робкими лучами, решил: да, город и на сей раз уцелеет. Он быстро спустился в долину, оглашенную рассветным пением птиц, и направился к стенам Коньи.

У ворот Халкабагуш собралась громадная толпа: дервиши, стража, ахи, факихи, муллы, горожане. Вопль изумления при виде Мевляны, вернувшегося живым и невредимым, потряс ее: то было чудо.

За десятилетия монголы, непобедимые, неуязвимые, внушили людям необъяснимый потусторонний страх. Бывало, среди нескольких десятков мусульман вдруг появлялся монгольский воин, приказывал им лечь на камни и ждать, пока он не вернется, чтобы снести с них головы. И люди, точно кролики, завороженные

удавом, покорно ждали, и не помышляя о бегстве, пока монгольская сабля не лишала их жизни.

А Мевляна один ушел и вот возвратился! То было чудо, и оно должно повлечь за собой другие.

Прочтя все это в горящих, обезумевших от отчаяния и надежды глазах толпы, Джалалиддин нежданно ощутил опустошающее душу бессилие.

Не веривший в иные чудеса, кроме чуда сердца человеческого, он словно услышал легенду, что будет сочинена о только что минувшей ночи теми, кто, усвоив его слова, но не их суть, назовет себя его последователями, когда он сам уже не сможет сказать больше ни слова.

Через шестьдесят лет после ночи, проведенной поэтом на холмах Казанвирана, по приказанию его внука, который возглавит секту, освященную именем поэта, почтенный шейх Афляки занесет в свою богоугодную книгу «Жизнеописаний познавших» легенду о том, как Мевляна спас Конью от монгольского разгрома «силой своей святости».

Свершатся опасения поэта: яйцо мысли окажется выеденным изнутри, сохранится в неприкосновенности лишь скорлупа слов.

–

Отчаявшаяся толпа тянула руки к Джалалиддину, как голодные тянутся к хлебу. Они просили надежды. Он молчал.

Каждый человек — единственный, неповторимый мир. Но все они — люди. Он знал самого себя и потому понимал мотивы, мысли, чувства других. Их ад был и его адом, их рай — и его раем. И потому он испытал все, что могут испытать люди.

Если он понимал человека, то понять толпу нетрудно. От единой искры она занимается пламенем, как сухая степная трава. И уж совсем легко разгадать толпу вооруженную, направляемую волей какого-нибудь хана или султана. Побуждения и цели султанов убого ограничены их положением.

За ночь, проведенную вблизи монгольского стана, он пришел к убеждению: судьба и на сей раз будет милостива к Конье. Ильхан Хулагу отправил своего нойона Байджу не захватывать новые земли, а привести к покорности уже завоеванные, посадить на место султана Иззеддина его брата и взыскать дань, которая виделась ему не простым числом, а подобием бесконечной геометрической прогрессии. Зачем же тогда рушить город, избивать людей?

Все так, но при одном условии: если не произойдет

непредвиденного, что вызовет в Байджу человеческие чувства — он ведь все-таки человек, — такие, как ярость, обиду, отвращение, которые заставят его позабыть и о своем положении, и о хане Хулагу. Тогда… Тогда можно ошибиться. Но он, Джалалиддин, не имеет права ошибиться. Не от визирей, вельмож и башбугов — они во главе с султаном Иззеддином удрали с поля битвы и бросили столицу на произвол судьбы, — а только от него, Джалалиддина, зависело теперь, останутся жители в городе или попытаются его покинуть, умрут ли в бою, падут, как бараны, под ударами монгольских булав или будут жить. От одного его слова. И потому он молчал. Но как ни трудно было молвить слово, он все же должен был его сказать.

— Не бойтесь. Прошло время страшиться монголов. И бежать их тоже. Город уцелеет.

Худой высокий дервиш с запавшими глазами на изможденном лице первым прокричал:

— Чудо! Мевляна сотворил чудо!

Отвращение захлестнуло поэта. Чудо? Какое чудо? Неужто наблюдать и думать, просто думать над увиденным для человека чудо?!

Разрезая толпу, Джалалиддин, сопровождаемый Сирьянусом и Веледом, быстрым шагом двинулся к дому. И вслед ему, растекаясь по городу, как лампадное масло, летело липкое: «Чудо! Чудо! Чудо!»

Он с трудом удерживался, чтоб не заткнуть уши. Войдя во двор, Джалалиддин успел заметить в дверях жену и невестку, спрятавшихся при его появлении. Быстрым шагом он вошел в большую соборную келью медресе. Ученики и друзья, ожидавшие его здесь, встали, склонившись в поклоне. И тут до слуха его снова долетел громкий шепот за его спиной:

— Какое чудо смелости явил Мевляна! Не устрашиться воинов Байджу! Чудо!

Чудо смелости?! При чем здесь смелость!

Не смерти, а слепоты сердца и разума страшился он. О пленники собственного невежества! Своего страха надо вам страшиться, своей покорности небесным сферам, властителям, собственным страстям! Какая тьма вокруг, какая тьма в головах! Не видать ей ни конца, ни края. И никакое слово, никакое деяние не в силах с ней покончить…

> В исступлении обернулся он на голос. Взлетела вверх рука:
> Ни сфер небесных, ни творца я знать не знаю, знать не знаю!

Напрасно не ищи путей! — твердят. — Ступай скорей сюда!
А как ступают в никуда, я знать не знаю, знать не знаю.
То душу мне перевернет, то, взяв за шиворот, тряхнет.
А кто — кудесник иль злодей? Я знать не знаю, знать не знаю.
Я вижу: мир стоит, как лев, а перед ним — баранов хлев.
Но ни баранов и ни льва я знать не знаю, знать не знаю.
Ищу я русла, как поток, что и меня с собой увлек.
Но русло где и где поток, я знать не знаю, знать не знаю.
Шумит базар, хваля товар, а я — заблудшее дитя.
И что за шум, что за базар, я знать не знаю, знать не знаю.
Меня то хвалят, то бранят, то превозносят, то хулят.
Но тех, кто хвалит, кто хулит, я знать не знаю, знать не знаю.
Земля, что мать, а небеса — отец. Детей своих, как кошки, пожирают,
И мать такую, и отца я знать не знаю, знать не знаю.
Пусть каждый миг сто тысяч стрел нам длани власти в грудь вонзают.
Ни этих дланей и ни стрел я знать не знаю, знать не знаю.
Я из младенчества ушел, ряды врагов, как воин, прорубаю.
И ни наставников, ни нянек знать не знаю.
Я повинуюсь Истине одной, лишь ей, султану всех султанов.
Байджу, Батыя, прочих ханов я знать не знаю, знать не знаю.
Я греков, тюрок сердцем обнимаю. Монголов, даже их обнять могу.
Так что мне до ильхана Хулагу? Я и его-то знать не знаю, знать не знаю.

Какое счастье, что он тогда не ошибся. Войско Байджу так и не вошло в город: некогда было. Хулагу уже готовился к походу на Багдад.

По совету Перване вельможи, купцы, ремесленные цехи, весь город собрали огромный выкуп — скотом, деньгами, драгоценностями, редкостными изделиями мастеров, — который был милостиво принят монгольским военачальником.

Посадив на престол султана Рюкнеддина, Байджу

удовольствовался тем, что приказал срыть крепостные стены вокруг всех городов сельджукской державы, дабы не могли они впредь оказывать сопротивления монголам.

Но для Коньи, чтобы не умалять ее в глазах удельных беев, было сделано исключение. И вот такие же прочные и невредимые, как в тот день, когда он увидел их во всем великолепии, стоят стены Коньи под его теперь уже слабыми старческими ногами.

СТЕНЫ

Впервые открылись они взору двадцатилетнего Джалалиддина, ехавшего на верблюде вслед за отцом, ранним майским утром почти полвека назад. Мрамор башен, высившихся над рвами с водой, светился под лучами солнца живой плотью. Странные барельефы: лев с человечьей головой, орел, крылатый гений в штанах и кафтане, застывший в стремительном беге-полете; выбитые на камнях имена беев, участвовавших в воздвижении крепости, стихи Фирдоуси из «Шахнаме», которое так чтилось сельджукскими султанами, — все это делало стены Коньи похожими не на крепость и опору ислама, запрещавшего изображать людей и животных, а на еретически прекрасный мираж.

За годы скитаний Джалалиддин привык к встречам, которые оказывало его отцу духовенство. Но тут вокруг встречавших их черных джуббе и высоких обмотанных чалмой кавуков он разглядел стройные ряды воинов с луками и щитами, посредине которых ярко блестели на солнце золотые кружки. То было отличие султанской охраны, набранной, как советовал великий визирь Низам-ул-Мульк в своей «Книге управления», из чужеземцев — грузин, русов, курдов, афганцев, дейлемитов. И уж совсем опешил Джалалиддин, заметив среди воинов зеленый султанский зонт. Неужто сам Султан Эмиров Ислама Аляэддин Кей Кубад I вышел пешком за стены, чтобы встретить Султана Улемов?!

–

Пышный титул сельджукского султана вполне соответствовал славе его правления и пышности его двора. Присовокупив к своему мусульманскому имени Аляэддин («Вершина веры») имя воспетого в «Шахнаме» иранского царя Кей Кубада, он держал за образец дворцовый ритуал древнеиранских царей. В диване, где

рассматривались дела управления, султан был отделен от подданных занавесом: лицезреть повелителя считалось великой честью. Вокруг трона с дубинками, дротиками и молотами стояли телохранители, повсюду следовавшие за повелителем и всегда готовые пролить кровь государевых изменников. Дворцовая стража, телохранители, вся вооруженная челядь руководствовалась раз и навсегда определенными правилами — законом султанской палатки.

Многочисленным и разнообразным штатом дворцовых слуг и чинов — спальников, умывальников и халатных, слуг занавеси и привратников, манежных, конюших, сокольничих и охотничих, кухонных, хлебодаров, виночерпиев, отведывателей пищи, лекарей и шутов — заведовал специальный эмир двора. Он же рассаживал на пиру гостей по местам согласно их достоинству, чину и старшинству, давал знак, когда подавать кур и фазанов, когда баранину, когда голубей, куропаток и ланей, когда луноликим юношам в расшитых серебром одеждах обносить пирующих шербетами и кумысом, айраном и вином.

На торжественности и пышности дворцового ритуала сказалось и влияние соседней Византии. Там многие сельджукские султаны, опасаясь коварства и трусости своих царствующих братьев и отцов, прежде чем сесть на трон, проводили в изгнании долгие годы.

Не избежал этой участи и Аляэддин Кей Кубад, в юности свыше десяти лет проживший при дворе византийского императора в Константинополе. Пышные приемы, во время которых демонстрировались чудеса современной техники, вроде вознесения к потолку императора вместе с его престолом с помощью гидравлики, на первых порах производили на будущего султана, как, впрочем, на всех сельджуков — потомков недавних кочевников, — ошеломляющее впечатление. Но, приглядевшись к однообразной механической повторяемости этих приемов, ко всей жизни императора, вынужденного ежедневно разыгрывать утомительнейшую комедию величия, жизни несвободной, лицемерной, исполненной интриг и разврата, он не испытывал уже ничего, кроме отвращения и скуки.

Единственной отдушиной будущему султану служило чтение «Огуз-наме», книги, запечатлевшей обычаи и порядки его предков-кочевников, с которой познакомил его воспитатель-атабек Бедреддин Гевхерташ. Там была вольная кочевая жизнь с охотой, пирами и подвигами, прекрасный в своей простоте и примитивности распорядок.

Сев на трон в Конье, Аляэддин Кей Кубад скрепя сердце вынужден был в видах политических принять сложившийся до

него дворцовый церемониал. Но как только выдавался удобный случай, норовил удрать из дворца. Если не было похода, уезжал во вторую столицу державы, в Кайсери, а с наступлением весны непременно переселялся на юг, к морю.

Когда выпадала свободная минута, султан мастерил луки, шил седла, делал ножи, плотничал. Любил и шахматы — в этой игре он был превосходным бойцом. Подражая царям Ирана, слагал неплохие четверостишия — рубаи. Но как следует отводил он душу дважды в году — на традиционных, завещанных предками больших охотах, куда собирались знатные вельможи, беи, наместники, прославленные воины и молодые честолюбцы со всей державы.

Каждая такая охота продолжалась пятнадцать дней. Зверей выслеживали на огромных пространствах, потом сгоняли и травили. По обычаю огузов, первым метал стрелу в зверя султан, за ним большие беи, потом средние, а уж потом малые. Но главным назначением охоты было выяснить, не ослабела ли рука, не утратили ли меткость глаза беи и наместники, не пришло ли время сменить их более ловкими и молодыми: ведь уделы давались им не во владение, а в управление, не за знатность и не по наследству, а за службу. И служба эта была прежде всего военная. За меткий удар, попадание в птицу султан жаловал перо на голову, за тигра — кутас, подвязывавшийся у локтя.

На пиру — шиляне, которым заканчивалась охота, резались бараны. Каждый получал заранее определенный обычаем кусок мяса, по старшинству и близости к султану. И, вкушая его, как бы снова присягал на верность повелителю. Нередко бывало, что именно так — куском мяса давал знать султан молодому воину-сипахи о новом назначении или старому вельможе о постигшей его немилости.

В глубине души султан Аляэддин Кей Кубад I все еще оставался огузом-кочевником. Но с чрезвычайной серьезностью, которая свойственна вновь обращенным, относился к делам духовным. Когда-то на письменность, насаждавшуюся пришлым духовенством, его предки смотрели с суеверным ужасом, письмо у них было синонимом амулета. Неграмотный турецкий крестьянин еще в начале XX века поднимал с земли обрывок исписанной бумаги: ведь там могло быть начертано священное слово.

Для султана Аляэддина Кей Кубада любая грамота, любой указ был священен, ибо всегда начинался со славословия аллаху. Подписывая указ, он предварительно совершал омовение — хотел быть чистым, как перед молитвой. Понятно, что и к духовенству султан относился с особым почтением. Его покойный брат в свою

бытность султаном пригласил в Конью великого шейха, прославленного на весь мусульманский мир Ибн-ал-Араби родом из Испании. Он смотрел на ученого суфия как на своего духовного отца. Испрашивал у него поучения. Окруженный крестоносцами, искал совета в политических вопросах и разрешения сомнений в делах душевных.

Занявший на троне место брата Аляэддин Кей Кубад в годы монгольского нашествия собрал вокруг своего двора немало светил мусульманской учености. Но прибытие балхского проповедника, носившего титул Султана Улемов, все же было для него событием чрезвычайным, и он решил его встретить сам.

–

Когда караван приблизился к стенам, отец поэта сошел с верблюда. Свита Султана Эмиров, блистающая дорогими одеждами, драгоценным оружием, и крохотная кучка суфиев во главе с Султаном Улемов, в простых халатах, черных и лиловых ферадже, медленно двинулись друг другу навстречу.

Честь, оказанная султаном, предоставляла возможности, которыми отец не преминул воспользоваться.

Между ними осталось не больше трех шагов, когда Султан Улемов остановился с поклоном.

Султан Эмиров сделал еще шаг и склонился, чтобы поцеловать руку почтенному старцу. Но тот вместо руки гордо протянул ему свой деревянный посох.

Яростное недоумение мелькнуло в рыжих глазах султана Аляэддина Кей Кубада: «Что за спесь!»

Но делать было нечего — он подавил гнев и приложился к посоху.

И тут Султан Улемов явил одно из тех чудес ясновидения, которые весьма просты для шейха, но неотразимо действуют на неискушенные умы.

— Напрасно, повелитель, в мыслях своих полагаешь ты меня спесивым! Смирение — дело нищенствующих улемов, но не к лицу оно ни султанам мира, ни султанам веры, кои держат в руках своих суть вещей!

Эти слова сразили Аляэддина Кей Кубада наповал: гость угадал его мысли! И он почтительно предложил ему поселиться в своем дворце.

Но Султан Улемов предпочел султанскому дворцу медресе Алтунпа. И роздал нищим богатые дары, которые были ему пожалованы монаршей милостью по случаю благополучного

прибытия в столицу. Это еще больше укрепило султана и его двор в убеждении, что балхский проповедник не зря носит титул Султана Улемов, и помогло ему получить должность проповедника в соборной мечети.

Так началась их жизнь в Конье, благословенной державной столице, удачно расположенной, отменно застроенной, изобилующей ручьями, стекавшими с близких гор, окруженной садами и виноградниками.

В Конье шумело множество базаров и рынков: на конском — торговали лошадьми, на хлебном — ячменем и просом. У Невольничьих ворот — людьми. В еврейском квартале торговали вином, в греческом — гашишем. Лепешки, мед, масло, баранина — все было немыслимо дешево, ибо дешев был труд земледельца.

То был город славных ремесленных и торговых рядов — медников, ювелиров, ткачей, оружейников, бакалейщиков, торговцев скотом и тканями. Каждый ряд, каждый квартал, отделенный от других стеной, запирался на ночь воротами.

Люди, стекавшиеся со всех концов земли, заполняли городские караван-сараи, медресе и ханаки, построенные на пожертвования ремесленных и купеческих цехов, на дарственные знатных вельмож, не знавших счета богатствам. То был город гробниц и мавзолеев со сторожами и служками, казарм, полных воинами, диванов, кишевших писарями, приказными и каллиграфами, город ученых, шумных, скандальных кабаков, веселых домов арфисток, разбогатевших от поклонников и владевших сотнями рабынь.

Меж тем жизнь Султана Улемов подходила к концу. Он чувствовал: Конья, что пришлась ему по душе, — его последняя нечаянная радость, последняя стоянка в этом бренном мире.

Как-то, стоя вместе с Джалалиддином на крепостной стене, шагах в тридцати от того места, где сейчас стоял он, еще более старый, чем его отец, Султан Улемов поглядывал на город, посредине которого возвышались крыши эмирских особняков, купола султанских дворцов и мечетей, и молвил, воздев руки:

— Взгляни, мой сын, сколько тысяч домов! В этом городе тебе и внукам моим, и внукам внуков наших жить да жить!..

И последние два года жизни, которые провел он в Конье, Султан Улемов употребил на осуществление своей мечты о том, чтобы потомство его пустило в этой земле прочные корни.

–

Джалалиддин продрог на легком утреннем ветру, а ведь в

годы молодости этот утренний ветер всегда воодушевлял, освобождал его мысли. Поежившись, он втянул голову в ватный халат, поданный ему у выхода из дворца Перване.

Медленно двинулся к ближней башне и, не обращая внимания на стражников, укрылся за нею от ветра, став лицом к городу.

Взгляд его обратился к султанскому дворцу. Неподалеку от цитадели отыскал он купола своей обители, матово поблескивавшие под лучами невысокого солнца.

И этим медресе, которое и по сей день служит ему и его ученикам, обязан он Султану Улемов, еще одному нехитрому чуду ясновидения, которое явил он незадолго до смерти своей.

–

В ту пятницу послушать проповедь Султана Улемов собралась вся знать Коньи. Сам султан и его семья почтили присутствием недавно законченную соборную мечеть — чудо зодческого искусства дамасских мастеров, под куполом которой умещалась одновременно не одна тысяча людей. Вместе с повелителем явились придворные вельможи и эмиры. И среди них сахиб — начальник над диванами, бейлербей — командующий войском, наиб — наместник султана по воинской части, эмир пазвантов — начальник городской стражи, эмир пердэдаров — начальник дворцовых слуг, атабек — воспитатель султана, эмир тугры — хранитель печати, языджи — султанские секретари, кадий, богословы, муллы, старейшины купеческих и ремесленных цехов.

Взойдя на мимбар из черного дерева, украшенный старинной резьбой, Султан Улемов произнес традиционное славословие Вседержателю Миров, хутбу на имя султана Аляэддина Кей Кубада и умолк, внушительно оглядывая собравшихся. Затем, словно прислушиваясь к самому себе, произнес:

— Не знает душа, что обретет она завтра, и не знает душа, в какой земле умрет.

То был последний стих из тридцать первой суры Корана. Стихом из Корана начиналась любая проповедь. Но отец вложил в него столько своего, личного, что сразу же завладел сердцами слушателей.

Как обычно, его проповедь состояла из сообщения о том, при каких обстоятельствах был произнесен пророком сей стих, и толкования его. Султан Улемов знал Коран наизусть, память его, не ослабевшая с годами, удерживала тома комментариев и толкований, бесчисленное множество притч и стихотворных

строк. Толкование одного стиха само собой вызвало новый, который влек за собой новое толкование, оснащенное притчей. Так, шаг за шагом развивал он мысль о бесполезности попыток познать разумом то, что просто и непосредственно открывается сердцу, если только уметь его слушать.

Форма его проповеди вполне отвечала содержанию. Он обращался не к логике, не к разуму, а к чувству. Обильно уснащая речь образами и фигурами, он вполне владел искусством разговаривать с толпой как с одним определенным человеком.

Время от времени он выбирал кого-либо из слушателей и обращался именно к нему, по выражению лица проверяя действие своих слов.

Сидевший во втором ряду бывший атабек султана, а ныне управитель дворца Бедреддин Гевхерташ, подобно остальным, внимал проповеди с изумлением. Но мысли его отличались от мыслей большинства. За бытность свою в Константинополе, где находился он в изгнании с будущим султаном, атабек Бедреддин Гевхерташ нагляделся немало чудес. А на поверку выходило, что за ними всегда стоит хорошо отлаженная механика. И потому в его удивлении была изрядная доля иронии. «Благословен улем! — подумалось ему. — Ну и памятью наградил его господь: сколько притч и толкований умещает в своей голове, сколько слов! Верно, много часов готовится к проповеди, кто знает, сколько пролистает томов».

В этот миг он почувствовал на себе взгляд Султана Улемов. И услышал его голос:

— Эмир Бедреддин, прочти стих Корана!

Остановив свой взгляд на исполненном достоинства и важности эмире, одном из богатейших и влиятельнейших вельмож двора, проповедник мгновенно уловил на его лице тень сомнения и по опыту угадал его смысл.

Атабек, бородатый, грузный, вскочил, словно застигнутый врасплох мальчишка, и от растерянности не смог привести на память ничего другого, кроме первого стиха суры «Верующие».

— «Блаженны верующие, которые смиренны в своих молитвах…»

— А теперь слушай, эмир Бедреддин, — прервал его проповедник, — сколько толкований без подготовки и размышлений могу я привести только к слову «блаженны»…

Атабек взбежал по ступеням мимбара. Припал к руке Султана Улемов и во всеуслышание поведал о сомнениях, мелькнувших в его голове. Затем спустился вниз, поцеловал под одобрительные возгласы собравшихся приступок мимбара, признавая тем самым Султана Улемов своим духовным наставником.

— Коли так, — громко молвил проповедник, — в благодарность Вседержателю Миров за твое обращение повели построить для меня медресе!..

…И вот оно стоит, медресе Гевхерташа. И по-прежнему приписана к нему подаренная атабеком деревня Караарслан, хотя много лет уже нет на свете самого атабека, удушенного монголами по доносу Перване, и давно истлели в земле кости Султана Улемов. Стоит как крепость их памяти — да будет над ними благословение господа!

Как это сказал отец? «Возведи крепость из добрых дел, и не будет на свете ее прочнее».

–

Султан Улемов сказал это вот тут, неподалеку от башни Султанских Ворот, самому падишаху Аляэддину Кей Кубаду, когда тот, гордясь только что законченной крепостью, повел показывать ее балхскому богослову, с нетерпением ожидая похвал.

— Прекрасную и мощную крепость построил ты, повелитель, — молвил Султан Улемов. — Крепость от вешних вод и вражьей конницы. Но чем защитишься ты от воплей и молитв угнетенных?! Ведь эти стрелы пробивают и башни, и броню, и тело! Да воодушевит тебя Аллах на строительство крепости из добрых дел и справедливости, что прочней ста тысяч крепостных валов из камня, ибо только в ней — охрана и надежда народа!

Скупец Корей был поглощен землей,
Хоть достояние несметное составил.
Но жив Нушинраван, добрейший из царей:
После себя он имя доброе оставил.

–

Из всех сельджукских султанов Малой Азии, пожалуй, один лишь Аляэддин Кей Кубад I оставил по себе память, которая, быть может, переживет его самого. Ни до него, ни после не была так изобильна здешняя земля и надежны дороги, так устойчива чеканившаяся в Конье монета, столь искусны ремесла и украшены города.

Аляэддин Кей Кубад вел войны, присоединял земли, но не

разорял их. Не вырезал иноверцев, а привлекал к строительству державы.

Безрассудно храбрый сын хорезмшаха Мухаммада Джалалиддин, воспользовавшись смертью Чингисхана и восстанием хорасанских городов, снова вынырнул из Индии, чтоб продолжать борьбу с монголами, и вместе с хорезмскими беями и вновь набранным войском, преследуемый монгольскими тюменями, укрепился в Ширване, разгромил Грузию, вторгся в пределы сельджукской державы и занял крепость Ахлат, что на берегу Ванского озера. Но султан Аляэддин, предвидя неминуемое столкновение с общим врагом — монголами, предложил ему не войну, а союз. И не его вина, что сын хорезмшаха Джалалиддин, подобно отцу своему одержимый манией величия, выбрал войну и был разгромлен в многодневной битве при Яссычимене под Эрзинджаном. Но и к поверженному врагу был милостив султан Аляэддин Кей Кубад: выделил хорезмийским беям с племенами их и дружинами земли в пределах своей державы.

Когда с юга двинулось походом на Конью стотысячное войско египетских властителей, султан Аляэддин Кей Кубад разбил его, но не преследовал дальше Харпута — ведь безопасность державы была обеспечена.

Поэт подумал, что султан, для коего цель не страна и благо ее, а слава завоевателя, подобен ослу, который бежит из страха перед палкой, не имея понятия, что везет за собой в повозке, или зашоренной лошади, которая носится по кругу, не подозревая, что крутит колесо, качает воду или жмет масло из кунжута.

Каждый, кто, не заботясь о благе мира, старается лишь для себя, для своей выгоды, кто боится лишь за себя, — не деятель, а всего лишь орудие, — да икнется сейчас Перване! Такой властитель думает о войне, как осел о палке. Лишь время покажет, что за груз влекут они за собой, какой смысл в их деяниях.

Поучение Султана Улемов запало в душу султану Аляэддину Кей Кубаду оттого, что видел он свою славу не только в завоеваниях, но и в процветании державы, мечтал прослыть справедливым правителем.

Однако следовать поучению, при всем желании, не мог даже такой султан, как Аляэддин Кей Кубад, точно так же как не в силах был он отказаться от придворной пышности при всем своем отвращении к ней. Аляэддин Кей Кубад для осуществления своих намерений располагал только силой власти.

Джалалиддин усмехнулся. Но если султан употребляет власть, то власть, в свою очередь, употребляет султана. И чем

могущественней власть султана, тем страшнее ее сила над султаном. Прежде всего власть требует денег. Их можно получить, облагая данью всегда облагаемых утесненных. Или же, если желаешь прослыть справедливым, прижать великих беев. Но это опасно, ибо великие беи не только богаты, но и могущественны. Они избирают султана, несут его на руках на трон, но они же могут его трон перевернуть.

Аляэддин Кей Кубад, чтобы прослыть справедливым, пошел на риск, зная, что ему грозит. И вскоре должен был казнить вельмож, составивших против него заговор.

Среди них был и его старый друг эмир Сейфеддин, что после смерти царственного брата снял с его пальца султанский перстень и передал Аляэддину, предрешив таким образом восшествие Аляэддина на престол. Тот самый эмир Сейфеддин, которому, принимая перстень, Аляэддин Кей Кубад вручил написанную собственной рукой грамоту, обязуясь никогда не посягать на его жизнь и имущество, в чем и поклялся на Коране.

Напрасно старый эмир, годившийся молодому султану в отцы, пав на колени, молил о пощаде. Напрасно, распоров подкладку халата, в дрожащих пальцах тянул к султану клятвенную грамоту. Телохранители уволокли его, как мешок с овсом.

Помиловав Сейфеддина, султан нарушил бы закон, обязывающий повелителя предать немедленно смерти всякого посягнувшего на его жизнь, поступил бы несправедливо по отношению к остальным заговорщикам.

Но, видать, долго еще звучали в ушах богобоязненного султана мольбы и проклятия старого друга, подумалось Джалалиддину, если вскоре он перепоручил взимание податей и расправу с изменой визирю Кобяку, оставив за собой, подобно многим неглупым государям, право миловать и снисходить. Коротышка ростом, но великий зверством и лихоимством визирь Кобяк нагонял на людей такой же лютый страх, как ангел смерти Азраил. Но ведь все знали, что действует он именем султана Аляэддина Кей Кубада, которое тот хотел сохранить незапятнанным!

Так вопреки намерениям каждый шаг по пути деяний все больше превращал и султана Аляэддина в подобие осла, который, подгоняемый страхом, тащит воз, не ведая, что он в нем везет. Нет, не зря сказал бедуин Ибрагиму ибн Адхаму, что искать истину, сидя на престоле, так же бессмысленно, как искать на крыше дворца пропавшего в пустыне верблюда. И пусть икнется на пиру Муиниддину Перване!

Какой же груз оказался в телеге, для чего старался султан

Аляэддин? Неужто для того, чтобы набравший силу, обнаглевший временщик Кобяк подговорил его сына и наследника Гиясиддина отравить царствующего отца?! Чтобы отцеубийца, сев на отцовский трон, спьяну подписывал указы, которые его отец брал в руки лишь после омовения?! Чтобы возглавил ничтожный сын восьмидесятитысячное войско отца и, как заяц в страхе за шкуру свою, бежал от тридцати тысяч монголов, пустив по ветру и доброе имя, и все содеянное его отцом Аляэддином Кей Кубадом I?! Пусть еще раз икнется на пиру Муиниддину Перване, рассуждающему о деянии!

Истинная власть не над людьми — над их сердцами. Недаром сказано: «Какой бы силы фетву тебе ни вручили, чья бы тугра под ней ни стояла, прежде посоветуйся с сердцем своим!»

Общение с властителем опасно, губительно. Не оттого, что можно легко лишиться головы, — все мы так или иначе умрем. Но оттого, что себялюбие падишаха подобно дракону. Став на его сторону, вынужден ты принимать за добро то, что добро для падишаха. Из почтения к нему, не противореча, принимать скверные мысли его. Мало-помалу теряешь свою веру, свое убеждение. И чем ближе к властителю, тем дальше от сердца своего, дальше от Истины. Тысячу и один раз лучше быть рабом просвещенного любовью свободного сердца, чем зеницей ока самого справедливого из падишахов.

Так ранним летним утром 1270 года размышлял Джалалиддин, довольный тем, что вовремя покинул палаты всесильного Перване. Прислонясь к стене одной из восьмидесяти квадратных крепостных башен, он глядел на город, и, как полвека назад, когда смотрели они отсюда вместе с отцом, дворцы знати, хоть и пощипанной монголами, по-прежнему вздымались над домами купцов, а крыши купцов возвышались над жилищами тех, кто кормился не властью, не деньгами, а трудом своих рук. Он чувствовал себя всей душой связанным с каждым домом, с каждым горожанином и в то же время отдаленным от них горней ледяной высотой одиночества.

Его размышления прервал звон железа: полупьяную ночную приворотную стражу сменяла дневная. И этот звон, неотделимый от власти, как жужжание от пчелы, заставил его уйти в полутьму башни.

Он осторожно спустился вниз по крутым ступеням и зашагал по направлению к примеченному со стены в последний миг

тонкому, как свеча бедняка, минарету маленькой старой мечети Синджари.

Город жил полной жизнью, если только можно назвать полной жизнь, придавленную монголами и временщиком Перване, не ведающую, что будет с ней завтра, и потому помышляющую только о миге нынешнем.

Возчики на арбах, груженных кунжутным жмыхом, мешками с ячменем, подмастерья, бегущие по делам, ребятишки, скачущие верхом на палках, узнавая поэта, кланялись ему. Он отвечал им поклоном и молча продолжал свой путь. А в голове у него неотвязно вертелись давным-давно сложенные строки:

О позоре напрасно ведешь со мной речь.
Ведь позор моей славы опора.
И напрасно велишь ты мне славу беречь.
Моя слава — источник позора…

Ни его ашиков, ни «писаря тайн» Хюсаметтина не было видно. Но он знал, что, не решаясь нарушить ход его размышлений, они следят за ним, готовые дать весть домой, прийти на помощь, услужить, записать его слова. Он привык к этому: они ему еще понадобятся, но не сейчас.

Из проулка навстречу ему вышел православный поп в черном облачении. Джалалиддин узнал его: отец Димитри из монастыря Платона Мудрого в Силле, где немало дней и ночей провел он в приятных уму и сердцу беседах с настоятелем.

Поп Димитри склонился в поясном поклоне, как был обязан делать каждый христианский или иудейский священник при виде мусульманского улема. Те обычно отвечали кивком головы.

Джалалиддин ответил попу таким же поясным поклоном. Еще дважды склонился до земли поп Димитри — может, хотел заговорить. Но Джалалиддину было сегодня не до бесед. И, ответив попу, к изумлению прохожих, двумя такими же поклонами, он направился дальше.

Он не мог говорить о чем-либо, что не касалось главного. Он чувствовал: у него осталось слишком мало сил, а значит, и времени. Пять томов главной книги его жизни «Месневи» были завершены. Но предстояло еще сложить последний, шестой. И, как всегда, перед началом новой книги ему нужно было уединиться со своим собственным сердцем.

Старенькая мечеть Синджари подходила для этого как нельзя лучше. Здесь, в заброшенной келье при мечети, он мог советоваться с сердцем своим столько, сколько надобно. И главное — отсюда, из мечети Синджари, почти сорок лет назад он

начал путь познания сокровенного, по которому повел его, как некогда в детстве в Балхе вел по пути познания явного, все тот же неистовый наставник Сеид Бурханаддин.

Поспешая, насколько позволяли старческие непослушные ноги, мимо цитадели и хлебного рынка по узким проулкам ремесленных кварталов, укрываясь от солнца в тени навесов под выступами вторых этажей, сходившихся так близко, что через улицу можно было протянуть руку в дом напротив, он узнавал здесь каждую стену, каждую выбоину мостовой. И перед его глазами одно за другим возникали видения тех трудных, пожалуй, самых трудных лет его жизни в Конье, когда после смерти отца он встал во главе мюридов, занял место проповедника в медресе Гевхерташа и впервые оказался предоставленным самому себе.

СМЯТЕНИЕ

Ему было всего двадцать четыре года. Вьющаяся каштановая борода обрамляла худое отрешенное лицо книжника. А шаг был легкий, не чета теперешнему, — ноги несли его поджарое тело, как пушинку.

Несмотря на молодость, он слыл большим ученым. Еще в Балхе он выучил наизусть Коран, множество хадисов, тома толкований и комментариев к ним, знал историю персидских царей, дела и слова великих подвижников и столпов суфизма — непреклонного Баязида Бистами, мудрого Джунайда, исступленного аль Халладжа, разбирался во всех тонкостях символики, посредством которой теоретики и поэты суфизма выражали свои отнюдь не правоверные воззрения.

В прославленных медресе Дамаска и Халеба он слушал поучения и беседы крупнейших ученых и шейхов, изучил астрологию и алхимию, алгебру, геометрию и основы врачевания. Владел, кроме фарси, языками арабским и греческим.

Султан Улемов посвятил своего сына в искусство составления фетв и чтения проповедей. В двадцать четыре года Джалалиддин обладал всем, что необходимо проповеднику: образованностью, памятью, развитым воображением и красноречием. Он помнил наизусть невесть сколько народных притч, рассказов и лирических песен, коими уснащал свою речь в нужный момент. Свободно, по памяти, приводил стихи великих суфийских поэтов — пламенной Рабийи, сурового Санайи, незабвенного Фаридаддина Аттара. Зачитываясь назидательными поэмами-видениями, он, потрясенный, не раз совершал вместе с ними

путешествия к вершинам духа и располагал их мыслями, образами, словами, как своими собственными. Наконец, он сам умел к случаю сложить свои собственные стихи в их духе.

Словом, в двадцать четыре года Джалалиддин владел всеми знаниями, которыми обладали лучшие умы его времени, располагал всеми сведениями, которыми располагали крупнейшие богословы, законоведы и суфийские проповедники.

Но одно дело знания, другое — опыт. И совсем не одно и то же быть учеником, ведомым, или же учителем, ведущим других. К тому же в отличие от отцовских мюридов, которые знали его по-домашнему, нашлось у него в Конье много завистников среди улемов, которые исподволь, но не без яда высказывали сомнения в достоинствах молодого богослова. Хоть и был он сыном и наследником Султана Улемов, но не имел на руках письменных свидетельств — иджазе от шейхов-учителей.

Вот почему, когда минули сорок дней траура, он прочел несколько проповедей в соборной мечети, посвященных памяти отца, и собрался в дорогу.

Снова лежал его путь в святые города Халеб и Дамаск — испытывал он нужду еще раз проверить себя и свои познания в беседах с мудрецами века. В прославленном халебском медресе Халавийе толковал он с великим арабским ученым, кадием и визирем Камаладдином Ибн аль-Адимом о девяти небесах, и сочетаниях четырех элементов — огня, воздуха, земли и воды, из коих слагается мир видимый. Вели они речь и о сущности времени, состоящего из отдельных мгновений, текущих друг за другом, подобно тому как вода в реке состоит из сменяющих друг друга капель. Вода в реке течет постоянно, утекшие капли не возвращаются, на смену им приходят новые. Но мы этого не замечаем, ибо постоянство течения свидетельствует о его бытии.

Аль-Адим разделял мнение, что не существует творца — перворазума как субъекта и вселенной как объекта, а вселенная лишь проявление бытия перворазума или Истины, так же как волны — проявление сущности океана.

В знаменитом на весь просвещенный мир дамасском медресе Макдисийе Джалалиддин вел речь с мужами веры о единстве, как абсолюте, исключающем даже представление о множественности. И единстве, в котором уже заложена идея множественности, подобно тому как в древесном семени заложено единое дерево, но со всем множеством его частей — корня, ствола, ветвей, листвы, плодов…

Обсудив сложнейшие вопросы гносеологии и онтологии, логики, богословия с видными улемами, Джалалиддин убедился: нет ничего, что было бы темным для его разума. Улемы и шейхи,

дивясь ясности и глубине ума молодого богослова, вопреки традиции через несколько месяцев выдали ему иджазе, подтверждая, что ничему больше не могут научить Джалалиддина, сына Бахааддина Веледа из Балха, известного под титулом Султан Улемов.

–

Осенью 1231 года он возвращался в Конью вместе с двумя отцовскими мюридами. Не спеша, словно волны моря, катились навстречу их коням поросшие колючками пески сирийских пустынь. Как века назад и века спустя, за стадами тонконогих верблюдов шли бедуины, укутанные до глаз от всепроникающих зудящих песков.

На далеких склонах обожженных красноватых холмов, как тли, присосались к земле отары тонкорунных овец.

Впереди лиловели высокие горы.

После полудня иссиня-черная туча закрыла полнеба. Грозная, низкая, мощная, неумолимо движущаяся, она, казалось, вот-вот повергнет во мрак весь мир. Но туча, разделив небо пополам, продолжала свой путь на север, а на западе по-прежнему было светло и солнечно. И Джалалиддину примнилось, что туча эта подобна монгольскому нашествию, которое придавило его родную землю, а теперь двинулась на север, оставив солнце сиять лишь над державой сельджукских султанов. Надолго ли?

Дороги были куда спокойней, чем десять лет назад, когда они впервые прошли по ним вместе с отцом. Из дважды разгромленного Хорасана бежать больше было некому: восставшие было против монголов города лежали в руинах, на всех дорогах стояли монгольские заслоны. Сын хорезмшаха Мухаммада, только что разгромленный султаном Аляэддином Кей Кубадом в битве при Яссычимене, был мертв, а его беи, утратив надежду на восстановление Хорезма, уныло и испуганно расселились на землях, милостиво предоставленных им сельджукским властителем.

Джалалиддин ехал молча. Разум его был светел и мощен, память хранила уйму знаний, что подтверждали скатанные в трубку, уложенные в отдельной суме иджазе великих улемов, но на сердце было смутно.

Зачем человек рождается в страдании, живет в страхе и умирает с сожалением? Почему тех, кто обладает умом и знаниями, укорачивают и ограничивают хлебом насущным, а тем, кто лишен ума, набивают голову, как амбар, вещами?

Он знал наизусть все ответы богословов и шейхов. И даже принимал какие-то рассудком. Но ни на одном из них не могло укрепиться его сердце.

Под вечер они спешились у вырубленных в скале пещер. Здесь жили те же суфии-аскеты, что и десять лет назад, когда они с отцом проходили этой дорогой. Джалалиддин смиренно попросил их разделить с ним его трапезу.

Аскеты и подвижники с презрением глядели на богословов, законников и прочее официальное духовенство, считая их лицемерами. Но просьбу уважили, быть может, узнали в нем сына Султана Улемов, одарившего их словом и деньгами десять лет назад. Однако, как положено божьим людям, не выразили никакой благодарности: и Султан Улемов, и его сын, и любой другой были для них лишь орудием. Истинным подателем благ был только бог, его и следовало благодарить.

Стемнело. Пещера озарилась двумя светильниками. Отшельники встали на молитву и позабыли о существовании путников, своем собственном, о существовании целого мира — ведь он был для них несуществующим. Единственно реальным бытием было для них бытие аллаха, на котором и сосредоточивали они все свои помыслы, надеясь на милость мгновенного прозрения истины.

Свершив три ракята намаза, Джалалиддин, сморенный дорогой, задремал.

Когда он открыл глаза, стояло раннее утро. Отшельники, видно, только что кончили свою молитву. Глядя на их сурово-сосредоточенные лица, ему вдруг захотелось задать им вопросы, — они, быть может, и правда прозрели духом, — ответы на которые не принимало сердце его. Взгляд самого старого отшельника, облаченного в грязные отрепья — видно, он дал зарок не стричься, не мыться, дабы не отвлекать мысли свои о боге заботами о теле, — встретился с взглядом Джалалиддина, и он решился.

— Могу я спросить тебя, о познавший! Скажи, отчего скорбит сердце?

Взгляд старика остановился на нем в недоумении: кто это прервал его мысль? Он помолчал — Джалалиддину казалось, что старик прислушивается к эху, которое вызвали в нем слова, — потом хрипло, точно не говорил годами, произнес:

— От многих душ исходит голос скорби, а от некоторых — звук бубна. Сколько я ни гляжу в свое сердце, и в нем раздается голос скорби, а звука бубна все нет!

— А разве происходит что-либо от усилий раба божьего? — спросил снова Джалалиддин, боясь упустить мысль старого

аскета обратно в океан сосредоточенности.

— Нет! Но без усилий тоже не происходит! Если ты проведешь у чьих-либо дверей год, он в конце концов скажет: «Войди за тем, для чего стоишь!» Стой пятьдесят лет у дверей его, я тебе порукой!

Отшельник умолк. Джалалиддин припал к его черной, как корень, руке. Этот нищий старик был щедр: дал в поручительство все, что имел, — самого себя.

Темны были слова отшельника. Но Джалалиддин услышал в них отзвук своих стремлений. Голос бубна, веселый, счастливый, должен снова зазвучать в его сердце, как звучал некогда в детстве, а потом в Ларенде. Не пятьдесят, сто лет готов он был стоять в ожидании. Но где эти двери? И как стоять?

–

Джалалиддин вернулся в Конью и тут узнал, что в его отсутствие тихо, как жила, не жалуясь, но все ожидая его, угасла Гаухер. Его жемчужина, белая, светящаяся жемчужина сердца его, Гаухер, что увековечила его облик в детях, — какую еще милость может оказать женщина любимому мужчине? Гаухер, благодаря которой познал он в Ларенде гармонию полного слияния с миром, на миг услышал в сердце своем голос бубна!

От сознания непоправимой вины своей голос скорби зазвучал в его сердце с такой силой, что слышен стал каждому, кто внимал его поучениям и проповедям. Мудрецы говорят: «Сердце — море, а язык — берег. Когда море вздымает волны, оно выбрасывает на берег то самое, что в нем есть».

И завистники улемы, прикусившие было языки при виде иджазе, полученных Джалалиддином в Дамаске и Халебе, снова зашипели по-змеиному. Не пристало, дескать, богослову идти против воли Аллаха и горевать о смерти раба его, да к тому еще женщины! Видать, незрел еще, слишком молод наследник Султана Улемов, чтоб занять его место.

А скорбь все яростней занималась в сердце его. Да, он незрел, не может он заниматься другими, не составив отчета о себе.

Земля, скрывшая от него его жемчужину, жгла ему ноги. Не в силах оставаться больше в городе, он пешком ушел один туда, где был когда-то счастлив. Ушел, чтобы упиться своей скорбью, как упиваются горькие пьяницы, — до смерти, или воскреснуть духом на ледяных ручьях среди гор, окружавших Ларенде.

Здесь, у горного ключа на яйлах Карадага, и застал его дервиш, принесший свернутое в трубку письмо.

Чем-то родным, но давно забытым повеяло на него от скорописи без точек, от угловатых букв с убегающими хвостами. Неужели он, неистовый наставник Сеид Бурханаддин? Десять с лишним лет не видел он этого почерка… Как дошло сюда, за тридевять земель, письмо из Термеза, давным-давно занятого монголами?.. И жив ли он, Сеид, или это свет погасшей звезды?

Сеид Бурханаддин писал: услышав в Термезе о смерти учителя своего Султана Улемов, он оплакал его, сотворил молитву за упокой души и, сорок дней постясь и бодрствуя по ночам, свершил поминальный обряд.

Сын Султана Улемов, его ученик и воспитанник остался теперь один. И он, Сеид, должен заместить ему отца — недаром тот звал его своим наместником. Во что бы то ни стало он должен разыскать Джалалиддина, чтобы стать ему опорой, когда иссякнут силы его на опасном и изнурительно трудном пути к истине. Но пока добрался до Коньи через пустыни, реки и горы, прошел год. И вот теперь Сеид ждет своего воспитанника, сына своего шейха в султанской столице, уединившись в мечети Синджари.

Джалалиддин приложил письмо к глазам. Потом ко лбу. Недаром, воистину недаром прозвали его воспитателя Сиррдан — Тайновидец. Как он угадал, как узнал тайную нужду его, о которой сам Джалалиддин лишь смутно догадывался? На всем белом свете Сеид был теперь единственным человеком, перед которым мог открыться он в надежде укрепить сердце свое.

Вслед за дервишем, принесшим письмо, не медля ни мгновения, Джалалиддин спустился в Ларенде. Кони были уже готовы, и той же ночью они поспешили в Конью.

–

Сеид вышел ему навстречу из мечети. Они обнялись и долго стояли, припав друг к другу, — молодой печальный красивый улем и старый оборванный подвижник. Сквозь халат почувствовал Джалалиддин, как худ его наставник. Глянул в лицо: кожа да кости. Крючковатый нос заострился, щеки ввалились, во рту не осталось зубов. Но запавшие, прикрытые нависшими седыми бровями глаза горели еще яростней, еще неистовей, чем прежде.

С почтением, как отца своего, проводил он Сеида в медресе Гевхерташ, уступил ему свою келью.

Сеид тут же начал: не с ответов, с вопросов. По шариату и толкованию хадисов, по астрологии и медицине — в ней мало кто

смыслил больше Сеида, ибо учился он врачеванию тела у одного из учеников ученика самого Абу Али ибн Сины.

То был самый строгий экзамен, который когда-либо доводилось держать Джалалиддину.

С каждым ответом светлело суровое лицо подвижника. Наконец он вскочил и порывисто склонился перед молодым улемом.

— В науке веры и знании явного, — молвил Сеид, — ты превзошел отца своего. Но отец твой владел и наукой постижения сокровенного. Я удостоился этой науки от отца твоего, моего шейха, и теперь желаю повести тебя по пути, дабы и в знании сокровенного стал ты наследником, равным родителю своему.

Джалалиддин с радостной решимостью преклонил колена, тем самым принимая покаяние, или, как говорили суфии, тауба, что означало: отныне он целиком отдается в руки наставника, чтобы тот повел его по пути самосовершенствования.

Так начался его путь к себе.

ЗНАТЬ И БЫТЬ

Солнце уже поднялось высоко, его лучи нещадно накалили мостовые. С колотящимся сердцем добрел Джалалиддин до старой мечети Синджари и, откинув кожаный полог, вошел внутрь. Затхлая тьма на мгновение ослепила его. Он остановился, тяжело переводя дыхание, с облегчением чувствуя, что раскаленный утюг солнца больше не жжет его плечи. И подумал, что в радостной решимости, с которой он принял когда-то слова Сеида, была немалая доля облегчения: снова ответственность за него самого пала тогда на плечи наставника. Теперь же, на старости лет, никому он не мог ответить за себя, кроме Истины.

Приглядевшись к полумраку, Джалалиддин заметил на вытертом ковре спящего бедняка. Ладони сложены под головой, ноги подобраны к животу. Сон как смерть — усталый, безмятежный. И правда — у бога за пазухой.

Поближе к мимбару старый дервиш, поджав под себя ноги, беззвучно шевелил губами, водя пальцем по строкам раскрытой на подставке книги, да два послушника зубрили урок.

По вытертым циновкам поэт направился к дальнему, правому притвору. Оттуда дверь вела когда-то к кельям, где нашел себе пристанище Сеид, придя в Конью.

Джалалиддин тронул дверь рукой. Она не поддалась, — совсем, видно, сил не стало. Но нет, дверь заколочена. Да и кельи, наверно, давно порушились — сорок лет назад уже едва

стояли, а он сюда давно не заглядывал. И с грустью подумал он, что, как все старики, принимает за сущее то, чего уже давным-давно нет, и удивляется, не находя пути в минувшее.

Ну что ж, и здесь, в притворе, его никто не посмеет тревожить, пока, словно загнанная лошадь, он не наберется сил перед последним переходом. Как путник, не переберет в уме все развилки и перекрестки дорог, чтобы убедиться — и вправду цель недалека.

Он опустился на колени.

–

Не будем и мы с вами, читатель, тревожить старого поэта и оставим его на время летним днем 1270 года в мечети Синджари в Конье советующимся с самим собой, ибо прежде, чем продолжать рассказ, надо нам выяснить, что подразумевали суфии под знанием сокровенным и по какому пути повел молодого Джалалиддина его воспитатель, неистовый Сеид Бурханаддин, по прозвищу Тайновидец.

Суфийская традиция разделяла путь самосовершенствования и самопознания на три основных этапа. Первый этап — шариат, то есть буквальное выполнение откровенного закона, запечатленного в Коране и преданиях о пророке Мухаммаде, был, собственно говоря, подготовительным. Он не является еще вступлением на путь, ибо обязателен для каждого правоверного мусульманина. Но обязателен он и для суфия: только освоив положения и догматы ислама, можно идти дальше, вступить во второй этап — тарикат, что и означает собственно путь.

Первая подготовительная ступень — шариат — у суфиев соответствовала логическому познанию, которое именовалось наукой явной. Не отрицая значения логического познания, суфии утверждали, что оно ограничено, ибо ему доступны лишь признаки, свойства, качества или, как они говорили, атрибуты, а не субстанция, не суть, то есть то, что «через истину, но не сама истина». Логическое познание происходит путем расчленения — анализа и синтеза. Но поскольку-де сущность божественной Истины абсолютна, она, мол, не допускает ни анализа, ни синтеза и понять ее логическим путем невозможно.

Суфии считали, что за восприятием рассудка есть другая форма восприятия, называемая откровением. Только откровением постигается скрытое. И добытое этим путем знание называлось знанием сокровенным. То, что постигается откровением, логике недоступно, как внешним чувствам недоступно постижение

логических категорий.

Трудами советских ученых, и прежде всего известного ираниста Е. Э. Бертельса [note 7], было показано, что суфийские шейхи, по сути дела, занимались экспериментальной психологией. В результате строжайшего самоограничения и целеустремленности, путем самонаблюдения они выработали в себе такие качества, как несокрушимая воля, бесстрашие, позволявшее с улыбкой встречать смерть, умение «читать мысли», вызывать гипнотические состояния и у себя, и у других, которые в те времена должны были неизбежно восприниматься как нечто сверхъестественное, чудесное, и укрепляли чудотворную славу суфийских шейхов. Но то, что суфиям представлялось отчужденным, как бы надсознательным, по сути дела, есть не что иное, как область подсознания. Тарикат, таким образом, позволял суфию, говоря современным научным языком, овладеть методикой психоанализа и управлять подсознательным в себе и других.

По этому пути и повел молодого Джалалиддина его наставник.

Образ пути, дороги к истине, по мнению Е. Э. Бертельса, породил и образ стоянки — макам, каждая из которых представляла собой устойчивое психическое состояние, свойственное путнику на данном этапе пути.

Первой стоянкой в начале пути считалось покаяние («тауба»), полностью менявшее психологическую ориентацию обращенного, который отныне устремлял все свои помыслы только к истине, к абсолюту. То самое покаяние, которое принял двадцатипятилетний Джалалиддин, опустившись на колени перед своим воспитателем в день их первого свидания в Конье.

За стоянкой покаяния следовала — осмотрительность («вара»), выражающаяся в строжайшем различении между дозволенным и запретным. Эта осмотрительность касалась прежде всего пищи.

Из осмотрительности вытекал переход к третьей стоянке — воздержанности («зухд»). Начиная воздерживаться от запретного, путник все последовательнее проводил этот принцип, воздерживаясь от излишка — от хорошего платья, пищи, от всего, что удаляет его помыслы от истины, от всего преходящего, невечного, расширяя воздержание до отказа от всякого желания.

Воздержание приводило путника на стоянку нищеты («факр»). Нищета как отказ от земных благ вытекала из последовательно проводимого воздержания. Но в дальнейшем под нищетой понималась не столько материальная бедность, сколько сознание, что все без исключения, вплоть до психических

состояний, не является достоянием личности путника.

Поскольку нищета и воздержание связаны с неприятными переживаниями, за ними с необходимостью следует стоянка, называющаяся терпением («сабр»). Здесь суфий учится покорно принимать все, что трудно перенести. Как выразился один из столпов суфизма, Джунайд, «терпение есть проглатывание горечи без выражения неудовольствия».

Со стоянки терпения путник движется к стоянке упования («таваккул»). Здесь представление о жизни связывается с единым днем, даже мигом и отбрасывается всякая забота о завтрашнем дне. Вот почему суфии часто называют себя «людьми времени», то есть людьми, живущими нынешним мигом. То, что минуло, уже не существует, то, что грядет, еще не существует. Здесь явственно намечается связь с представлением о том, что мир творится и уничтожается каждый миг.

Последние две стоянки подводят путника к концу тариката, называемого приятием, или покорностью («риза»), то есть «спокойствием сердца в отношении предопределения». Это такое состояние психики, когда любой удар или любая удача не только переносятся спокойно, но даже и представить себе нельзя, чтобы они вызвали огорчение или радость. Личная судьба да и вся окружающая действительность перестают иметь для него какое-либо значение. Состояние весьма близкое к тому, которое древние греки именовали «непоколебимостью».

Здесь, по мнению теоретиков суфизма, заканчивается путь — тарикат — и начинается последняя стадия совершенствования, именуемая «хакикат», то есть реальное, подлинное бытие. Достигнув ее, суфий именуется ариф — познавший. И постигает-де, конечно, интуитивно, самую сущность истины. Отсюда и еще одно самоназвание суфиев — «люди истинного бытия», то есть способные к интуитивному познанию истины. Таким образом, традиционная суфийская доктрина как доктрина идеалистическая считала возможным, пусть интуитивное, но познание абсолютной истины и здесь изменяла диалектике. Практически же, достигнув ступени «хакикат», суфии всего-навсего приводили свою психику в такое состояние, при котором их сознание как бы растворялось в объекте созерцания.

Три ступени — шариат, тарикат и хакикат — как легко прослеживается, соответствовали трем ступеням познания у суфиев. Первая — «уверенное знание». Оно объяснялось таким сравнением: «мне не раз доказывали, я твердо знаю, что яд отравляет, огонь жжет, хотя я и не испытал этого на опыте». Эта ступень обычного логического познания.

Вторая ступень — «полная уверенность». «Я сам, своими

глазами видел, что яд отравляет, огонь сжигает». Это опытное знание.

И, наконец, последняя ступень — «истинная уверенность». «Я сам, приняв яд, испытал его отравляющее действие, я сам горел в огне и так убедился в способности яда отравлять, а огня жечь». На этой ступени — соответствующей этапу хакикат, по мысли суфиев, происходит полное слияние субъекта с объектом, наблюдающего с наблюдаемым и идентификация, растворение первого в последнем.

Все три ступени лаконично передавались триадой глаголов: «Знать, видеть, быть». Обратим внимание на связь между крайними членами триады «знать» и «быть». Совершенный человек, по мнению суфиев, овладев знаниями, должен был привести в соответствие с ними свой нравственный и житейский опыт. Мало того, они считали, что знание, отделенное от личной нравственности познавшего, не только бесполезно, но и губительно. Оно ведет к тому самому лицемерию, в котором погрязло казенное богословие.

Так суфии устанавливали зависимость между наукой и этикой, между рассудком и чувством, между правдой-истиной и правдой-справедливостью.

Прохождение тариката требовало огромных специальных знаний. Тот, кто самостоятельно на свой страх и риск пытался проникнуть в тайны подсознания или, как говорили суфии, овладеть знанием сокровенного, рисковал поплатиться здоровьем, разумом и самой жизнью. Поэтому считалось: «Кто не имеет шейха, у того наставник — дьявол».

Всякий, кто желал следовать по суфийскому пути самосовершенствования, должен был избрать себе духовного наставника и под его руководством пройти тарикат.

Подобно современным психоаналитикам, опирающимся в исследовании подсознательного на сферу сексуальности как одну из основ эмоциональной жизни, суфийские шейхи полагали, что в отличие от шариата, где человека ведет рассудок, во время прохождения тариката его поводырем является любовь. Если помнить, что истину они символически именовали любимым, возлюбленным, а себя — влюбленными, то можно сказать, что они в совершенстве использовали такое психофизиологическое явление, как сублимация, то есть возможность переключения чувственности в область духовности.

Суфии полагали чувственно-интуитивное познание высшей формой познания вообще. И потому каждый суфийский шейх считал необходимым развить в своих учениках способности к метафорическому мышлению.

Но метафорическое, образное мышление, будучи областью искусства, закономерно привело к тому, что суфийские идеи нашли свое высшее и наиболее полное выражение в поэзии.

Поэтическая речь для видных шейхов была так же естественна, как естественно для философа изложение своих мыслей в абстрактно-логических категориях.

Конечно, не каждый, кто вступал на путь, мог пройти его до конца. Суфии говорили: «Благодать дается поровну каждому, но каждый воспринимает ее в меру своих способностей». В результате одного и того же пути — тариката вырабатывались различные характеры. На протяжении истории суфизма мы видим шейхов яростных и умиротворенных, суровых и благостных, неистовых и рассудительных, занятых лишь своими собственными отношениями с богом и ораторов, проповедников, воителей.

Здесь, конечно, сказывались время, среда, а также психофизические свойства и направленность как самого суфия, так и его наставника.

Наставник Джалалиддина был суров и неистов. Еще в Балхе, слушая поучения Султана Улемов, он приходил порой в такое возбуждение, что прерывал речь шейха возгласами, сам того не замечая, совал ноги в тлевшие под мангалом угли, пока, выведенный из терпения, тот не приказывал мюридам: «Выбросьте Сеида отсюда за шиворот, дабы не, мешал он нашему собранию!»

Но в отличие от Султана Улемов Сеид был не столь ригоричен. Подобно казенным богословам, Султан Улемов считал, например, употребление вина категорически запретным для кого бы то ни было, в том числе и для суфиев. «Вино, — говорил он, — превращает человека в похотливого пса, в грязную свинью». На это Сеид как-то заметил: «Тем, кого превращает, конечно, запретно, а тем, кого не превращает, — дозволено».

В противоположность своему шейху Сеид стал не проповедником, а подвижником. Часто настолько погружался в самосозерцание, что забывал обо всем на свете.

На старости лет его избрали имамом в одной из мечетей Кайсери. Сеид простаивал на молитве иногда по полдня, ни разу не вспомнив о прихожанах, которые должны были во всем следовать главе общины.

В конце концов он сам вынужден был отказаться от должности:

— Не обессудьте, правоверные! Во мне часто вскипает безумие, и я о вас забываю! Найдите себе благоразумного имама…

Джалалиддин поднялся с колен. Сеид протянул руку, в которой оказалась власяница. Надел ее на молодого улема, перепоясал его поясом повиновения. С него тут же состригли его курчавую каштановую бороду, выщипали брови, обрили голову. И Сеид надел на него дервишскую шапку-серпуш.

С этого мига он был уже не улемом, не проповедником, не мударрисом. А одним из многочисленных мюридов Сеида Бурханаддина Тайновидца.

Мюрид — означает «вручивший свою волю». Он обязан во всем беспрекословно повиноваться шейху, исполнять каждое его указание и поручение, не задумываясь ни о его целесообразности, ни о его значении.

Искус, как обычно, начался испытанием решимости вновь обратившегося подчиниться воле наставника. Зная, что Джалалиддин унаследовал от отца неуемную гордыню, шейх решил прежде всего расправиться с нею.

И вот сын Султана Улемов, ученый, признанный светилами мусульманского мира, проповедник соборной мечети в султанской столице, настоятель медресе, принялся чистить нужники. Так повелел шейх. Он не давал ему никаких поблажек, скорей напротив — утеснял его себялюбие строже, чем в других мюридах. И Джалалиддин справедливо видел в этом знак особой любви.

Повеяло весной. Талая вода с гор переполнила каналы и арыки. А Джалалиддин, обвязав вокруг рта и носа кусок белой тряпки, все таскал кожаные ведра с нечистотами. Казалось, зловонные ямы не имеют дна. Это было похоже на правду: вешние воды к утру успевали залить все, что он выгребал за день. А по ночам, трижды омывшись в бане, он до петухов читал отцовские беседы, собранные в книге «Маариф» («Познание»). Наставник приказал прочесть ее сто и один раз подряд.

Джалалиддин выполнял уроки с радостным рвением. Лишения, которым он подвергал свое тело, утишали огонь, полыхавший в его сердце с того дня, когда он узнал о смерти своей Гаухер. И все же в глубине души он ждал, когда шейх скажет ему «довольно». Но Сеид молчал.

Джалалиддина мучил постоянный голод. Но от зловония кусок не лез ему в горло. Он осунулся, похудел, горящие от бессонницы глаза ввалились.

Когда вода наконец спала, оказалось, что он выполнил свою работу. Но наставник ничего не говорил, и он продолжал по вечерам выгребать то, что накопилось за сутки. Видя, что работы

стало мало, Сеид задал новый урок: вместе с двумя мюридами собирать в городе подаяние для всей братии.

Это было похуже нужников. Одно дело — исполнять урок перед своими, они-то знают, что так повелел шейх. Другое дело — унижаться перед чужими людьми, мало того, перед своими бывшими прихожанами.

Трудней всего было просить у богословов, факихов, улемов, чтецов Корана. Ему казалось, что каждый из них подает ему с затаенной злорадной усмешкой. А между тем мало кто узнавал в этом худом безбородом дервише сына Султана Улемов.

Чутье, обостренное ночными бдениями и телесными лишениями, понемногу научило его угадывать повадки, побуждения и характеры людей по единому слову, взгляду, едва заметному движению. И все чаще казались они ему неодушевленными орудиями своих собственных страстей, механизмом вроде катапульты: зарядил каменным ядром, взвел, и она выстрелит. Почти всегда определенное воздействие вызывало заранее известный результат.

Он побывал в таких кварталах, о существовании которых едва догадывался прежде. В кабаках разбитные гуляки бросали в его кокосовую чашку мелочь, как собаке бросают кость. Арфистки в веселых домах, пышнотелые, крашенные хной, подавали милостыню как искупление своих грехов. В караван-сараях и торговых рядах милостыня была заранее рассчитана — здесь жили деловые люди. Ровно десятину полагалось по шариату отдавать от своих доходов на благие дела. Но он приходил и в дни убытков, и после того, как десятина была роздана. Купцы все же подавали щедрей ростовщиков и торговцев: надеялись, что добрые дела и молитвы дервишей оберегут их от опасностей, которые угрожают их телам и товарам на многотрудных караванных путях.

Но его привлекали сердца бедняков. Здесь тоже, случалось, подавали в надежде на награду, если не в этой, то хотя бы в будущей жизни. Однако часто делились с худым, нищим дервишем последней горстью риса просто и естественно, а иногда застенчиво, как делились бы с любым другим голодным человеком. Естественность и простодушие тех, кто сам спал на рваных циновках прямо на глинобитном полу, жил в развалинах на улицах, нет, не на улицах, а вдоль сплошных сточных канав, по которым весной и осенью текли потоки грязи, мусора и нечистот, заставляли его все чаще наведываться на городские окраины. Нравилось ему бывать и в ремесленных кварталах: подмастерья-ахи, трапезничавшие все вместе за одним столом, всегда выделяли нищенствующему дервишу равную долю.

Иное дело особняки знати. Чем богаче и сановней был вельможа, тем спесивей были его слуги. Они похвалялись размерами хозяйских подаяний, как евнухи похваляются мужскими атрибутами своих падишахов. Но это не забавляло, скорей удивляло Джалалиддина.

За одну весну и лето он узнал город и его обитателей лучше, чем за все предшествующие годы. Иногда за один только день доводилось ему такого наглядеться, что, возвращаясь в обитель, он сожалел о рвении, с которым чистил отхожие места: если бы у него осталось там больше работы, не пришлось бы ему теперь каждое утро выходить в город.

Сеида, однако, не зря прозвали Тайновидцем: как только Джалалиддин поймал себя на этих мыслях, шейх отменил чистку нужников.

— Ты исполнил урок. Но помни: душу очистить трудней, чем отхожие ямы.

Его наставник, как многие аскеты-подвижники, считал голод ключом к кладезю премудрости. Нет на земле народа, у которого не было бы постов. Но для того, кто хочет познать себя, постом, по мнению Сеида, должен быть каждый день.

— Подобно лопате, отрывающей скрытые в земле воды, голод заставляет бить ключом источники понимания и чутья! — говорил шейх. — Голод — конь, верней всего доставляющий путника к цели. Но объезжать его надо понемногу, умеючи.

Избавившись от преследовавшего его днем и ночью зловония, Джалалиддин испытывал терзания голодного волка, вышедшего из логова снежным зимним утром. Но, следуя поучениям наставника, бывало, по три-четыре дня не брал в рот ничего, кроме воды, корки хлеба да иногда сырой или соленой репы. Шейх полагал, что репа просветляет взор.

Муки голода, однако, становились все нестерпимей. И тогда наставник ранним утром сам вывел его в город.

Они обогнули холм с дворцами султана, миновали главную улицу и, свернув направо к рынку, пошли по мясным рядам, пока не остановились у лавки торговца потрохами. Бараньи и овечьи головы, печень, селезенка, сердце, вымя висели на крюках под навесом. В деревянном желобе ошметки требухи и кишок на корм для собак плавали в красноватой жиже.

Мясник удивленно и почтительно поспешил навстречу шейху. Святые отцы сюда не заглядывали, лишь кадий Сираджиддин да шейх Садриддин Коневи присылали своих прислужников.

Сеид остановил его жестом. И, указывая на желоб с потрохами, над которым с жужжанием носились зеленые и синие мухи, обернулся к Джалалиддину:

— Когда мне становилось невтерпеж, я приходил сюда и говорил себе: «Эй, слепое себялюбие! Ничего другого, кроме этой собачьей еды, я тебе дать не могу, если хочешь, ешь!»

Воображение тут же нарисовало Джалалиддину, как, стоя на четвереньках, расталкивая рычащих собак, весь вымазанный в крови, он лакает отвратительно-приторную кровавую жижу.

Трое суток отвращение не давало ему проглотить ни куска пищи.

К осени голод стал настолько привычным, что он научился с ним справляться, подвязывая по совету шейха камень к животу.

И тогда наставник дал новый урок. Сто с лишним раз был уже прочитан том отцовских бесед. Теперь Сеид наказал по многу часов без сна читать то одну, то другую суру Корана в самых неудобных позах — согнувшись в пояснице, вытянув одну ногу и поджав под себя другую. Следовало повторять суры до тех пор, пока само звучание, мелодия стиха не станут вызывать образы и видения.

Закалив волю мюрида, научив его одолевать себя, шейх стал обучать его сосредоточенности.

Как-то во время беседы один из мюридов спросил Сеида:

— Кто может считаться посвятившим себя Аллаху?

— Тот, у кого каждое дыхание из носа говорит: «Аллах! Аллах!» — ответил шейх.

А затем объяснил сокровенный смысл божественного имени Ал-лах. Первые две арабские буквы «алиф» и «лям» — всего лишь, как мы бы сказали, артикль. А суть имени произносится каждым живым существом при вдыханий и выдыхании: ах. Таким образом, всякое дыхание есть славословие бога. Потому, поучал шейх, следует, упражняясь, дойти до того, чтобы каждый вдох стал молитвой.

Суфийские шейхи считали, что такое полное многодневное сосредоточение на одной мысли, одном представлении приводит к погружению в океан абсолюта. В действительности они обучали мюрида управлять такими бессознательными физиологическими процессами, как дыхание.

Все темней становились речи наставника. В аллегориях, над разгадкой коих мюридам следовало размышлять денно и нощно, описывал он силы, из коих слагается человек, состояния, которые он прошел на пути своего развития. Подобно Вергилию, который спустя восемьдесят лет поведет Данте по кругам ада, Сеид по прозвищу Тайновидец вел будущего великого поэта через миры элементов, растений и животных к разуму и истине. Растительный мир уподоблял траве, что растет, бессознательно наслаждаясь своим ростом. Мир животный шейх описывал так же,

как Санайи в его поэме «Странствия благочестивых»: в виде фантастического города, издали прекрасного, а внутри таящего скверну. К этому миру относились и люди, живущие только самими собой. Суть их бытия — борьба за сохранение себя и потомства, и в этом залог их смерти, ибо жизнь — лишь в справедливости. Два правителя в этом городе — мрак и пламень, то бишь темнота души и пламя страстей. Два коня — белый и черный — день и ночь. Правители города помышляют лишь о своей выгоде, а кони пожирают своих седоков.

Джалалиддин все чаще замечал, что шейх, излагая мысль, нередко прибегает к образам Аттара, Санайи. Замечал без всякого удивления, напротив, с тайным удовлетворением, ибо знал книги этих поэтов чуть ли не наизусть, а потому мгновенно схватывал мысль наставника.

Не следует думать, однако, что Бурханаддин Тайновидец был лишь попугаем, повторявшим чужие слова. Для него, как и для всякого шейха, образ, метафора любого из поэтов-суфиев служили тем же, чем для европейской науки служит философский термин: употребляя термин, мы ведь не считаем нужным ссылаться на автора.

Алчность — основной порок города — шейх описывал в виде страшного одноглазого гада, но с семью лицами и четырьмя пастями. Зависть изображалась в виде дэвов с глазами на шее и языком в сердце, животные желания — как дикие существа, живущие на каменистой равнине, окутанной клубящимся дымом. Они пребывают в постоянном смятении, голова у них — из одного глаза, а тело — целиком из рук.

Шейх перестраивал мышление своих мюридов на метафорический лад. После того как испытали они все, что может испытать человек, он заставлял их перевоплощаться в растения и животных, в отвлеченные страсти и желания. И Джалалиддин, фантазия которого не знала предела, преуспел в этом неизмеримо быстрее всех.

–

Миновала зима, снова весна сменилась летом. Джалалиддин оброс волосами. Борода снова легла на грудь, но не курчавая больше, а прямая, как лопата, и жесткая. Длинный, поджарый, с устремленным в себя взором, он, казалось, не замечал, что творится вокруг. Но вдруг выйдет ночью во двор, под звездное темное небо, обдаст вешним ветром его тело или угреет солнце ранним утром на камнях у стены, и дрожь забьет от страха,

восторга или предчувствия. Чего?

Эти порывы впервые стали налетать на него на первых стоянках: воздержания, нищеты и терпения. Во второй половине тариката на стоянках упования и приятия явилось душевное спокойствие и созерцательность. Оно принимало разные облики, разворачиваясь то в картины природы, то в образы моря, огня, то в вереницу незнакомых лиц. Но никогда не виделись ему благостные старцы в белых одеяниях, о которых рассказывали другие мюриды.

Наставник с тайным удовлетворением наблюдал, как быстро идет его ученик от стоянки к стоянке, удивляясь его способности самые непередаваемые ощущения и состояния свои изображать в картинах мира.

Как-то вечером после беседы шейх вместе с мюридами углубился в размышления. За стенами дули пронзительные ветры. Языки пламени плясали на углях мангала. Не отрывая взгляда от углей, не поворачивая головы, Сеид неожиданно сказал:

— Дайте Зие жареной баранины!

Зия — молодой мюрид, сидевший позади всех, вскрикнув, пал ниц, точно уличенный в преступлении. Каким чудом шейх угадал мысли, которые он не успел подавить в себе, глядя на раскаленные угли мангала?!

Дервиш из Египта, остановившийся в медресе и присутствовавший на беседе Тайновидца, с бесцеремонностью чужеземца решился спросить, как удалось шейху сотворить это чудо.

— Очень просто, — ответил Сеид. — У меня самого вот уже двадцать лет нет никаких желаний. Сердце мое — чистое, незамутненное зеркало. И если в нем появилось желание, то значит оно отражение желания другого. Чьего — узнать нетрудно. Это ведь мои мюриды!

А вот Джалалиддин не раз озадачивал шейха. Ход его мыслей и состояние духа часто оказывались загадкой и для него. Образы, в которые фантазия облекала чувства сына Султана Улемов, не приходили в голову его наставнику.

То был знак, что путь, по которому он ведет Джалалиддина, близится к концу. Он сосчитал — и правда, скоро должны миновать тысяча и один день, ровно столько, сколько по традиции длится искус суфия.

–

Весной третьего года Сеид призвал Джалалиддина к себе.

— Годы мои на исходе, — сказал он. — Хочу я, чтобы при мне прошел ты искус уединения. И, погрузившись в море созерцания, извлек жемчужины вдохновения.

Как обрадовался бы этим словам Джалалиддин еще год назад. Ведь уединение было последним искусом путника. Но, видно, недаром прошли эти два с лишним года: он знал теперь, что нет конца пути. Устремившись на поиски духовных истин, не знаешь, когда обретешь их и обретешь ли вообще. Но возвратиться в прежнее состояние тебе уже не дано.

И в знак согласия и покорности он только молча склонил голову.

Сеид приказал подготовить келью, принести туда коврик, кувшины с водой, ячменного хлеба. И на следующее утро сам ввел в нее Джалалиддина, благословил и оставил одного, замазав дверь глиной.

Сорок дней продолжался искус уединения. Дважды заходил за это время к нему наставник. Менял пустые кувшины на полные и удалялся так же тихо, как входил, стараясь не глядеть на Джалалиддина. Но тот его и не замечал.

В первый раз он сидел в углу размышления, оцепенев, или, как говорили суфии, втянув голову в воротник изумления. И шейху невольно пришел на ум стих из Корана: «Назидание в вас самих. Но вы этого не ведаете».

Во второй раз он застал Джалалиддина в слезах: он стоял лицом к стене, рыдания душили его. Шейх не стал его тревожить: если бы бог мог услышать повесть о скорбящих, небо и земля пролили бы кровавые слезы.

Наконец подошел срок. Последнюю ночь шейх провел без сна — так волновался за своего мюрида. На рассвете приказал взломать дверь и первым вошел в келью.

Джалалиддин стоял посредине. Сквозь тусклое оконце под куполом падал слабый свет. На губах его играла едва заметная печальная улыбка.

— В мире нет ничего, что было бы вне.
Все, чего ты взыскуешь, найдешь ты в себе.

Эти слова Джалалиддина — первые за сорок дней — привели наставника в неописуемое волнение. Руки заметались, как крылья ветряной мельницы, конец неизменной зеленой чалмы Сеида залетал с плеча на грудь и обратно. Сдавленный вопль вырвался из его груди. Он заключил Джалалиддина в объятия.

Ведь тот ответил на стих Корана, мелькнувший в голове

шейха, когда он в первый раз вошел к нему в келью. Мюрид, увидевший мысли шейха, переставал быть мюридом, а становился познавшим, арифом.

— Ты познал все науки — явные и сокровенные, — произнес шейх, когда снова обрел дар связной речи. — Да славится господь на том и на этом свете за то, что удостоился такой ничтожный и слабый раб его, как я, милости лицезреть своими очами твое совершенство. С именем его ступай и неси людям новую жизнь, окуни их души в благодать.

В тот же день шейх повязал Джалалиддину чалму улема, выпустив конец на правое плечо. И облачил в плащ с широкими рукавами — хырку, который носят арифы. А затем объявил мюридам, что слагает с себя обязанности их наставника, которые отныне снова будет исполнять достойный своего отца сын Султана Улемов, и перебрался в соседнюю келью, ту самую, куда поселил его Джалалиддин после прибытия его в Конью.

Джалалиддин снова стал мударрисом в медресе Гевхерташ и наставником дервишской обители. Снова вел он беседы с мюридами, читал проповеди, наставлял учеников, участвовал в диспутах с богословами, устраивал маджлисы, на которые был открыт доступ всем горожанам.

Люди сделались для него куда яснее, чем прежде. Он читал в них, как раньше читал открытую книгу: ведь он испытал почти все из того, что могут испытать они, и в воображении своем прошел весь путь, который проделал человек прежде, чем стать человеком. Речь его стала скупей и убежденней и, главное, брала за сердце. Слово всегда било в цель. Все многолюдней становились его маджлисы, прибавилось в обители и мюридов.

ГОЛОС СКОРБИ

Минул еще год. Поначалу Джалалиддин каждый вечер продолжал беседы с наставником, делился мыслями и настроениями, возникшими в нем за день. Потом беседы стали реже — Сеид оказывался по вечерам занят молитвой или созерцанием. Потом и вовсе прекратились.

Сеид решил, что птенец встал на крыло и своим присутствием наставник может только сковать его полет. Несколько раз заводил он с Джалалиддином речь о своем желании уехать в Кайсери. Но тот не хотел его отпускать. Самая возможность прибегнуть к опыту и мудрости шейха, изложить ему все, что на сердце, дабы уяснить себя самому себе — без зеркала своего лица не увидишь, — вселяла в него уверенность,

как сабля на бедре вселяет уверенность в воина, даже если он знает, что ею не придется пользоваться.

Как-то летним жарким днем мюриды, желая угодить старику, посадили его на мула и повезли за город, в прохладу садов. Они выехали из города через восточные ворота Халкабегуш, те самые ворота, через которые семнадцать лет спустя выйдет навстречу монголам Джалалиддин. Дорога вела в Кайсери, вторую столицу державы, и перед мысленным взором Сеида возник образ этого города, называвшегося на официальном языке Дар-уль-Фатх — «Обитель Победы», ибо в нем собиралось перед походом султанское войско. Он задумался о своей жизни в нем и не заметил, как мул, подойдя к обочине, потянулся к зеленой листве кустов. Вдруг мул прыгнул через придорожную канаву. Сеид тяжело упал на бок и потерял сознание.

С трудом мюриды привели его в чувство, усадили на непочтительное животное и довезли до сада султанского военачальника Исфахсаляра. Тут, примерно в половине фарсаха от крепостных стен, они вынуждены были ссадить шейха на землю — каждый шаг мула причинял старику тяжкие страдания.

Оповещенный о несчастье, Джалалиддин примчался в сад. Раскроил ножом мягкий сапог. Нога у старика была сломана. Смазав ее болеутоляющей мазью и приложив травы, он вытянул кость и крепко затянул ее в лубок из дубовой коры.

Сеид перенес всю эту операцию, не поморщившись. Но когда она была закончена, молвил с глубоким упреком:

— Ну и мюрид у меня молодец! Сначала перебил желание шейха, а потом, чтоб тот не мог осуществить его, перебил и ногу!

Краска раскаяния залила лицо Джалалиддина: какое имел он право удерживать наставника, если его сердце тянулось к свободе!

Когда нога у Сеида зажила и он, опираясь на клюку, стал выходить из кельи, Джалалиддин спросил:

— Отчего шейх хочет лишить меня друга и наставника?! Разве плохо ему с нами?

— Два льва в одной пещере не живут, — ответил Сеид. — А друга ты вскоре себе обретешь!

С горьким чувством отпускал старика Джалалиддин, словно знал: больше им не увидеться. Слишком уж слаб был Сеид.

И правда, вскоре из Кайсери пришла горькая весть: Сеид Бурханаддин Тайновидец из мира бренного перекочевал в мир вечный.

В тот же день Джалалиддин отправился в Кайсери, взяв с собой лишь золотых дел мастера Саляхаддина, который вместе с ним проходил у покойного искус тариката и был любимым

мюридом Сеида.

«От моего шейха Султана Улемов, — говорил Сеид, — я получил в дар два бесценных сокровища — красноречие и вдохновение. Красноречие я даровал Джалалиддину, ибо вдохновения у него и без того было в достатке, а вдохновение — Саляхаддину, который был его лишен».

Теперь, когда не было на свете ни Гаухер, ни Султана Улемов и не стало Сеида, тридцатитрехлетний Джалалиддин с сединой, рано появившейся в бороде, почувствовал себя круглым сиротой в этом мире, ребенком, заблудившимся на жизненном базаре.

Надвигалась зима. Горные перевалы закрылись. Путь предстоял кружной, нелегкий. И чтобы не сгореть на этом пути, подобно свече на ветру, он нуждался в Саляхаддине, в его спокойствии и невозмутимости.

Странную пару являли собой два всадника, ехавшие по опустелой конийской равнине навстречу злым порывам ветра пополам с дождем. Худой, с горящим, устремленным в себя взором Джалалиддин в теплом халате, высокой лиловой чалме с развевающимся, как траурный стяг, концом. И величественный пятидесятилетний Саляхаддин в черном стеганом кафтане. С окладистой седой бородой. Прямой, непоколебимый — мнилось, дождевые капли отскакивают от него, как от стены, — невозмутимо глядевший из-под седых клочковатых бровей по-детски ясными глазами.

К кому они спешили? Ведь их наставник Сеид Тайновидец уже был засыпан землей?

–

Под вечер показалась деревня, прилепившаяся к подошвам предгорных холмов. Кубики домов, казалось, скатились со склонов. Каждый — словно крохотная крепость, глядящая внутрь себя, повернувшаяся к миру рыжими саманными стенами и дувалами. Слева блеснуло озеро, плоское, точно лужа, с заросшими камышом берегами. В тростнике, покачивая саблями клювов, важно разгуливали белые цапли. Вокруг деревни расстилались виноградники, арбузные бахчи с пожухлыми плетями ботвы, редкие рощицы олив.

То была деревня Кямил, где родился золотых дел мастер Саляхаддин. Здесь он вместе с отцом ловил на продажу озерную рыбу, вязал сети. Отсюда после смерти отца, вступив в братство ахи, ушел в город подмастерьем. Давно это было.

Вдыхая сладковатый запах лепешек, жарившихся на

оливковом масле, кизяка и влажной шерсти, под лай редких собак они проехали сквозь деревню и, когда над холмами засветилась вечерняя пастушеская звезда, остановились у ворот обители шейха ахи, к которой была приписана деревня.

При их появлении ворота распахнулись — видно, здесь ждали их прибытия. Два послушника с поклоном помогли им спешиться и проводили на гостевую половину. Внутренний двор был перегорожен стенами, делившими обитель на несколько двориков разной величины. Речка, сбегавшая с гор, протекала по всем дворам и сквозь пробоину в стене, прикрытую решеткой, так же, как входила в обитель, устремляла свой бег дальше, к озерным камышам.

Саляхаддину обитель эта была хорошо знакома: здесь некогда шейх ахи посвятил его в братство.

Когда они умылись с дороги и привели себя в порядок, послушник проводил их в трапезную. Старая стряпуха-арабка, грузная, расплывшаяся, узнав Саляхаддина, метнула на него огненный взор и поставила перед ними плошки с тарханой — тюркской похлебкой из простокваши с мукой и кучку лепешек.

Лишь когда гости отдохнули с дороги и насытились, их пригласили к шейху.

Миновав дворик с водоемом, над которым росла раскидистая чинара — видно, здесь шейх ахи размышлял и принимал гостей в хорошую погоду, — сопровождавший их послушник остановился у дверей, пропуская прибывших вперед. Они сняли сапоги, мягко ступая кожаными чулками, перешагнули порог. Поклонились, сложив на груди руки.

Шейх ахи, который некогда посвятил Саляхаддина в братство, давным-давно опочил. Но новый так походил на него, что золотых дел мастеру показалось: годы потекли вспять. В джуббе, но не черном, как у улемов Коньи, а зеленом, отороченном собольим мехом, сидел он на шкуре ангорской козы, скрестив ноги. Огладив бороду, пригласил их сесть и первым делом выразил им свое соболезнование.

— Вслед за умершим не уйдешь! Мир смертен! Дай бог нам терпения!

О кончине их наставника Сеида Тайновидца здесь было давно известно: в братстве ахи служба осведомления была поставлена не хуже, чем у султана.

Послушник, беззвучно ступая, принес серебряные чаши и кувшин с айвовым шербетом.

— Прошу! — предложил шейх, беря свою чашу. И, подождав, пока послушник выйдет, сказал: — Сегодня вечером мы принимаем в братство одного крестьянина. Прошу нам оказать

честь своим присутствием!

— Неужто в братство теперь посвящают и крестьян? — как можно мягче, чтоб шейх не принял его слова в осуждение, осведомился Саляхаддин.

Но шейх только улыбнулся,

— Он такой же крестьянин, каким были некогда и вы, достопочтенный мастер. Возделывает наши арбузные бахчи да ходит на рыбную ловитву, а зимою вяжет сети.

Шейху все было ведомо.

Джалалиддину не хотелось этой ночью быть среди людей, но отказать шейху, который приютил их на ночь в своей обители и оказал своим приглашением великую честь, было невозможно.

Когда они вышли во двор, все были уже в сборе. Освещенные пляшущим пламенем углей в широких чашах, политых горючей земной смолой, братья ахи сидели полукругом вдоль стен, выставив правое колено. У дверей, ведущих во двор, скрестив руки на плечах, застыли два глашатая. Шейх поднялся на помост, усадил гостей по обе стороны от себя и дал знак. Глашатаи подбежали к старшему ахи, один — с чашей воды, другой — с кожаной коробочкой для соли. Тот бросил соль в воду, поднял чашу.

— Мир вам, идущим путем правды! Мир вам, опоясанным поясом ахи!

— Мир всем вам! — откликнулся шейх.

— Слава душам постигших и праведных, слава тем, кто был и ушел, тем, кто придет и будет!

Старший ахи, начав с шейха, обнес всех по очереди чашей соленой воды. Каждый, принимая чашу двумя руками, пригубливал ее. Когда она вернулась к старшему, он вручил ее глашатаю и вышел на середину.

— Некто близкий нам, братьям, хочет вступить на путь!

— Как звать его? — спросил шейх.

— Али, сын Мухаммада.

— Кто его наставник в пути?

— Брат Фахри.

— А кто попутчики его?

— Братья Фарук и Кемаль!

— Достойны! Пусть введут!

Трое ахи встали и вышли со двора. Глашатаи расстелили перед помостом два коврика, положили на один из них красный кушак и кинжал.

В дверь постучали. Еще раз. Еще.

— Да войдет! — откликнулся наконец шейх.

Медленно отворились двери. Вслед за наставником вошел

высокий худой парень с большим родимым пятном на щеке. Двое братьев-попутчиков держались за полы его кафтана.

Поравнявшись с помостом, наставник скрестил, как глашатаи, руки на плечах и, поклонившись, молвил:

— Припав к ногам шейха и старейшин ахи, наш брат Али просит у вас милости. Его стремление — соединиться с нашим караваном, пойти путем, которым идут постигшие, опоясаться поясом товарищества. Каково будет наше слово?

— Пусть подвергнется испытанию, как положено!

Наставник опустился на колени. Братья-попутчики поставили оробевшего крестьянина на другой коврик, лицом к наставнику, и сами опустились рядом, все так же держась за полы его кафтана.

Старший ахи возгласил:

— Как стало нам ведомо, ты желаешь вступить на путь. Да отверзнутся уши сердца твоего. Знай, что путь ахи суров и крут. Кто в твердости сердца своего, твердости руки своей не уверен, да не пускается в путь, потому что, желая возвыситься, может он пасть. Путь наш есть путь соблюдения, веры и познания. Что говорит тебе голос сердца? Хватит ли сил у тебя блюсти обычай?

От волнения крестьянин помял кулаком нос, вызвав ропот неодобрения в рядах ахи.

— Хватит! — проговорил он глухо.

— Согласен ли ты на испытание?

— Согласен!

— Ты сам молвил «согласен». Значит, нет греха на нашей душе. Во имя Аллаха, скажи, сколько у ахи закрытого?

— Три!

— Назови!

— Язык, пояс, глаз.

— Почему закрыт глаз?

— Дабы не видеть чужой вины, чужого стыда.

— Сколько у ахи открытого?

— Четыре!

— Назови!

— Рука, лицо, стол, сердце.

— Сколько правил трапезы?

— Двенадцать!

— Назови!

— Сидя, левую ногу поджать под себя, правую поставить прямо, согнув в колене. Откусывать немного. Жевать сначала за правой щекой. Не засаливать рук… Не пускать слюни… Не крошить на землю… Не смотреть на чужой кусок. Не чесать в голове. Не смеяться… Лучший кусок оставлять гостю. После еды омыть руки.

— Верно. А сколько правил ходьбы?

— Пять!

— Перечисли!

— Идучи, не возноситься в гордыне. Не глазеть по сторонам… Не следить за другими… Не обгонять старшего… Не заставлять спутников ждать…

Наставник повернулся к шейху:

— Продолжать?

— Достоин! — молвил шейх.

— Достоин! Достоин! — откликнулся круг.

Шейх поднялся с места. Наставник покрыл руку Али платком. Братья-попутчики отпустили полы его кафтана и положили свои ладони поверх платка.

— Сын наш! — молвил шейх. — Будь почтителен, дабы тебя почтили. Да станет весомым слово твое, дабы слушали тебя. Отныне и впредь не осмелишься ты ни завидовать, ни зазнаваться, ни доносить, ни оговаривать, ни таить в сердце ненависть. Но всего постыдней — угнетать других и отрекаться от слова. Блюди честь пояса, коим опояшут тебя! Нет острее меча, чем меч пророка, нет острее ума, чем ум познавших! Стремись достигнуть их совершенства! Встань!

Али встал. Даже в пляшущем чадном пламени, едва освещавшем двор, было видно, как раскраснелось от волнения его лицо, родимое пятно и то побагровело.

— Как скажете, братья, достоин ли он перепоясания? — спросил шейх.

— Достоин! Достоин!

Наставник поднял с коврика пояс, подул на него, точно сдувая приставшие пылинки. Прочел первую суру Корана — Фатиху.

И тут Али чуть было не испортил все. От волнения снова поднес было кулак к носу — наверное, то была его застарелая привычка. Но застыл под взглядом наставника. Словно онемевшая, рука упала вдоль тела.

И наставник, поворачивая его вокруг оси, принялся опоясывать широким и длинным кушаком. Завязал его тремя узлами. Поднял с коврика плоский, как нож, кинжал. И заткнул за пояс.

— На путь вступил наш брат Али Мухаммад! — объявил старший ахи. — Да придется к месту и ко времени усердие его! Да удостоится он благодати и достигнет цели! Да станет он верной опорой познавшим и вознесется слава его!

— Ху-у-у! — в один голос выдохнули братья имя, которым ахи называли аллаха.

Джалалиддин знал ахи по ремесленным рынкам Коньи. Уважал в них простоту нравов и справедливость. Но на обряде посвящения — святая святых братства — присутствовал впервые и понимал, что обязан этим золотых дел мастеру, который был здесь, у ахи, своим, почитаемым человеком.

Странный отклик вызвали в душе Джалалиддина, истерзанной скорбью и сиротством, слова, прозвучавшие той ночью при свете чадного пламени. Среди этих вязальщиков сетей и рыбаков, неграмотных, но объединенных общим трудом и общим братством, рядом с Саляхаддином, чья воля казалась непоколебимой, как скала, а сердце было открыто для справедливости, он уже не чувствовал себя камнем, затерянным в космосе.

И когда утром они вновь отправились в путь и молча объезжали холмы, скрывшие от их взоров и деревню Кямил, и обитель ахи, в душе Джалалиддина мелькнуло предчувствие, что скачущий рядом с ним немудреный, но мудрый золотых дел мастер может оказаться той единственной веткой, ухватившись за которую он в последний миг удержится на краю пропасти. И он подумал: они ехали на могилу Сеида, чтобы почтить его память, а выходило, что едут к самим себе.

Предчувствие не обмануло поэта. Он потерял наставника, но на пути к его могиле обрел друга, который понял его и был верен ему до самой своей смерти. А вместе с ним он обретет и тысячи приверженцев в братстве ахи. Но для этого он сам еще должен был пройти немалый путь.

–

Султанский наместник в Кайсери Сахиб Шемседдин самолично позаботился о том, чтобы похороны Сеида свершились без ненужной парадности, но со всеми почестями, которых был достоин этот человек, всю жизнь презиравший показное, внешнее и страстно доискивавшийся истины.

Наместнику, скрасившему своим благоволением последние дни Сеида, позволил Мевляна выбрать из книг наставника своего те, которые он пожелал оставить на память, и, забрав все остальные, вернулся с Саляхаддином в Конью.

–

Смерть Сеида оказалась для Джалалиддина ударом, от

которого, как от подземного толчка, рухнула крепость непоколебимости, возведенная с таким трудом за годы тариката. Развалились стены, ограждавшие спокойствие сердца: видно, спокойствие было противопоказано сердцу его.

Сеид не раз говорил: «Я человек безумный и потому не могу взять на себя заботу о жене и детях. Но ты должен помнить: в исламе безбрачия нет».

Пытаясь найти забвение и желая исполнить волю наставника, Джалалиддин решил жениться.

Выбор его пал на Киру-хатун, вдову купца Мухаммадшаха. Тихо, без всяких торжеств он ввел ее в свой дом, усыновил ее пятилетнего сына Яхью.

Красивая, мягкая нравом Кира-хатун, благоговевшая перед Мевляной, который стал ее мужем, была достойной женой. Родила ему еще двух детей — сына и дочь.

Но ничего похожего на то, что испытал он в Ларенде с Гаухер, эта женитьба ему не принесла. Он ушел слишком далеко, чтобы жена могла проникнуть в его внутренний мир.

Ночи напролет, при свете огромной, в человеческий рост, лучины проводил Джалалиддин за чтением отцовских бесед и наставлений Сеида. Днем погружался в богословские премудрости, в поэтические диваны Санайи и Аттара, мрачные стихи арабского поэта Муттанаби, издевавшегося над бренностью и суетностью жизни. Но ни ночные бдения, ни утеснения плоти, ни голод, ни женитьба, ни книги не могли больше заглушить голос скорби в его сердце.

Лишь когда сотни, а потом и тысячи людей стали собираться на его проповеди в мечетях, когда стало тесно в медресе и в обители от учеников и мюридов, вдруг обнаружил он, что скорбь, звучавшая в его сердце, находит отклик, и понял, что события, происшедшие за стенами обители, пока он занимался собой, отозвались отчаянием в сердце народа сельджукской державы.

–

Давно уже не было в живых султана Аляэддина Кей Кубада I. Все знали, что он отравлен своим сыном Гиясиддином, но говорили об этом намеками: страх расползся по столице, как ядовитый туман. Визирь Кобяк, вертевший новым султаном, как бродячий актер теневого театра вертит плоской куклой на экране из бычьей шкуры, с необычной даже для того времени жестокостью расправлялся с вельможами и слугами султана Аляэддина, умерщвленного по его наущению, и со всеми, кого

почитал для себя опасным. Одних заживо сжигали в их собственных особняках, предварительно обложенных дровами и кизяком, других убивали прямо на пирах, заманив в ловушку, третьих казнили, облыжно обвинив в измене. Пока новый султан наслаждался властью, пил вино, забавлялся охотой и наложницами, Кобяк и его свора без зазрения совести прибирали к рукам имущество казненных, облагали поборами купцов, утесняли ремесленные цехи.

Людей хватали на улицах, на базарах, по первому доносу вытаскивали из домов, волокли на плаху. Нашлись и улемы, которые своей фетвой готовы были подтвердить любое бесчинство Кобяка. И они не оставались в накладе.

Через два года после смерти Сеида, словно в возмездие за творившееся в стране нечестие, свершилось то, чего много лет со страхом ждали в Конье: тридцатитысячное войско монголов, усиленное наемными отрядами грузинских и армянских воинов, впервые вторглось в пределы сельджукской державы, взяло город Эрзрум и перебило всех жителей.

К этому часу все царствование готовился покойный султан Аляэддин Кей Кубад. Он оставил в наследство сыну-отцеубийце мощные крепости, оснащенное многотысячное войско, десятилетиями не знавшее поражений, войско, которого некогда опасался сам Чингисхан.

Это войско числом в семь десятков тысяч вышло навстречу монголам и неподалеку от Сиваса преградило врагу путь к городу. Опытные военачальники советовали молодому султану Гиясиддину занять горные проходы, устроить врагу бесчисленные ловушки, чтобы не дать использовать главную силу — монгольскую конницу, и защищать каждый камень, каждую скалу. То был верный совет. Но Гиясиддин не принял его. Расплодившиеся при Кобяке дворцовые лизоблюды ничего не смыслили в ратном деле, но они безошибочно умели угадать тайные желания повелителя и знали, что он опьянен не только вином, но и мечтами о воинской славе. Они выложили султану то, что он сам хотел слышать. Дескать, не к лицу султану ислама, как дикому курду, строить засады в горах и дожидаться, пока какой-то монгол начнет битву. Надо выйти в поле и разгромить его.

Механизм подхалимства, окружавший тирана, сработал. Судьба сельджукской державы была решена.

23 июня 1243 года в долине Кеседаг столкнулись два знамени: черное — сельджукско-аббасидское и красное — монгольское.

Следуя своему воинскому обычаю, монголы поставили на

правом крыле отборные дружины грузинских и армянских витязей. У сельджуков тоже были наемники-христиане под началом грузина Дарлана Шарванидзе и армянского царевича Вана. Но доблестный грузинский вождь, первым врезавшийся в ряды врагов, был тут же убит, и ряды его дружины смешались.

Как это свойственно всем слабым душам, заносчивость султана Гиясиддина мгновенно сменилась страхом. Смятение первых рядов войска примнилось ему поражением. Спасая шкуру, он переоделся простым мечником, бросил войско на произвол судьбы и ускакал по дороге в Токат.

Войско охватила паника. Не успев развернуть свой строй, оно бросилось бежать. На плечах бегущих монголы ворвались в лагерь, где их ждала богатая добыча — запасы провианта, оружие, ковры, богатые шатры. Султанская палатка была убрана с особым великолепием. Как символ власти и могущества привязаны были около нее лев, тигр и леопард. Но что толку от величественных символов, если у тирана сердце зайца?

И все же целых три дня не решались монголы двинуться дальше, опасаясь ловушек и засад. У стен Сиваса их с богатыми дарами встретил кадий Наджмаддин, некогда в Хорезме получивший от монголов охранную пайдзу — золотую дощечку с ярлыком. Пайдза и дары смягчили сердце монгольского нойона: предав город трехдневному грабежу, он даровал жизнь его жителям.

За четверть века завоеваний монголы успели усвоить: достаточно нагнать смертного страху, а города и их жителей, если они сдались на милость, можно и пощадить — с мертвых дани не взыщешь. Но Кайсери — Обитель Победы — не сдался. И его постигла иная судьба: все мужчины были посечены, слабые, немощные добиты булавами, женщины, дети и мастеровые уведены в рабство. Ослабевших в пути добивал конвой.

За три месяца монголы разгромили державу и вернулись на зимнюю стоянку к себе на Кавказ, оглядывая, подобно волку из логова, распростертую перед ними добычу. Над всей сельджукской державой от края до края развевалось кровавое монгольское знамя.

Житницы были превращены в пустыни, ремесленники уведены в Среднюю Азию, оставшиеся жители обложены поборами. Поля заброшены, сады, виноградники одичали. Голод разразился в некогда изобильной, богатой стране.

Потребовалось еще пятнадцать лет, прежде чем завоеватели почувствовали себя хозяевами страны, чтобы Джалалиддин, стоя на холмах Казанвирана, решился предсказать жителям Коньи жизнь.

А в тот год после первого разгрома отощавшие, опухшие от голода люди устремились на запад к пределам Византии. Ими, как некогда хорезмийцами и хорасанцами, были теперь забиты все дороги. Богатства тюрок — золото, серебро, ткани, драгоценности — за бесценок попадали в руки византийских князей и купцов, ибо за малую меру пшеницы давали теперь огромные деньги.

Настали смутные времена. Чтобы подрубить под корень самую возможность сопротивления, монголы дробили державу, сеяли рознь и вражду между властителями. В самой Конье одновременно правили три султана — молодые сыновья Гиясиддина. И все они были просто-напросто монгольскими данниками. Разбойные шайки самозванца туркмена, выдававшего себя за сына султана Аляэддина, разоряли окрестности столицы.

И не у кого было искать защиты, не к кому было обратиться за помощью.

Как всегда в годину смуты и безвременья, простые люди обратили свой взоры к богу. Они искали утешения и душевной крепости, но не у служилого духовенства, а у суфийских шейхов, у подвижников и проповедников. Если улемы и факихи, так же как вельможные беи, были сыты и при сельджуках, и при монголах, то суфийские подвижники и шейхи хотя бы знали по собственному опыту, что значит голодать. В годы ненависти и одичания они призывали любить друг друга, учили, как сохранить если не жизнь, то хотя бы человеческое достоинство перед лицом насилия и смерти.

Да, цели суфийских шейхов вели в потусторонний мир, но они обладали ценностями, которые не мог отнять никто, даже монголы.

Именно в эти годы Джалалиддин стал одним из самых знаменитых, самых любимых подвижников и суфийских проповедников Коньи.

Он знал все, что можно было знать о мире, все, что было доступно разуму. Но что он мог поделать с волнением сердца?

Он познал самого себя, он познал людей. Но это не принесло ему радости.

Познавший подобен птице, вылетевшей из гнезда в поисках пищи и не нашедшей ее, устремившейся обратно и не нашедшей дороги. Она в смятении.

И все чаще и чаще вспоминал он отшельника, с которым говорил по дороге из Дамаска: ибо в сердце его все исступленней и отчаянней звучал голос скорби, тысячекратно умноженный скорбью народа его, а голоса бубна все не было. Не было до того великого дня, когда солнце из Тавриза взошло в Конье, до того

дня, который предвидел его наставник Сеид Тайновидец: «А друга ты вскоре себе обретешь!»

Да, он был готов к этому дню, как светильник, заправленный маслом, вычищенный, повешенный на место. И ожидавший лишь искры, которая зажгла бы его.

В тот день он был зажжен с тем, чтобы никогда не погаснуть.

Кем бы он был, если б не тот день? Одним из тысяч, десятков тысяч шейхов, вроде его отца Султана Улемов, мудрых и безумных, ученых и невежественных, исступленных и благостных, знаменитых и безвестных, один из десятков тысяч шейхов мусульманского мира. Тот день, та встреча сделали его тем, что он есть.

В тот день он оставил молитвы и проповеди, подвижничество и утеснение плоти, науку и богословие. Оставил все, кроме любви, ради любви к человеку.

Что мне Восток и что мне Запад?
Пусть даже вознесусь на небеса!
Коль о тебе там нету знака,
То жизни, значит, нет там для меня.
Аскетом был в молитве погруженным,
С мимбара людям говорил слова.
По приговору сердца стал влюбленным,
Рукоплескающим, завидевши тебя…
Из дланей я не выпускал Корана.
Теперь ребаб с любовью обнимаю.
Твердил я имя бога неустанно,
А ныне теми же безгрешными устами
Стихи слагаю и рубаи распеваю.

–

Джалалиддин встал с колен. С такой яркостью возник перед ним этот день, словно не было четверти века, минувших с той поры. Звонким молодым, голосом кликнул он служку.

— Позови ко мне Хюсаметтина Челеби!

Он был готов. Готов завершить свой пожизненный труд во славу солнца любви.

Когда заспанный служка вернулся в мечеть Синджари в сопровождении Писаря Тайн Хюсаметтина, над городом снова опустилась ночь и тонкий ломоть месяца, обращенный рогами вверх, на полкопья поднялся над горизонтом.

Входя в мечеть, Хюсаметтин вместо приветствия услышал:

— Эй, жизнь вселяющий в сердца Хюсаметтин! Уж сколько времени мечтаешь ты начать шестую книгу…

Начинался последний том «Месневи».

ГЛАВА ПЯТАЯ
ВСТРЕЧА С СОЛНЦЕМ

О, сколь многих на спине земли мы почитаем живыми, а они мертвы, и сколь многих во чреве земли мы считаем мертвыми, а они живы.

Абу-л-Хасан Харакани

ПУТНИК

Двадцать пятого дня месяца джумада-ль-ахира шестьсот сорок второго года хиджры, или двадцать пятого ноября тысяча двести сорок четвертого года, по дороге, ведущей в Конью из Кайсери, ехал одинокий путник. Мерно покачиваясь под шаг низкорослого серого осла, приметливым взглядом смотрел он на раскинувшуюся под нежарким осенним солнцем долину.

Сколько городов сельджукской державы он прошел, и все они лежали в развалинах. По обочинам безлюдных дорог валялись кости, разжиревшее воронье при виде одинокого путника не взлетало, а нехотя отступало на сиротливо опустелые, незасеянные поля. В воздухе парили ястребы и черные грифы. Лишь изредка проносился ханский гонец, узкоглазый, с длинной косицей на спине, сопровождаемый лучниками. Бог знает из какой немыслимой дали спешил он с секретной вестью — из Пекина или степного города-стойбища Каракорума, древней Мараги или полуночных, запрятанных в глухом море лесов рубленых городов Руси?

Караван-сараи стояли без крыш. По ночам в горах долго и протяжно выли волки, словно вознося хвалу монгольским победам.

В Эрзруме, где путник провел несколько лет, обучая грамоте детей, он не застал никого из знакомых. Испуганные, бледные тени копошились среди развалин, да по вечерам из юрт, разбитых прямо на площадях, доносилось похожее на волчий вой пение охмелевших от кумыса монгольских воинов.

Вряд ли добрался бы он до этой долины, если бы не ахи, их напутствия и советы. От самого Тебриза ахи передавали его, как письмо, с рук на руки.

А здесь, вокруг Коньи, хоть местами и повырубленные, но все

еще изобильные, отягощенные плодами стояли сады. Отощавшие, но упорные крестьяне по-прежнему возились на бахчах, молотили ячмень, сушили кизяк. На окрестных холмах паслись, быть может, поредевшие, но для стороннего взгляда все такие же бесчисленные отары овец. Дороги были убиты копытами вьючных животных.

После полудня показались сперва минареты, а затем крепостные стены Коньи. Засверкали мрамором башни, украшенные львами и ангелами. Глубокий ров вокруг стен был наполнен водой, отражавшей голубизну неба. И цепные мосты через ров были опущены как ни в чем не бывало.

Какая сила охранила город от пронесшегося над страной кровавого урагана?!

В тени огромных вековых платанов путник остановил осла. Прежде, чем войти в город, нужно было привести в порядок свою одежду и свои мысли. Он расстегнул притороченную к седлу суму, чтоб достать циновку, но тут приметил за платанами крестьянина, ведущего в поводу такого же, как у него, низкорослого осла, но с двумя глубокими корзинами по бокам. Обогнав их взглядом, путник увидел на бахче, сразу за платанами высокую груду полосатых арбузов и повернул к ним осла.

Услышав стук подков, крестьянин оробело глянул через плечо и остановился. То был тюрок в обвислых на заду курдюком шароварах, подпоясанный широким красным кушаком. Лицо коричневое, под цвет конийской земли, худое, словно вывяленное на солнце. На правой щеке большое родимое пятно.

Подъехав поближе, путник спросил, нельзя ли купить арбуз.

Вместо ответа крестьянин бросился к куче, выбрал два длинных, как огромные кабачки, плода, взвесил их на ладони, похлопал по бокам и, удовлетворенный осмотром, поднес их путнику. Но от платы отказался. Брать деньги за арбуз с чужестранца, а он сразу признал, что путник едет издалека, не приличествовало добропорядочному мусульманину.

Путник, поблагодарив, привязал осла к платану, расстелил в тени циновку, вынул из сумы ячменные лепешки, флягу и взял в руку кривой йеменский нож.

— Нагрелись! Охладить бы надо. Колодец — вот он, рядом! — услышал он за спиной. Крестьянин, нагружая арбузы на осла, исподволь следил за каждым его движением. — Только как опустить их — ведро перевернется! — продолжал он, точно размышляя вслух.

— Просто! — ответил путник. Вытащил из сумы длинную бечеву и быстро оплел ею арбузы, как сетью. Поднял их за свободный конец, точно две громадные ягоды, и передал

крестьянину.

— Ловко! — не удержался тот от похвалы. Путник промолчал.

Пока арбузы охлаждались в колодце, он сел, прислонился к стволу платана и прикрыл глаза — видать, умаялся в дороге.

Трудно было сказать, сколько ему лет — то ли сорок, то ли все пятьдесят. Лицо темное, редкая бороденка. Бухарской работы цветной халат свободно облегал поджарое тело. На ногах сапожки из сыромятной кожи, на голове круглая шапка, обмотанная короткой чалмой. Судя по одежде, торговец средней руки. Но взгляд не купеческий. Не оценивающий, не озабоченный, не масляный, а какой-то сверлящий, жалящий. К тому же, когда вынимал он бечеву, успел крестьянин приметить в суме блестящий металлический набалдашник вроде тех, что надевают на посох шейхи, да тканую шапку ладьей со священными письменами. Может, дервиш?

Нет, не похоже — руки не дервишские, видно, знают работу: ногти толстые, плоские. И ловко же он оплел арбузы!.. Как угадаешь, разного звания людишки шатаются нынче по дорогам.

А путник сидел, прикрыв глаза. В его памяти без всякого порядка мелькали лица. Бородатые, хитрые, тупые, жестокие, открытые. Улицы городов, развалины дворцов, дома, дороги — притомился, наверное. Но он не напрягал свою волю, хоть очень важно было ему собраться с мыслями: знал, что из беспорядочного мелькания само собой выплывет нужное слово, нужный образ. Не раз убеждался он, душа — что боевой скакун. Если хорошо обучен, вывезет, а понукания только мешают.

Перед его взором возникли улицы Тебриза. Не теперешнего, придавленного ханом Хулагу, устроившего в нем свою ставку, а веселого, буйного, исступленного Тебриза его детства. Он увидел отца — простого вязальщика корзин, умершего вместе с матерью в страшный холерный год.

Вместе с отцом сидит он, семилетний, над озером. На нем не шаровары, а энтари — длинная, до пят рубаха, чтоб не бередить свежую рану. Позавчера свершили над ним обряд обрезания. Он перенес его, даже не пикнув, и теперь сидит рядом с отцом, гордый, чувствуя себя мужчиной, ровней ему.

По озеру плавают утята, ныряют на мелководье, трещат клювами, процеживают тину, а вдоль берега мечется высидевшая их курица. Кудахчет, кричит, хлопает крыльями, зовет-надрывается…

Вот и явилось видение, которого он ждал. Весь свой век до седых волос чувствовал себя путник утенком, высиженным курицей. Далеко на берегу, в отчаянии хлопая крыльями,

остались и отец, даровавший ему жизнь, и шейх Абу-Бакр, открывший ему путь к познанию.

Наставник Абу-Бакр тоже вязал корзины, тем и кормился. Но был не простым мастером — старейшиной ремесленного братства ахи. Много благодати даровал ему шейх Абу-Бакр. Все, что ведал сам, все, что досталось по традиции: устои нравственности, представления о мире и справедливости, о благе и истине. Научил ремеслу своему, так удивившему здешнего простофилю крестьянина.

Но было в нем нечто такое, чего Абу-Бакр не видел, не понимал. Да только ли он? Никто до сего дня не понимал скрытого в нем огня, не разделял до конца его мыслей, словно был он обречен от века на участь гадкого утенка среди куриц.

А ведь он затем и бросил своего шейха Абу-Бакра, чтобы найти наставника, друга, который бы понял его. Поэтому покинул свой цех, родной Тебриз. Сколько дорог исходил, с какими только учеными людьми не встречался и шейхами не беседовал. И ни один не обладал ответами на его вопросы, ни один не мог понять его бунтарский дух, вытерпеть непримиримость суждений. Даже великий книжник и мудрец Ибн-аль-Араби, у которого много знаний приобрел путник, и тот был ограничен. Своей наукой, своими знаниями — не мог от них отказаться. Но если наука из средства превращается в цель, то и она становится завесой перед истиной. Когда он сказал об этом, Ибн-аль-Араби, тот только голову склонил:

— Безжалостен хлыст твоих слов, сынок!..

В Багдаде беседовал путник с достославным шейхом Аухададдином Кирмани. Спросил его:

— Что творишь?

— Созерцаю месяц в тазу с водой!

Не в новинку был путнику темный язык арифов. Шейх подразумевал: созерцаю абсолютную, совершенную красоту истины в каждой капле воды, в любом комке земли. Отраженную красоту…

— Если не вскочил у тебя на шее чирей, подними голову! — молвил путник. — Погляди на небо, отчего ты не видишь месяца там?

Если не понял его Ибн-аль-Араби, не снес речей его Кирмани, то чего было ждать от других?! Наверное, где-то на свете есть тот, кто мог бы понять его, стать зеркалом его души. Может быть, даже в этом городе, стены которого стоят, как стояли до монголов. Немыслимо, чтобы мир был пуст. Доколе ему быть странником в этом мире, утенком, уплывшим от высидевшей его курицы и не нашедшим себе подобных. Неужто навсегда

останется тайной для мира истина, проклевывающаяся в его сердце…

— Извольте!

Перед ним, держа в руках связанные арбузы, с которых еще стекали капли воды, стоял крестьянин, о существовании которого путник успел позабыть. Корзины на спине его осла, огромные, едва не волочащиеся по земле, были загружены доверху.

— Раздели со мной хлеб, добрый человек! — молвил путник, указывая на ячменные лепешки и флягу с вином.

Крестьянин не заставил себя упрашивать. Сел рядом с циновкой. Поджал под себя ногу, другую выставил коленом вперед, облокотился о нее, словно о стол. Бережно взял кусок разломленной лепешки. Подождал, пока путник откусит от своей. И застенчиво, но истово принялся жевать.

По тому, как он сел, как жевал — сперва за правой щекой, как выждал, чтобы не есть первому, путник опознал в нем оглана, младшего члена братства ахи, к которому принадлежал некогда сам.

Путник срезал с арбуза верхушку, словно тюбетею. Перевернул арбуз, одним взмахом ножа срезал другую верхушку. Точными ударами рассек арбуз и развалил его на циновке толстыми кроваво-красными ломтями.

Крестьянин вытащил из-за пояса плоский нож. («Правда! Палаш ахи!») Обтер его о шаровары, насек ломоть арбуза на доли и, подрезая их, по одной стал класть в рот, заедая хлебом.

Они трапезничали молча. Решив, что приличия соблюдены, крестьянин спросил:

— Вижу, господин издалека. Что слышно в мире?

— Не осталось в мире больше терпения, и похмелье превысило меру, — ответил путник. — Разве что у вас иначе! — Он обвел рукой долину.

— И у нас два года подряд был голод, — молвил крестьянин, не подымая на собеседника глаз, как того требовала вежливость. — В нашей деревне Кямил всего двенадцать душ осталось — остальные перемерли. На сей год лучше, бог милостив.

— Бог милостив, да людишки слепы!

Крестьянин уверовал, что его собеседник — переодетый суфий, так темно и по-дервишски он изъяснялся. И в тон ему подхватил:

— Слепы, но не все. В Конье не счесть шейхов и подвижников, что видят бога!

Впервые ухмылка мелькнула на лице путника. Шейхи! Повидал он их на своем пути, что песка в пустыне. Вопят, точно

зазывалы на базаре: «Ступайте ко мне, остригите волосы, соскоблите бороду, примите из рук моих хырку святости!» Пекутся лишь о собственной славе и святости! Подвижники! Дела им нет до целого света. Только о себе, о своей чистоте заботятся. Возгордились своей праведностью. И нет ничего страшней бесчеловечной нетерпимости праведников!

— Шейхи да суфии — разбойники с большой дороги веры! — отрезал путник. — Хлебни-ка лучше вина из фляги!

Крестьянин застыл с улыбкой на лице. Помял кулаком нос. Такие слова о шейхах! Хорош дервиш! И еще вина предлагает…

Может, он воин-ахи? Те и вино пьют, и суфиев не терпят. Но почему тогда не ест с колена, жует не за правой щекой и сидит не по обряду?

— Не знаю… Только наш Саляхаддин, золотых дел мастер, — праведный шейх. Лучше его человека не видел. Если б не он, умер бы и я от голода. Мы с ним из одной деревни…

Золотых дел мастер Саляхаддин. Да еще в деревне родился. Наверное, шейх ахи. Эх, милок, милок! Шейхи да дервиши уцепились двумя руками за видимость, а сути не видят. Даже ахи, которые не бегут от мира, а живут в нем, не отделяют себя от народа, а трудятся с ним, братья ахи — единственная защита мастеровых от беев и стоящих за ними монголов, и те превратили средство — обряды, священные книги, традиции — в цель, а свое братство — в завесу, за которой скрылась от них правда. Потому-то и ушел он от ахи.

— И сын Султана Улемов Мевляна Джалалиддин — тоже знающий истину шейх, — помолчав, добавил крестьянин.

Сердце прыгнуло в груди путника. Чтоб не выдать себя, он покрутил флягу в руке, поднял ее над головой.

— Тебе их лучше знать! А мы перевернули вверх ногами ларец с бубенцами. И стало нам за сторожа веселье. И все одно: что кровь, что сок арбузный, что вино!

Он запрокинул голову.

Глядя, как путник привычными глотками, словно воду, пьет запретный напиток, крестьянин вдруг решил: не купец он, не суфий, не ахи. Перед ним — уцелевший, спасшийся от резни мюрид самого Баба Исхака.

Перед приходом монголов, лет пять назад, поднял Баба Исхак, человек праведной жизни, крестьянское сословие против нечестивого султана, отцеубийцы Гиясиддина. Назвал себя расулуллах — посланник аллаха. Чуть было под корень не перерезал именитых беев, не покорил всю державу. Хоть глашатаи на всех площадях объявили, что повешен Баба Исхак, еретик и отступник, на крепостной башне в Амасье, не верили им

люди. Ведь пророк аллаха бессмертен!

И еще подумал крестьянин: гнев против шейхов, присказка о крови и вине — тайный знак. Собеседник его — проведчик туркменских отрядов, что разоряют окрестности столицы и кричат: «С нами истинный султан — сын Аляэддина Кей Кубада!»

Догадка, осенившая крестьянина, придала ему невиданную смелость. Щеки его зарделись, даже пятно на щеке побагровело. Он протянул руку к фляге.

— Кто нам друг, тот пайщик в добыче!

То был клич восставших людей Баба Исхака, с которым они забирали города — Малатью, Сивас, Токат, Амасью, громили войска Гиясиддина, захватывали его знамена. И не уцелеть бы султану и его беям, если б не объединились они с френками, как теперь объединились с монголами. Ленное войско тоже ведь набиралось из крестьян, и они перебегали к Баба Исхаку. В битве при Кыршихире, где в рядах восставших сражались и женщины, только наемники-френки помогли Гиясиддину одержать победу. Все крестьяне до одного были затем порублены, кроме малых детей. Одна пятая их имущества, словно были они неверными, передана в казну, а остальное, включая женщин, поделено между воинами.

Тогда ахи не поддержали крестьян. И просчитались. Надо дать весть шейху, и поскорее. Ведь если крестьяне Баба Исхака да истинный султан, а не тот, что предал страну на поток иноземцам, да братья ахи сообща возьмутся за дело, перед ними и монголы не устоят!..

Путник как ни в чем не бывало, не выказав ни удивления, ни понимания, передал флягу крестьянину. Простофиля явно принимал его за разбойничьего проведчика или тайного посланца какого-нибудь крестьянского вожака. Меж тем он был посланцем лишь собственного сердца.

И, глядя, как скривился крестьянин после одного глотка — с непривычки, видать, слишком крепким показалось ему пальмовое вино, путник ответил:

— Для зрелого мужа добыча — лишь сердце его. И нет в той добыче пайщиков — она безраздельно отдана другу.

Он встал, давая понять, что разговор окончен. Собрал циновку. Подойдя к колодцу, почистил одежду. Сполоснул руки. Омыл лицо. И, расспросив крестьянина о городских караван-сараях, двинулся к воротам Халкабагуш, навстречу своей судьбе.

МАРДЖА-АЛЬ-БАХРАЙН

Когда путник открыл глаза, солнце уже било в купольное окошко его комнаты в караван-сарае Рисоторговцев. Во дворе слышался плеск воды, стук деревянных башмаков, голоса менял. Была суббота. Но для начала новой торговой недели в таком большом караван-сарае было тихо. Гостей немного, половина келей пустовала.

Он давно уже не останавливался ни в дервишских обителях — ханаках, ни в медресе. В обителях нужно было подчиняться порядкам, установленным шейхом, участвовать в маджлисах. Он не желал стеснять своей свободы и к тому же не принадлежал ни к одному из суфийских толков. Он был не из них.

В медресе ему по праву хозяева могли задавать вопросы или втянуть в богословский спор. Он не желал да и не умел отвечать в любое время на любой вопрос, как записные улемы. А если бы стал говорить своим языком то, что думал, его, чего доброго, зачислили бы в еретики и неверные. Опыт у него был. Он успел обойти многие мусульманские города, нигде не задерживаясь подолгу. Не зря прозвали его Летающим.

К тому же в ханаках и медресе его могли узнать, а он вовсе этого не желал. Ему нужна была свобода — от известности и славы, от обрядов и уставов, от пустых разговоров и отвлеченных бесед. Он был странником, а странникам больше всего подходят караван-сараи.

Он сел. Расчесал бороду. Перепоясался кушаком. Свернул служившую ему столом и постелью циновку. Раскрыл лежавшую в изголовье суму. Достал из нее богатый дамасский халат. Облачился.

Нащупал в суме рядом с кокосовой чашкой для подаяний и алемом — металлическим набалдашником с начертанным на нем именем аллаха — шапку-ладью, а в ней трубку с письмом от шейха ахи в Тебризе к главе братства в Конье. Он прибегал к помощи ахи, но лишь в случае крайней нужды.

Удостоверившись, что все на месте, достал подвязанную под мышкой кису с деньгами. Вынул золотой алаи и серебряный дирхем, заткнул их за пояс. Поместил кису на свое место. Покопавшись в суме, достал из нее длинный шнурок с золотой и серебряной нитями и вышел во двор. Совершил омовение у фонтана. Затем отправился к хозяину купить замок для своей комнаты. Завидев на нем богатый дамасский халат, хозяин вытащил из сундука и угодливо разложил перед ним самые дорогие: халепской и генуэзской работы, произведения искусства армянских, грузинских, самаркандских и бухарских мастеров, плоские и круглые, с дужками и складные, из двух частей.

Он выбрал самый тяжелый и хитроумный, с тройной

бородкой на ключе. Хозяин запросил целый золотой.

Он не стал торговаться. Кинул монету на сундук, попросил в придачу небольшую циновку. Нацепил ключ на свой роскошный шнур и надел его через плечо.

Теперь он выглядел ничуть не хуже богатого дамасского купчины. Кто мог бы подумать, что в его пустой, как келья отшельника, комнате, хранится всего лишь сума с нищенской чашкой и Кораном да циновка с халатом?!

У ворот сидели саррафы — уличные менялы. У них по самому последнему курсу можно было разменять на султанские акче любую монету — медные мангыры, золотые динары-аллаи, египетские или халепские юсуфи, генуэзские флорины, венецианские дукаты, серебряные дирхемы. Саррафы были и маклерами, и ростовщиками, а часто и откупщиками. У них можно было ссудиться деньгами под изрядный процент. Поручить им любую сумму, взамен нее получив лоскут кожи с таинственными знаками, которые могли разобрать только сам сарраф и его компаньоны. За этот кусок кожи точно такую же сумму можно было получить у другого саррафа где-нибудь в Каире или Бухаре, Дербенте или Генуе.

Путник бросил на коврик саррафа серебряный дирхем, получил за него десять акче, упрятал их за кушак и, расстелив у стены караван-сарая Рисоторговцев циновку, уселся на нее, поджав под себя ноги.

Он не торопился. За долгие годы странствий вошло у него в привычку, прежде чем начинать какое-либо дело, проводить один день вот так, сидя на улице, а второй — бродя по базару. Приметливому взгляду бывалого странника за эти два дня открывалось главное — чем и как живет город. И без особых усилий случай всегда посылал ему нужные встречи.

Караван-сарай Рисоторговцев, выстроенный на деньги купеческого цеха, стоял неподалеку от перекрестка двух больших улиц. Напротив, наискось от ворот высилось богатое медресе, чуть поодаль — другое. В проулке виднелись купола бань. Место самое что ни на есть бойкое.

Вскоре после третьей полуденной молитвы ученики медресе заполнили улицу. Одни поспешили в сторону базара к многочисленным харчевням и поварням, дабы насытить бренное тело. Другие почтительно сопровождали мюдеррисов, отправлявшихся по своим ученым делам к собратьям по профессии, в присутствия и диваны.

С базара возвращались купцы-постояльцы если не веселые, то, во всяком случае, удовлетворенные — наверняка первое торговое утро недели не пропало для них даром. Приказчики,

перекупщики, караван-вожатые переругивались, по большей части беззлобно, с менялами-иноверцами. Дервиши подступили к нему, грозно стуча клюками и напоминающе побрякивая медью в кокосовых чашках, подступили и прошли.

Сквозь толпу по улице пробирались ослики с вязанками дров, корзинами, бурдюками с ключевой водой. Кричали водоносы, продавцы шербетов, мелочные торговцы. Словом, жизнь текла как везде и повсюду, и можно было бы подумать, что не было и в помине ни монголов, ни голода, если бы в толкотне этой не чувствовалось подавленности, какой-то приниженности. Голоса торговцев звучали громко, но не весело, саррафы потирали руки скорей по привычке, чем от удовольствия после хорошей сделки. И на лицах прохожих, стоило им остаться наедине со своими мыслями, часто ловил путник скорбь и задумчивость.

Но вот по толпе прошло волнение. Словно ветер пронесся над тростником — все головы повернулись в одну сторону. Не монгольский ли нойон, не султан, не вельможа ли скачет, подумалось было путнику, но тут до его слуха долетело имя:

— Едет Мевляна Джалалиддин!

Это имя он услышал впервые лет десять назад в Дамаске. Потом все чаще долетало оно до него то в Халебе, то в Эрзруме, то в Кайсери, то в Тебризе, пока не позвало в путь.

Он встал с циновки и двинулся к середине мостовой.

Верхом на высоком муле-иноходце к перекрестку приближался улем, окруженный мюридами и учениками, сопровождавшими его пешком по обе стороны, слева и справа, точно пешие воины знатного всадника. Окладистая, лопатой темная борода лежала на груди. На правое плечо свисал конец чалмы. Руки, державшие повод, упрятаны в широкие рукава хырки. Лицо смуглое. Глаза опущены вниз, точно не замечает устремленных на него взглядов, не слышит почтительного, но громкого шепота, которым произносят его имя. То ли в самом деле погружен в себя, то ли тяготится людским вниманием.

Растолкав локтями толпу, путник выскочил вперед. Вскинулся к морде иноходца — от резкого движения рукава халата соскользнули до локтя, обнажив жилистые, точно сплетенные из вервия, руки — и схватил мула под уздцы.

–

В ту памятную субботу Джалалиддин был снова приглашен на диспут в медресе Пембефурушан, построенную на пожертвования цеха торговцев хлопком.

Темой диспута были два хадиса. Пророк Мухаммад сказал: «Первое, что сотворил Аллах, — белая жемчужина». И сказал еще: «Первое, что сотворил Аллах, — разум».

Спор разгорелся о том, однозначно ли выражение «белая жемчужина» перворазуму, именуемому по-арабски «ал-акл-ал-аввал». И является ли абсолютность, универсальность и потенциальность тремя сторонами, с которых можно рассматривать перворазум, или же они его эманации.

Диспут длился вторую неделю. И давно наводил на Джалалиддина, как, впрочем, почти все подобные диспуты, глухую тоску. Казалось, ученые мужи собрались не для того, чтобы понять друг друга, выслушать и вникнуть в смысл речей, а, напротив, ждали лишь оплошности или оговорки противника, чтобы поймать его на слове и показать собственную ученость. Стоило какому-нибудь улему прервать свою речь, чтобы перевести дыхание, как тут же находился другой, только и ждавший, как бы оглушить ворохом изречений и хадисов. Не самоотверженный поиск истины, а ристалище самолюбий, где каждый упивался своей начитанностью, логикой и умом.

Это претило Джалалиддину все сильнее. Но диспут был назначен настоятелем медресе Сейфиддином, некогда яростным противником Джалалиддина, а ныне признавшим его наконец, и отказаться от приглашения значило бы проявить мстительность и высокомерие.

Едучи по улице, Джалалиддин снова ощутил стыд, который часто посещал его в последние годы. Время ли обсуждать, что такое белая жемчужина и равна ли она перворазуму, когда тысячи людей смотрели на мужей веры и учености, с упованием, ожидая от них силы и разума, чтобы укрепить души перед лицом жизни. На что он тратил время, так скупо отпущенное каждому человеку?

Никогда еще стыд, охвативший его, не был так едок, как в тот осенний солнечный день, когда он ехал из медресе Торговцев Хлопком, окруженный своими учениками. И потому, чем ближе он подъезжал к людному перекрестку, тем ниже склонялась на грудь его голова.

Мул внезапно остановился, Джалалиддин поднял глаза. Увидел обнаженные до локтя жилистые руки, схватившие под уздцы его иноходца, редкую бороду и сверлящий, точно шило, взгляд одетого купцом странника.

–

26 ноября 1244 года. Обычный осенний день. Не сошлись в битве в тот день великие армии, чтобы решить судьбу империй. Не взошел на престол основатель династии, которая повелевала миллионами. Не был открыт ни новый континент, ни новый вид энергии. Ничего, что поразило бы воображение и сразу заставило бы людей запомнить эту дату, не случилось в тот неимоверно далекий теперь день. Просто встретились два человека.

Но чем дальше отступает во тьму веков тот день, тем необычней кажутся последствия этой встречи.

Встреча двух людей, которые открыли себя друг в друге, поняли, полюбили, — всегда чудо, может быть, даже самое удивительное из всех чудес. Но день их встречи остается обычно великой датой лишь в личной судьбе этих людей.

Два человека, встретившиеся в Конье семьсот с лишним лет назад, не только открыли себя друг в друге, они совершили еще одно великое открытие — Человека для Человечества. Не будь этой встречи, по-иному чувствовали, думали бы десятки миллионов людей — от Средней Азии на севере до Аравии на юге, от Индонезии на востоке до Северной Африки на западе.

Для второй природы человека, именуемой «культура», этот день имел такое же значение, как день встречи Сократа и Платона, Шиллера и Гёте.

В тот день родился для мира один из величайших поэтов земли Джалалиддин Руми, воплотивший в своей поэзии верования, чувства и предания народов огромного региона и выразившего в ней с небывалой силой величие человеческого духа в его бесконечном стремлении к совершенству.

Много великих дат и славных имен забылись с тех пор. Время разрушило камни, развалило крепостные стены. Мы даже не знаем теперь, где стояло медресе Торговцев Хлопком, в котором провел утро того дня Джалалиддин, где помещался караван-сарай Рисоторговцев, в котором провел предыдущую ночь его будущий друг. Но место, где встретились Джалалиддин Руми и Шемседдин Тебризи, сохранилось в благодарной людской памяти.

Если вам придется побывать в Конье, разыщите здание отеля «Сельджук-палас» неподалеку от центра. Встаньте у его угла, напротив дома министерства просвещения: Марджа-аль-байхрайн — так назвали люди это место — «Встреча двух морей». 26 ноября 1244 года.

–

Без зеркала, будь то отполированный металл или водная

гладь, не может человек увидеть своего лица. Без другого человека не может он познать себя, ибо как родовое существо человек осуществляет себя и осознает лишь через других людей.

Но человек не зеркало. Он и отражатель, и излучатель. И субъект и объект одновременно. И потому отношения двух людей, а в особенности таких, как Джалалиддин и его новый друг, есть сложнейший психологический процесс самопознания.

Стремление поэта к абсолютному тождеству с другом, к растворению себя в нем было и стремлением к познанию собственной истинной сущности, или, говоря его словами, божественной истины. Но поскольку абсолютное растворение собственного «я» в другом остается недостижимым, истина может быть познана лишь относительно. Противоречие тождества-нетождества остается так же, как и остается стремление к снятию этого противоречия.

Дружба с загадочным странником, который схватил под уздцы его иноходца, стала реальной основой гуманистической диалектики Джалалиддина Руми.

Но как странны, а порой незначительны бывают слова, по которым мы узнаем в другом человеке самого себя, свое собственное продолжение в мире, или, выражаясь старомодным языком, родственную душу?! Эти слова часто служат лишь знаком, неприметной для стороннего взгляда меткой. «Слово, — говорил Джалалиддин Руми, — одежда. Смысл — скрывающаяся под ней тайна».

26 ноября 1244 года они сразу же заговорили о главном. Но слова, в которые был облечен вопрос, столь же важный для них, как и для нас, за семь столетий успели настолько обветшать, что не удерживают более смысла. Чтобы постичь скрывающуюся за ними тайну, нужно хоть как-то представить себе ту структуру мышления, которая была ими обозначена.

–

Все так же крепко держа под уздцы мула и не спуская глаз с Джалалиддина, путник спросил:

— Эй, меняла мыслей и смыслов того и этого мира! Скажи, кто выше — пророк Мухаммад или Баязид Бистами?

Баязид Бистами, живший в IX веке подвижник, был одним из столпов суфизма. Он первым обнаружил, что углубление в размышления о единстве божества может вызвать чувство полного уничтожения собственной личности, подобное растворению «я» влюбленного в «я» возлюбленной. Он говорил: «Я

сбросил самого себя, как змея сбрасывает свою кожу. Я заглянул в свою суть и… о, я стал Им!» Такое состояние Баязид назвал «фана» — уничтожение, небытие, которое впоследствии большинство суфийских школ признало целью путника, проходящего тарикат. Правоверное духовенство усмотрело в словах Баязида претензию на божественность, объявило его гяуром — неверным, изгнало из родного города. Для суфиев, однако, Баязид Бистами стал высочайшим авторитетом и удостоился титула «Султан аль-арифин», то есть Султан Познавших.

Тем не менее вопрос, заданный незнакомцем, да еще посреди людной улицы, был кощунственной дерзостью. Одно дело — суфийский шейх, пусть даже такой, как Султан Познавших, и совсем другое сам посланник аллаха Мухаммад. И Джалалиддин ответил, как на его месте ответил бы любой правоверный шейх или улем:

— Что за вопрос? Конечно, Мухаммад выше!

Шемседдин, без сомнения, ждал такого ответа. Но в нем-то и заключалась ловушка. Тонкая улыбка заиграла на его губах.

— Ладно, — сказал он. — Но почему тогда Мухаммад говорит: «Сердце мое покрывается ржавчиной, и по семидесяти раз в день я каюсь перед господом моим!» А Баязид утверждает: «Я очистился от всех несовершенных качеств своих, и в теле моем нет ничего, кроме бога. Преславен я, преславен я, о, сколь велик мой сан!»

Джалалиддин выпрямился, как от удара. Незнакомец, выходит, не только дерзок, но и весьма не прост. Быть может, он бился над тем же, над чем бьется мысль его, Джалалиддина: абсолютность истины и относительность познания ее.

Прежде чем ответить, Джалалиддин, уже не скрывая волнения, долгим взглядом посмотрел в глаза незнакомцу. Его волнение передалось путнику. Впоследствии Шемседдин вспоминал: «Он сразу постиг совершенство и полноту моих слов, и не успел я договорить, как почувствовал, что опьянел от чистоты его сердца».

— Мухаммад каждый день одолевал семьдесят стоянок, — ответил Джалалиддин. — И каждый раз, достигнув новой ступени, каялся в несовершенстве познания, достигнутого на предыдущей. А Баязид вышел из себя от величия достигнутой им одной-единственной стоянки и в исступлении произнес эти слова…

–

Кто выше, Мухаммад или Баязид?.. Если не понимать скрывающегося за этими словами смысла, вопрос кажется не менее бессодержательным, чем спор христианских богословов о том, сколько ангелов может поместиться на острие иглы, или диспут о белой жемчужине и перворазуме, в котором в тот день участвовал Джалалиддин. Но, по сути, Шемседдин спрашивал о другом: состоятельны ли претензии на постижение абсолютной истины или же всякое познание относительно и каждая новая ступень есть отрицание предыдущей? Таков был смысл его вопроса, если перевести его на язык современности. Вопроса, на который до встречи с Джалалиддином ни от кого не получал он вразумительного ответа.

Услышав ответ, Шемседдин испустил вопль и без чувств упал на землю.

По крайней мере, так описывают со слов очевидцев эту сцену старинные хроники.

Принято считать, что слова «упал без чувств» — скорей всего риторическая фигура, благочестивое преувеличение, призванное подчеркнуть необыкновенную духовную силу поэта.

И все ж, думается, это правда. Люди того времени, влюбившись, болели и умирали от любви. Не уставали радоваться встрече с другом по целым неделям. Услышав глубокую мысль или точный афоризм, плакали, издавали возгласы восторга. За оскорбление словом, на которое мы часто и внимания не обращаем, они готовы были убить оскорбителя или умереть от его руки. При виде необычного явления дрожали от ужаса и падали ниц. Вряд ли все это риторические фигуры и благочестивые легенды.

Цивилизация приучила людей к сдержанности в выражении чувств. Форма, однако, неотделима от содержания. Наш век неизмеримо больше знает, вероятно, мыслит логичнее, стройнее, но чувствует ли с той же силой, что и тринадцатый век? «Всякая потеря есть приобретение, — говорил Джалалиддин Руми. — Всякое приобретение есть потеря».

–

Он соскочил на землю, склонился над путником. Растер ему запястья, несколько раз развел и сложил ему руки на груди.

Шемседдин пришел в себя. Встал. Они обнялись. Ничего не понимая, с изумлением глядели на эту сцену толпа, ученые улемы, мюриды Джалалиддина.

Он взял путника под руку и пешком направился вместе с ним

к дому золотых дел мастера Саляхаддина. Здесь они уединились для беседы.

СОВЕРШЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК

Три месяца без перерыва продолжалась беседа Джалалиддина Руми и Шемседдина Тебризи. Когда минули эти месяцы и над Коньей подули первые весенние ветры, всем, кто знал Джалалиддина, показалось, что он умер, а в его облике родился другой человек.

«Нежданно явился Шемседдин, — вспоминал впоследствии сын поэта Велед, — и соединился с ним. И в сиянии его света исчезла тень Мевляны… Когда узрел он лицо Шемса, открылись ему тайны, стали ясными как день. Он увидел никем не виданное, услыхал никем не слыханное. И стало для него все едино: что высокое, что низкое. Призвал он Шемса к себе и сказал: «Послушай, мой падишах, своего дервиша. Мой дом недостоин тебя, но я полюбил тебя верной любовью. Все, что есть у раба, что достанут его руки, принадлежит его господину. Отныне это твой дом!» Мевляна был очарован его обликом, его не поддающейся определениям чистотой, его речью, полной тайн, как море жемчужин, его словом, вдыхающим жизнь в свободного человека… Никуда не являлся он без него. Если не видел его лица, лишался света очей своих. Не расставался с ним ни днем, ни ночью. Невыносима сделалась ему разлука с ним. Точно стал он рыбой, живущей в его море. Шемседдин позвал его в такой мир, какой и во сне не снился ни тюрку, ни арабу. Что ни день, читал он ему поучения и сделал явным новое знание. Мевляна и без того был исполнен сокровенного знания. Но то, что открыл ему Шемс, было иным, совсем новым знанием…»

–

Что же это был за мир, куда позвал Джалалиддина его таинственный друг, каким знанием он наделил его?

Никому неведомо, о чем говорили они в своем уединении. Как видно из его слов, не ведал этого и сын поэта. Но в течение года с лишним по приказанию Джалалиддина все рассказы и изречения, каждое слово Шемседдина, сказанное публично, записывалось «писарями тайн». Эти записи затем составили книгу «Макалат» («Беседы»), которая в списках дошла и до наших дней. Книга эта осталась в черновиках, в списках много разночтений.

Да и слова и образы, которые употребляет Шемседдин, весьма туманны, аллегоричны. Он сам сознавал это. «Ни повторить, ни следовать моим словам не в силах подражатель, — говорил он. — Они темны и сложны. Могу их повторять сто раз, и каждый раз в них обнаружится иной смысл. Меж тем главный смысл остается девственно-непорочным, никем не понятым».

В какой-то степени туманность его речей вынужденная. Он не высказывает прямо своих мыслей, опасаясь преследований духовенства, неусыпно стоящего на страже казенных догм.

Но все же изречения Шемседдина Тебризи и свидетельства самого Джалалиддина, запечатленные в его стихах, позволяют сделать определенные выводы.

Шемседдин с иронией отзывается об ученых. Схоластическая, книжная ученость, по его убеждению, полезна лишь для того, чтобы выяснить ее бессилие. (Помните слова Джалалиддина: «Ученые наших дней умеют на сорок частей расщепить каждый волос в своих науках, а главного, того, что для них важнее всего, — не знают!»)

С не меньшей резкостью отзывается Шемседдин об улемах и факихах, сделавших веру своей профессией, и о суфийских шейхах: «Шейхи и суфии — разбойники с большой дороги веры». Подобно тому как ученые превратили в цель науку, шейхи и богословы превратили в цель веру. В руках ученых и улемов наука и вера стали «завесой, скрывающей истину». Ибо ни вера, ни наука — не цель, а только средство.

А что же цель? «Все на свете жертва человека, — говорил Шемс, — только человек — жертва самому себе». Что совершенно естественно для человека его времени, он искал подтверждения своим мыслям в Коране. Там в суре семнадцатой, в стихе семидесятом говорится: «Мы почтили сынов Адама». «Господь, — продолжал Шемс, — изволил почтить не престол и не небеса, не так ли? А потому достигнешь ли ты седьмого неба или седьмой глубины земли — что с того толку? Нужно полюбить обладателя сердца, стать помощью ему. Человек, познавший себя, познал все». (Помните, у Джалалиддина: «Ты стоишь обоих миров, небесного и земного. Но что поделать, коль сам ты не знаешь себе цены?»)

И еще говорил Шемседдин Тебризи: «Лица всех людей повернуты к Каабе. Но убери Каабу, и станет ясно: все они поклоняются сердцу друг друга. В сердце одного человека — поклонение сердцу другого. А в сердце этого другого — поклонение сердцу первого».

Цель — человек. Но отнюдь не всякий, не любой человек. Тот, кто занят лишь своими собственными нуждами и интересами, не

подымается над каждодневной суетой по обеспечению самого себя жизненными благами, — сам становится завесой к собственной сущности как человека. (Помните: «Ты можешь забыть все на свете, кроме одного: зачем ты явился на свет. Не продавай себя задешево, ибо цена тебе велика!»)

Цель — совершенный человек. Но кто для Шемседдина человек совершенный? Тут он опять обращается к Корану, к религиозному преданию: «Весь молебенный чин посланника Аллаха был лишь самозабвением».

Человек, познавший себя и забывший о себе. Вот, что такое для Шемседдина Тебризи совершенный человек.

Шемседдин, подобно многим суфийским мыслителям, придерживался монистического взгляда на мир, то есть был убежден в его единстве. Но, пожалуй, как никто из мыслителей того времени, делал из этого убеждения крайние, решительные выводы. И потому, познакомившись со всеми толками и школами суфизма, не примкнул ни к одной из них. «Все ссылаются на своего шейха, — говорил он. — Я же пью воду из самого источника… Вкратце слово мое сводится к следующему: если бы стало явным то, что во мне сокрыто, весь мир окрасился бы одним цветом, не стало бы ни меча, ни горя».

Все сущее, считал Шемседдин, есть проявление божественного универсума. Совершенный человек — цель, венец творения. Отсюда он делает еще один шаг: познавший себя и в самозабвении слившийся с миром человек равен богу. (Помните: «О те, кто взыскуют бога! Нет нужды искать его, бог — это вы!»)

Если довершенный человек богоравен, то священно всякое стремление человека к самосовершенствованию, к самоотдаче, самозабвению в труде, в любви, в поклонении совершенному человеку. Шемседдин прямо говорит о том, что люди не разделяются по богатству, знатности, положению и даже по религии. Для него они все — люди. «Покажи мне неверного! — восклицает он. — И я склонюсь перед ним. Назови меня неверным, я поцелую тебя. Неверие — в правоверии, а правоверие — в неверии».

Вот в каком смысле следует понимать слова Веледа о его отце: «И стало для него все едино: что низкое, что высокое».

Таково вкратце то новое знание, которое открыл Джалалиддину Шемседдин Тебризи и которое стоило ему самому жизни. Его пантеистические, гуманистические идеи, без сомнения, питались настроениями и интересами трудовых масс и в первую очередь ремесленников, объединенных в религиозные братства ахи. Но ахи с их уставами тоже узки для Шемседдина своей традиционной ограниченностью. Их братство, говоря его

языком, завеса перед всеобщим человеческим братством. Именно цеховая ограниченность и не позволила ремесленникам вопреки их собственным интересам поддержать антифеодальное крестьянское восстание Баба Исхака.

Вот почему Шемседдин ушел от своего шейха, вязальщика корзин Абу-Бакра, и, хоть не порывал связей с ахи и даже пользовался их поддержкой, понимал, что его идей они разделить не в состоянии. Собственно говоря, никто в целом мире, ни один человек до той поры не разделял его взглядов. «Не встретился мне такой человек, — говорил Шемседдин. — Не смог я его найти и обрел его только в Мевляне».

Шемседдин раскрыл таившиеся в Джалалиддине неведомые дотоле ему самому силы.

«Наглухо закрыта дверь была. Распахнул ее великий падишах в человеческой одежде, показался на пороге».

Придавленные тройным гнетом — богословскими авторитетами, освященными Султаном Улемов, книжной ученостью, подтвержденной дипломами дамасских и халебских шейхов, суфийским самосовершенствованием, пройденным под началом Сеида Бурханаддина, — эти силы оказались настолько громадными, что не иссякли, напротив, обрели взрывчатую мощь, скопившись, как пар под давлением в кипящем на огне котле.

Шемседдин первым увидел эти силы, приоткрыл крышку. И тогда на весь мир зазвучал голос бубна в сердце Джалалиддина, тот голос, который он жаждал услышать долгие годы.

Слезы и стенания сменились гимнами радости быть совершенным человеком. Гордостью за него. Верой в его величие и всемогущество.

Из моря неверия ты добыл жемчужину веры.
Рай ты обрел, хотя сам ты — в аду.

Прежде Джалалиддин постоянно был погружен в чтение священных книг, богословских трактатов, суфийских стихов.

Шемседдин, сам не чуждый книжной образованности, видел: его друг постиг всю ученую премудрость времени. Здравым смыслом простолюдина он понял: как многим ученым мужам, книги заслонили Джалалиддину окно в мир, живую жизнь духа облекали они в саван мертвых догм. И потому, увидев его с книгой отцовских поучений или диваном любимого арабского поэта Мутаннаби, он кричал как одержимый:

— Не читай! Не читай! Не читай!

Шемс упорно отвращал его взор от созерцания месяца, отраженного в тазу, указывая на месяц в небе.

Шемседдин возмущался раболепием богословов перед авторитетами, их слепотой перед живой жизнью, страхом перед свободным чувством и мыслью: «На что нам мертвый бог, коль есть у нас живой».

Будь известно в те времена это слово, евнухи мысли назвали бы его нигилистом. Но они называли его «предерзостным невеждой». И в течение семи с половиной веков эти обвинения Шемседдина Тебризи в невежестве перекочевывают из одной книги в другую. Почти никто из ученых мужей вплоть до наших дней не удосужился их проверить, разобраться в первоисточниках.

На суфийских беседах Шемседдин, сидя в дальнем углу, большей частью молчал. Знал он: стоит высказать ему свои мысли, и его объявят еретиком. Но как-то, слушая бесконечные ссылки на хадисы, на изречения шейхов прежних времен, на рассказы о чудесах святых, он не выдержал и крикнул из своего угла:

— Доколе же будете вы проводить время, повторяя слова такого-то, изречения эдакого-то?! Где же, наконец, слова, что были бы по сути вашими?

Тягостное изумленное молчание воцарилось в ханаке. И случай этот произвел на современников такое впечатление, что его занесли во все жития и хроники.

Джалалиддин неспроста величал своего друга «Султаном Нищих». И по духу своему, и по повадкам был он чужд велеречивой обходительности, скрывавшей непомерное тщеславие, медоточивой вежливости, за которой таился яд корысти, — всему обиходу, всему кругу богословия его времени. Прямой, резкий, он по самой сути своей был простонароден. Он открыл Джалалиддину новый огромный мир.

Прежде Джалалиддин поучал мюридов, давал фетвы правоверным, читал проповеди, наставлял учеников, дискутировал с улемами.

Теперь молитвы и проповеди сменились стихами и музыкой, стенания и плачи — песнями и плясками. Прежде был он постоянно скорбен, голова понуро опущена. Стал он весел с лица, радостно упоен, беспредельно счастлив. Книг почти не брал в руки. Их сменили най и ребаб. Поучения, фетвы и диспуты были заброшены.

От всего он отказался ради музыки и стихов, ради сэма вместе со своим другом. Впрочем, Джалалиддин сам сказал об этом лучше всех:

Я, как Меркурий, падок был до книг.

Я перед писарями восседал.
Но опьянел, увидевши твой лик,
И перья тростниковые сломал.
Слезами рвенья и труда свершая омовенье,
Твое любимое лицо я сделал кыблой для моленья.
Коль жив останусь без тебя,
Спали, спали меня дотла.
И голову с меня долой,
Коль разум будет в ней не твой.
Я в Каабе, в церкви и в мечети молюсь тебе.
Ты — цель моя там, в небесах, здесь, на земле.
Вкусил от хлеба твоего — и сыт, как никогда.
Хлебнул глоток твоей воды — и не нужна вода.
Кого ты сам боготворишь, тот и тебе цена.
Как счастлив, счастлив я, тебя боготворя.

Бескрайний мир с красками, запахами, живыми людьми и страстями, столько лет отделенный от Джалалиддина пропыленными страницами книг, глухими стенами медресе, обрядами, молитвами и построениями схоластов, вдруг разом открылся ему.

Безмолвствуют погруженные во тьму улицы города — ночью горожанам запрещено выходить из домов. Мерцают звезды. Грохочет гром. Благоухают сады. Высятся непроходимые горные вершины. Шумят базары. Крадутся в толпе воришки. Стучат молоточки золотых дел мастеров. На крепостных башнях торчат отрубленные головы. Надменно закручивают усы беи. Падишах требует подношений. Горят захваченные монголами деревни. Женщины глядят из-за решеток гаремов. Рабам, чтоб их мог опознать хозяин, клеймят лбы. Скрипят перья писцов в султанских диванах. Несутся вслед за дичью соколиные охоты. Красуются на стеклах бань цветные рисунки. Заманивает мальчиков в ханаки развратная дервишская братия. Лицемерят шейхи. Влюбленные, не вынимая из ноги шипа, спешат на свидание. С пеной у рта бранятся богословы, точно продавцы ослов на базаре. Каждый кричит свое, все шумят, галдят, а цель у каждого одна — подороже продать осла своей учености. Пригревшись на солнышке, в забытьи сидят суфии. Бражничают в кабаках воины, дерутся на улицах гуляки. Стучат на свадьбах барабаны и поют зурны. Играют в шахматы и в кости купцы. Зазывалы расхваливают благовония дальних стран. Попугаи повторяют слова мудрецов. Принимают клиентов продажные арфистки. Вертятся водяные и ветряные мельницы. Скачут за

мячом игроки в поло. Мрут от голода крестьяне. Раздуваются паруса нагруженных кораблей. Гарцуют на палках уличные мальчишки. Плещут крыльями султанские почтовые голуби. Над шатрами военачальников развеваются знамена. Юродивые, спасаясь от камней, переворачивают на рынке лотки. Бедняки заедают хлеб мятой. Толпа в панике давит людей. Нищие собирают губами с расстеленного платка сухие крошки. Служители обмывают мертвецов в мечети. Учитель бьет по пяткам нерадивых учеников. Бессердечный забывает о друге, как о косточке, застрявшей меж зубами и выброшенной на помойку. Заплетаются языки у пьяных. Невежды шумят, кипят, как морская пена. Познавшие молчат, как море: вразумлять бестолковых так же бессмысленно, как чесать скалу. Одни опьянены умом, другие — безумием.

Весь мир, всю окружающую его жизнь запечатлел он в своих стихах. И его поэзия донесла эту жизнь в мельчайших подробностях до наших дней, как море выбрасывает на берег запечатленные в прозрачном янтаре существа, жившие миллионы лет назад.

Но он не утонул в деталях, не погряз в подробностях — не они были целью его поэзии, как не утратил ничего из своей образованности, превратившись из проповедника в поэта. Его цель — совершенный человек.

Такие люди — хозяева мира. Если они отправляются в путь, луна и солнце служат им подушкой. Взнуздают они своих коней, — и седьмое небо становится их ристалищем. Из звездных чаш вкушают они вино. Лишь в справедливости ратуют они друг с другом. Их лица веселей розы. Они свободней тополя. Их захлестывают волны крови, но их одежды сияют чистотой. Они все в шипах, но светел их лик. Они узники, но бродят, как бродит вино. Их сжигает адский пламень, но они с улыбкой дарят рай тем, кто в нем нуждается. Все в их власти, но они ни в ком не нуждаются, никому не молятся. Они и в грош не ставят султанов с бунчуками и знаменами. Им не нужны рукоплесканья. Будь их хоть тысяча, все они — как один. В небе одна луна и одно солнце, а в их небесах бесчисленное множество и лун и солнц. В каждой стране бывает один падишах, в их городе все падишахи. Нет там ни кадия, ни мухтасиба, ни начальника стражи, ни палача. Не знают они ни гордыни, ни ненависти. Поклоняются только друг другу. Один-единственный повелитель в этом городе, он живет в каждом сердце: любовь.

Таков для поэта идеал свободного человека. Этот идеал не абстрактен, он не опрокинут в прошлое — в некогда утраченный рай, и не отнесен в необозримое будущее — в рай грядущий на

том свете.

Совершенным может быть каждый, и потому каждый человек священен. Возможно, вот этот нищий, лежащий под дувалом. Или вон тот мастеровой, тачающий сапоги. Или даже раб с клеймом на лбу.

В любое время, в каждую эпоху есть такие люди, в них бьется сердце мира. Но их совершенство не всякому, не сразу видно. Для этого нужно обладать зрячим сердцем, быть под стать совершенному.

Шемседдин, заново открывший для него мир, научивший его новому взгляду на человека, естественно, стал для поэта первым воплощением его идеала. Шемс — по-арабски значит «солнце». И поэт называет своего друга «падишахом, который сам военачальник и сам войско — войско солнца и света».

«Когда восходит солнце Шемса, исчезают все тени; когда является слово Шемса, меркнет в его лучах солнце в зените».

Шемседдин становится для поэта «тайной тайн бытия».

Но и сам поэт в глазах Шемседдина — совершенный человек, в нем бьется сердце мира. Увидев в друге то, что никто до сих пор не видел, Джалалиддин сделал сокрытое в нем явным. Джалалиддин обладал тем, чего недоставало самому Шемседдину, — даром выражения невыразимого. И они стали неразделимы, как неразделимы мысль и слово, сущность и явление. Отныне они больше не существовали каждый в отдельности.

После гибели друга Джалалиддин как-то сказал: «Никто не может понять нашего единства, ни в чьем воображении оно не вмещается. Я говорю: «он», но разделить нас можно только на словах, ибо нет ни его, ни меня. Мы единая жемчужина обоих миров. Мы неразлучимы. Не может человек, даже если он обойдет всю землю или вознесется на небо, расстаться с самим собой. Единица не поддается перечислению».

Превратив Джалалиддина в своего единомышленника, Шемседдин направил его на иной путь — свободного раскрытия своего внутреннего мира, которое одновременно стало и выражением сути самого Шемседдина.

Этим путем было сэма. Музыка, пляска приводили Джалалиддина в то вдохновенное состояние, в котором сами собой рождались самозабвенные стихи. Шемседдин Тебризи сделал его поэтом.

Освободив от постоянного гнета самоограничения духовные силы Джалалиддина, его друг, не считаясь с тем, что о нем подумают, оберегал его внутренний мир от бесцеремонного вмешательства, дорожил, как самым важным на свете богатством,

временем поэта. Он сидел у дверей медресе и останавливал каждого, кто хотел повидаться с Джалалиддином.

— Мевляна дарует тебе благодать, — говорил Шемс. — Ну а ты с чем пришел к нему, что несешь ему в благодарность?

Один из шейхов, возмутившись непочтительностью Шемса, крикнул:

— Спрашиваешь, что мы принесли, а сам ты что ему дал?

— Я принес ему себя, — не возвышая голоса, ответил Шемс. — Ради него я пожертвовал головой.

Слова эти оказались пророческими.

РАЗЛУКА И СВИДАНИЕ

Перемены, происшедшие с молодым, но почтенным шейхом, ученым мударрисом, уважаемым проповедником, были просто неслыханны. Его поведение бросало тень на все духовное сословие. Не только улемы и факихи, даже суфии, славившиеся своей терпимостью, были на сей раз выведены из себя. И больше других роптали его собственные мюриды. С какой стати, дескать, шейх отвернул от них свой лик. Ведь все они были людьми прославленными, сызмальства взыскующими бога. «Не каждому уху доводилось слышать то, что слышали мы от шейха, — сетовали они. — Не каждому понятны его слова. Мы были верны шейху, как рабы его. Залучил он нас в свой силок, точно соколов, и много добычи принесли мы ему. Благодаря нам он прославился, благодаря нам умножились его друзья, сгинули его враги. И кто такой этот Шемс, что свалился на нашу голову невесть откуда? Дервиш без роду, без племени. Уж не чародей ли он, сглазивший Мевляну, околдовавший его? Простонародье осталось без проповедей, мы — без поучений. Все лишились сердца своего. А этот невежда и грубиян уселся перед его дверью, как пес, как монгольский наместник, и спрашивает охранную таблицу — пайдзу, на то, чтобы увидеть лицо Мевляны?!»

Шемседдин видел и слышал все. Но его новый друг в своем упоении миром ничего не замечал.

Зимой брат великого государева вельможи Каратая построил на свои пожертвования медресе и в честь этого события повелел собрать в нем богословов и шейхов Коньи. Бывший раб-вольноотпущенник, грек по рождению, Каратай дослужился до наместника престола. Как многие неофиты, принявшие новую веру, был он до крайности набожен и благочестив. К Султану Улемов и его сыну благоволил, поддерживал Джалалиддина, когда улемы отказались признать в нем наследника отцовской

святости. Отказаться от приглашения — означало оскорбить вельможу. В то же время приглашение Каратая, чье доброжелательство было обеспечено, давало удобный случай представить просвещенному обществу Коньи Шемседдина Тебризи.

Они явились в медресе вместе. Джалалиддина тотчас же увели вперед, посадили на самое почетное место рядом с кадием Сираджиддином и самим Каратаем. А Шемс остался среди народа у двери, там, где снимают обувь.

По обыкновению на подобных собраниях выдвигался для диспута какой-нибудь вопрос, чтобы каждый из богословов и ученых мужей мог показать свою образованность и мудрость. Таким вопросом на сей раз был избран красный угол, то есть вопрос о том, какое место, какой угол в собрании самый важный. Вопрос для того времени не такой бессмысленный, как может показаться на первый взгляд.

–

Мы знаем, какие баталии вплоть до рукоприкладства и смертоубийства разворачивались из-за места в боярской думе на Руси. «Не место к голове, а голова к месту» — в этой пословице уже заключена простонародная критика местничества. От того, где сидеть, зависели личная честь, честь рода, общественное положение человека.

Местничество было выражением сословно-иерархического устройства феодального общества. И естественно, что вопрос о месте немало занимал его идеологов, каковыми были служители культа.

–

Один за другим вставали улемы и шейхи, ссылались на Коран, приводили легенды о пророке, цитировали авторитеты, прибегали к хитроумным логическим построениям, чтобы доказать преимущество одного места перед другим. Но почти на каждую цитату из Корана, на каждую легенду или изречение находились противоположные цитаты, свидетельства или легенды.

Спор затянулся. Глядя в сторону дверей, где сидел Шемседдин, поэт копил в себе тоску и ярость. Но не подавал вида, ожидая своей очереди. Наконец она подошла.

— Для ученых улемов главное место — помост посредине медресе, ибо там сидят мударрисы. Для познавших арифов главное место — угол в ханаке, ибо познание стоит для них во главе угла. Для суфиев главное место там, где снимают обувь, ибо взыскующих истины украшает скромность. А для влюбленного — ашика главное место — рядом с любимым.

С этими словами он встал и направился к дверям. Толпа расступилась. И все увидели, что сын Султана Улемов, почтенный шейх и ученый, сел рядом с безродным пришельцем, успевшим снискать себе дурную славу.

После минутного замешательства за Джалалиддином последовали его сын Велед, золотых дел мастер Саляхаддин, «писарь тайн» Хюсаметтин и несколько мюридов. Остальные остались на своих местах.

Шепот недоумения прокатился по медресе.

Первым опомнился ученик шейха Садриддина. Перекрывая гул голосов, он крикнул язвительно:

— А любимый-то где?

Нет глаз у тебя, чтоб увидеть ты мог:
Он — это ты с головы и до ног! —

возгласил Джалалиддин и покинул собрание.

Весть о поступке Джалалиддина распространилась по городу и достигла вельможных особняков и дворцовых палат. Негодованию беев не было предела. Мало того что наглый пришелец сбил с пути видного улема и они, словно продажные танцовщицы, пляшут и поют дни и ночи напролет, бросая вызов всему духовному сословию, оскорбляя чувства приличия и благопристойности. Теперь они смеют посягать на завещанный предками и освященный богом порядок вещей. Так, пожалуй, все пойдет вверх дном: да простит нам Аллах сии дерзкие слова, на троне будут сидеть бедняки, а вельможи и беи у дверей их. Достаточно нам было богомерзких речей и подстрекательств грабителя Баба Исхака, чтоб терпеть такую подлую крамолу в самой столице.

Напрасно пытался успокоить их Каратай. Дескать, арифы — народ самозабвенный, мало ли чего скажут, когда на них найдет. А мир, мол, стоит, как стоял от века. Недаром говорится: «Сколько ни тверди «халва», «халва», во рту сладко не станет».

Дело приняло скверный оборот. Стоило Шемсу показаться на улице, как его прямо в лицо осыпали бранью и знатные воины, играя желваками, хватались за рукояти сабель.

Джалалиддин надеялся, что все образуется, да и Каратай не

даст в обиду — как-никак в те годы он был одним из двух самых могущественных людей державы.

Но Шемседдин видел острее, чем его друг, только что вышедший из полутьмы медресе и ослепленный открывшимся ему светом. В этом мире, где единство осуществляется лишь через борьбу противоположностей, любовь неотделима от ненависти. И чем бескорыстней любовь, тем большую ненависть корыстолюбцев она навлекает. У него был опыт: и своего сословия, и свой собственный, личный.

Годы спустя, когда к Джалалиддину обращались с жалобами на несправедливость и утеснения старейшины ремесленников, ученые, музыканты, он, стараясь помочь как мог, предостерегал, однако, от иллюзий, которые в тридцать девять лет еще имели власть над ним самим, и любил повторять древнюю народную мудрость:

Тебя утесняют, тебя оскорбляют?
Ну что же, таков этот свет.
Побивают камнями плодовое дерево тоже.
Бесплодное — нет.

За эту мудрость он заплатил страшной ценой: жизнью своего великого друга и смертью сына, который сам вычеркнул себя из списка людей живых и мертвых.

Шемседдин понимал: чтоб улеглась ненависть и миновала опасность, прежде всего нужно время. Он должен исчезнуть из Коньи.

Но для Джалалиддина даже мысль о разлуке была непереносима.

О друг, душа нашей души, ты без меня не уходи!
О небо, не вращайся без меня. О месяц, без меня ты не свети.
Земля, не оставайся без меня. О время, без меня не уходи.
С тобой мне мил и этот мир и тот. Не оставайся в мире без меня.
И в мир иной ты без меня не уходи.
О повод, без меня не взнуздывай коня. О губы, вы не пойте без меня!
Глаза, вы не глядите без меня. Душа, не уходи ты без меня.
Светла в ночи одна луна, твоим сиянием полна.
Покуда ты следишь за мной, бегу перед твоей клюкой,

Как мяч, что гонят игроки. Из глаз меня не упускай.
Ты без меня коня не погоняй. Ты без меня не уходи!

–

Мы не знаем, что говорил Шемс, какие он приводил доводы, чтоб убедить своего друга. Ясно одно: остаться вновь в одиночестве после того, как ему выпало счастье обрести единомышленника и друга, который стал его второй ипостасью, казалось Джалалиддину страшнее смерти. И даже, согласившись рассудком, он сердцем не может примириться с разлукой.

Как сладостная жизнь, намерен ты уйти. Но не забудь о нас.
Ты оседлал коня разлук нам вопреки. Но не забудь о нас.
Ты преданных друзей найдешь под небом этим.
Но с прежним другом связан ты обетом, не забудь.
Когда послужит для тебя подушкою луна,
Что на коленях у меня лежала голова твоя, не позабудь.
Своей любовью, как Фархад, я прорублю разлуки горы.
Но тех, кого ты покорил своей красою, как Ширин, не позабудь.
В садах любви на берегах моих очей, что стали морем,
Цветенья августовских роз, шафрана ветви не забудь.
В тот день, когда твое лицо, о Шемс, моим очам предстало,
Любовь моею верой стала. Ты — слава этой веры, не забудь.

–

Однажды ранним утром, ни с кем не попрощавшись, чтоб не бередить раны друзей, не радовать врагов и не наводить их на след, так же тайно, как явился, Шемседдин Тебризи исчез из Коньи.

Со слов поэта один из «писарей его тайн» записал: «Бесценный учитель, глашатай добра, суть душ, свет Истины для тех, кто явился прежде него и явится после него, — да продлит Аллах его дни и дарует нам благополучную встречу, — ушел двадцать первого шавваля шестьсот сорок третьего года».

21 шавваля 643 года хиджры — это 15 февраля 1246 года. Всего пятнадцать месяцев и двадцать пять дней пробыли они вместе. Слова Джалалиддина говорят о том, что расставались они не навсегда. Хоть никому на свете, даже другу своему, не сказал Шемс, куда он направляет свои стопы, поэт был уверен, что он даст ему о себе знать.

Целый месяц друзья и враги, а больше враги под видом друзей искали его следы, но без успеха. За долгие годы странствий и знакомств со всеми религиозными школами, суфийскими сектами, народными движениями и ремесленными братствами Шемседдин научился скрытности.

Напрасно, однако, надеялись улемы, дервиши и стоявшие за ними беи, что, как только не станет Шемседдина, Мевляна образумится и вернется на круги своя.

За исключением нескольких учеников, которые вместе с ним примкнули к Шемседдину, признали его — а это были прежде всего мастеровые, братья-ахи, — Джалалиддин никого не желал видеть. Он сшил себе темно-лиловую ферадже из ткани хиндибари, которую носили в знак траура. Заказал высокую шапку цвета меда, крест-накрест повязал ее короткой чалмой, сшил мягкие, как у Шемса, сапожки, удобные для плясок. В знак горя ходил в расстегнутой на груди рубахе. После смерти поэта его сын Велед, основавший дервишский орден, сделал эту одежду обрядовой.

Никогда больше не поднимался Джалалиддин на помост медресе, не выходил на кафедру мечети. Поэтические и музыкальные собрания стали той трибуной, с которой возглашал он свою новую веру.

Позднее, когда поддержка народа вынудила даже сильных мира сего склониться пред мощью его поэтического дара, Джалалиддина не раз приглашали и в султанские дворцы, и в палаты вельмож. Он иногда принимал приглашения. Но не затем, чтобы получить подачку или кормление, подобно современнику своему Кани, который употребил свой версификационный талант на восхваление падишахов, их правления и их придворной черни.

Однажды Кани осмелился непочтительно отозваться о поэте Санайи: дескать, не считает его правоверным мусульманином. Джалалиддин, чтивший Санайи как своего духовного учителя, не выдержав, осадил его:

— Закрой свой рот! Если б мусульманство могло увидеть величие Санайи, у всех правоверных с головы слетели бы шапки. Вот ты, и правда, всего лишь мусульманин, как тысячи тебе подобных!

Джалалиддин шел к власть имущим, чтоб заступиться за

бедняков, за своих последователей, когда им приходилось туго. И чтоб напомнить: падишахи тоже смертны и так же подлежат суду истины, суду потомков.

Джалалиддин знал древнюю мудрость: «Если хочешь повелевать людьми, забудь, что ты сам человек». Но он постиг также, что даже нелюдь, которой ненавистна человечность, до конца никогда не может стать свободной от нее. И потому обращался не к человечности власть имущих, а к их всечеловеческой слабости — желанию себя увековечить и обелить в лице потомков.

–

Шли месяцы. Собрания Джалалиддина становились многолюдней. Золотых дел мастер Фаридун Саляхаддин, тот самый мастер родом из деревни Камил, о котором говорил Шемсу крестьянин на бахче, с которым Джалалиддин ездил в Кайсери на могилу Сеида, у которого уединился с Шемсом после их встречи, стал приводить людей своего цеха. Хасан Хюсаметтин, сын старейшины всех ахи Коньи, отказался от своего поста и сделался «писарем тайн», занося на самаркандскую и багдадскую бумагу стихи учителя. За ними потянулись братья ахи, испившие соленой воды из «чаши верности». Они не стали ни дервишами, ни суфиями и продолжали заниматься каждый своим ремеслом. Не будь их добровольных пожертвований, порой равнявшихся их заработку, не было бы такого поэта, как Джалалиддин Руми: без них не смог бы он существовать, кормить семью и содержать учеников.

Но разлука все невыносимей терзала Джалалиддина.

Нет у меня ни веры, ни ума.
Нет больше ни покоя, ни терпенья.
Приди скорей, приди, приди!

Какой огонь мне сердце жжет.
И отчего лицом я желт,
Не могут выразить слова,
Увидишь сам. Приди, приди!

Румян, как хлеба каравай,
Созрел я на твоем огне.

Я почернел, я зачерствел
И раскрошился по земле.
Из крох меня ты собери.
Скорей приди, приди, приди!

Как зеркало, твои черты
В себе я отражал.
Я заржавел, я камнем стал.
Взгляни скорей, приди, приди!
Как в русле мечется вода,
Мечусь туда, мечусь сюда:
Засадою вокруг разлука.
И каждым утром в час рассвета
Пишу тебе на крыльях ветра
Пером отчаянья: приди!

Пусть в мыле голова твоя,
Не медли, мыла не смывай.
Пускай в шипах твоя стопа,
Не медли, их не вынимай.
Из ада слов: «Приди, приди»
Спаси меня. Приди, приди!

«Приверженцы шариата, слепые сердца и самовлюбленные, спесивые невежды, — писал через полвека после Джалалиддина хронист Афляки, — разверзли уста для поношения и принялись распускать слухи. Жаль, говорили они, что такой тонкий ученый, как наследник Султана Улемов, от плясок и пения, постов и утеснения плоти повредился в уме. И все это вышло из-за злостного тебризца».

Джалалиддин ответил стихами:

Если бы подобное безумье
На Платона Мудрого напало,
Кровью алой стал бы книги он стирать.
На меня нашло безумие такое,
Что безумцы все сбежались вразумлять.

Меж тем мюриды, возмущавшиеся новой верой своего шейха и его дружбой с Шемсом, увидели, что вокруг поэта стали собираться новые последователи из простонародья, а они

остались без шейха, без защиты его авторитета. И по совету султанского вельможи, а впоследствии великого визиря Сахибаата, чтобы Джалалиддин совсем не отбился от рук, явились к нему с повинной и, каясь, просили прощения.

–

Художники и поэты, проникающие в тайны тайн человеческого сердца, ученые, открывающие законы вселенной, как ни странно, часто оказываются наивными и беспомощными перед лицом хитрости, плоской интриги. Тем, кто занят открытием мира, трудно до конца представить себе мелочность интересов и низменность причин, которые движут бездарными ничтожествами. Для последних — хитрость, коварство, интриги, двуличие — что вода для рыбы. Здесь они в своей стихии, здесь то единственное поприще, на котором они достигают высокого профессионализма.

Джалалиддин от чистого сердца простил всех до единого.

Но возвращение прежних друзей не заглушило его скорби.

Нет страсти такой ни в одной голове.
Ни на кого я не в силах глядеть,
Словно я отделен от людей,
Словно сам я не человек…

–

Минул ровно год, как Шемс исчез из Коньи. Холодным февральским утром в дом поэта постучал оборванный, продрогший дервиш, судя по испитому лицу и одежде, принадлежавший к самым буйным, ни в какие уставы и секты не вмещавшимся дервишам-каландарам.

Поклонившись, он вручил поэту свернутое в трубку письмо.

— Хатун! Хатун! — прокричал Джалалиддин. — Благая весть! Соберите все, что есть в доме! Благая весть!

С этими словами он сорвал с себя ферадже, снял с ног сапожки.

Его крик переполошил весь дом. Первым выскочил пасынок Яхья. Заплакала недавно родившаяся дочь Мелика. Кира-хатун, подхватив ее на руки, вышла на мужскую половину. За ее шальвары цеплялся четырехлетний Алин. Не выдержала и

воспитанница поэта Кимья: хоть стала уже невестой, выглянула из двери. Ее круглым от изумления глазам предстала странная картина.

Мевляна в одних носках, шароварах и рубахе своей рукой надел свои сапоги на страшного лицом незнакомца, облачил его в свое лиловое ферадже.

Пришельцу подали еду. Джалалиддин глядел, как лепешкой, точно совком, черпает он похлебку из простокваши с мукой, как берет тремя пальцами из пиалы горстку риса, скатывает шарики и кладет в рот. Глядел таким проникновенным взглядом, с такой любовью, будто перед ним был самый дорогой на свете человек.

Письмо, которое вручил каландар, было написано рукою Шемседдина.

Дервиш, по его словам, пришел из Дамаска. Но сколько ни повторял он, что и в лицо не видел Шемседдина, поэт ему не поверил. Счел, что тот выполняет обет не выдавать местопребывания Шемса.

Дамаск! Значит, вот где нашла убежище душа его души?!

Джалалиддин тут же написал ответ.

Наутро, едва путник свершил омовение, он вручил ему вместе с ответом все собранные в доме деньги и попросил немедленно пуститься в обратный путь, чтоб передать письмо Солнцу его жизни.

Посадив путника на мула, он проводил его до городских ворот и долго глядел со стены, пока тот не скрылся из глаз.

–

Еще два письма, одно за другим, отправил он вслед. Первое с торговцем кожами, который направлялся в Дамаск, чтоб передать его в руки тамошнему шейху ахи, второе — со своим мюридом.

Но ни на одно не получил ответа.

Тогда он призвал к себе сына Веледа. Вручил ему еще одно письмо и кису с деньгами, которые собрали среди своих людей золотых дел мастер Саляхаддин и «писарь тайн» Хюсаметтин.

— Ты отправишься послом моим. Высыплешь деньги к его ногам и скажешь от имени моего, что замышлявшие против него раскаялись, пусть, мол, явит благоволение и вернется.

Велед приложил письмо ко лбу, потом к груди и, поклонившись, ушел, чтоб тотчас начать сборы.

В письме, которое дал ему отец, говорилось:

«…Клянусь богом, с той поры, как ты отправился в путь, я истаял, точно свеча, что горела всю ночь напролет. Воск мой

сгорел без остатка, весь обратился в огонь. Вдали от лица твоего мое тело — развалина, и в этой развалине дух мой — ночная сова. К нам поводья свои поверни, и пускай слон веселья и счастья хобот свой протянет сюда. Здесь без тебя каждый день побивается радость камнями, как будто она — сатана. Ни единой веселой и внятной строки с моих губ без тебя не слетело. Лишь услышав слова, что в письме своем ты написал, я на радостях пять-шесть газелей сложил. О Солнце, тобою гордится Армения, Рум и Дамаск! Озари, наконец, сумрак ночи зарею рассвета!»

–

Велед отправился в путь с двадцатью верными людьми. «Не ведая усталости, пересекал я долины, — вспоминал он не без самодовольства на старости лет. — Одолевал горы, точно соломенные снопы. Колючки на дорогах казались мне розами. В каждой тяготе видел я тысячи выгод. Зимний холод казался мне сладок, как сахар, летний зной — освежителен, словно персик».

В его ушах еще звучали стихи, которыми отец напутствовал их в дорогу:

О, ступайте скорей и найдите,
Приведите любимого друга домой.
Луноликого к нам заманите
Сладкой речью и песнью златой.
Его слово могуче и зрело,
Может реки он вспять повернуть.
Обещаньям его и отсрочкам
Не давайте себя обмануть.
Лишь бы он подобру-поздорову
Возвратился и в дверь постучал.
И тогда вы узрите такое,
Что ни разу сам бог не видал…

В Дамаске, однако, Велед не нашел Шемседдина. Не было его ни в медресе и ханаках, расположенных вокруг громадной мечети Аббасидов, ни в караван-сараях знаменитого на весь мир «сука» — дамасского базара.

После долгих поисков и расспросов шейх ахи, знавший Веледа по годам его учения в Дамаске, сказал наконец, что может передать письмо Мевляны.

Шемседдин, оказывается, надежно укрылся от вражеской ненависти среди мастеровых Халеба, того самого Халеба, который

неделю назад, не останавливаясь, миновал Велед.

–

Когда Шемс в дорожном бухарском халате и короткой чалме появился в дверях медресе, где остановился Велед с мюридами, конийские гости пали перед ним ниц, как перед падишахом.

При виде монет, рассыпанных по настоянию Мевляны у его ног Веледом, Шемс улыбнулся:

— Неужто бессребреник Мевляна решил соблазнить нас серебром да золотом? Если б мне сообщили, что мой отец восстал из могилы и явился под стены Халеба в деревню Теллибашир, чтоб повидаться со мной и снова умереть, я бы ответил. «Что поделать, пусть умрет!» Но не тронулся бы с места. А чтоб повидаться с Мевляной, пришел вот!..

Мевляна наказал заманить Шемса «сладкой речью, песнею златой». И хоть в этом, как выяснилось, не было нужды, Велед во что бы то ни стало решил исполнить его наказ. В знак радости устроил он в честь Шемседдина многодневное сэма.

Меж тем Мевляна в Конье сгорал от нетерпения.

Око мое дрогнуло — друг ли мой идет?
Сердце мое прыгнуло: возлюбленный идет.
Заложи себя и душу, если ты банкрот;
И купи вина и чашу, возлюбленный идет.
Ухо ожидания весть благую пьет.
Око сквозь рыдания возлюбленного ждет.
Войска любви развернули строй.
Что же мы сидим? Падишах идет!..

Наконец Велед вместе с Шемседдином тронулся в обратный путь.

Несмотря на просьбы и настояния Шемса, он ни за что не соглашался сесть на коня: «Нет во мне такой силы, чтоб стать ровней тебе. Падишах верхом и раб верхом — это невозможно. Ты — любимый, я — ашик. Ты — мой господин, я — твой раб. Больше того, ты — душа, я тобою жив. Не то что пешком следует мне идти в твоей свите, надо бы голову мою сделать ногами».

Сделать голову ногами! Велед до конца своих дней не в силах был вырваться из-под отцовского авторитета. Меж тем он был и образован, и талантлив, и умен. Оставил после себя прозаические и поэтические книги, стал одним из основоположников турецкой поэзии. Не его вина в том, что его стихам далеко до отцовских.

Кому под силу тягаться с гением, рождающимся раз в столетие. Беда Веледа в том, что по натуре своей он был мюридом.

Не зря сомневался Мевляна, сможет ли его сын стать не подражателем, а продолжателем. Не прошло и десяти лет после смерти поэта, поднявшегося над всеми религиями и обрядами, пуще всего страшившегося сектантской закостенелости сердца и ума, как Султан Велед от его имени основал дервишский орден, вскоре признанный власть имущими и благополучно просуществовавший до наших дней…

Больше месяца добирались они до Коньи — Шемседдин верхом, а Велед и его свита пешком.

Из Ларенде Велед послал наконец отцу вестника.

Джалалиддин в награду за добрую весть отдал принесшему ее гонцу все, что было в доме, сорвал с себя даже чалму. И пешком в сопровождении учеников и старейшин цеха ахи вышел навстречу Шемседдину.

Увидев Мевляну, Шемседдин тоже сошел с коня. Они обнялись. Потом склонились друг перед другом до земли.

> Мое солнце, Шемс, пришел!
> Сребролико́й, золотой месяц мой ко мне пришел!
> Мое ухо, мое око, свет моих очей пришел!..
> Время пить вино, чтоб ум гром и молнии метал.
> Мои крылья, Шемс, пришел. Время птицей в небо взмыть!
> Время мир наполнить рыком. Лев пришел!
> Время мир наполнить светом, мое утро, Шемс, пришел!

Шемседдин вернулся в Конью 8 мая 1247 года. Все, кто прежде поносил его, явились к нему с покаянием. Он с улыбкой простил их, хоть знал, что раскаявшийся враг опасней нераскаявшегося. Впрочем, среди мюридов и дервишей, пришедших к нему на поклон, большинство не было ни его врагами, ни его друзьями: просто не ведали они, что творят.

Началась прежняя неистовая жизнь. Каждый вечер собирались маджлисы с пением и пляской, длившиеся ночи напролет. Их сэма на сей раз были открыты для каждого и стали привлекать толпы народа.

Сэма стали модой в султанской столице. Всякий уважающий себя торговец, вельможа или бей считал себя оскорбленным, если Шемс и Мевляна не участвовали в собраниях, которые они устраивали в своих палатах, садах и виноградниках.

То, что для Мевляны было способом выражения его новой веры, для них стало развлечением, помогавшим забыться среди

монгольских грабежей, отвлечься от мыслей о позоре и гибели сельджукской державы. Но Джалалиддин впервые получил для своих стихов простор.

И порой высказывал в стихах мысли, которые Шемс не осмеливался поведать даже своим самым близким друзьям.

Что вера пред твоим неверьем?
Пред птицей Феникс — муха иль комар.
Да, вера — как вода бессмертья, неверье — черная земля.
Но вера и неверье — мусор для твоего огня…
Пусть вера — свечка, а неверье — ночь.
При виде солнца говорит неверье:
«Мы, вера, больше не нужны. Пойдем-ка прочь!»
Пусть вера — конь религии. Но в конях нужды нет
Тому, чей путь — любовь, тому, чья скорость — свет.
Тому, кто с головы до ног по самой сути — новь.

Да, в ночи невежества и бездуховности, говорит поэт, вера — свеча. Но когда восходит солнце любви к человеку, становятся мусором сами понятия веры и безверия.

Гуманизм Джалалиддина при всей своей всеобщности отнюдь не абстрактен. В его поэзии прославление Совершенного Человека неотделимо от прославления человеческой личности.

Для поэта его друг — живой человек по имени Шемседдин Тебризи. Но в то же время он прилагает к нему эпитеты, которые с точки зрения и правоверного духовенства, и суфийской традиции могут быть лишь атрибутами бога или его пророков. Он величает друга «солнцем мира, светочем истины, душой, перед которой весь мир — безжизненное тело», «свечой, к которой в вечности, как мотыльки, стремятся души». Все это для любого религиозного правоверия и сейчас звучит богохульством.

Как-то ближе к осени во время собрания в доме золотых дел мастера Саляхаддина, когда умолкли на минуту уставшие музыканты, к Шемседдину, воспользовавшись паузой, почтительно приблизился молодой дервиш.

— Скажи, учитель, ты святой иль нет?

Дервиш был совсем юн. В его глазах светились простодушие и вера. Он осмелился задать вопрос лишь потому, что было ему чрезвычайно важно знать ответ. Но Шемседдин понял: за простодушием этого юнца стоит чье-то многоопытное коварство.

Вопрос таил в себе смертельную опасность. Для отчужденного религиозного мышления тех времен святость, то есть санкция непререкаемого божественного авторитета, была таким же непременным условием истинности, какими

впоследствии станут разумность, гуманность или научность. Одно дело — слово или мысль обычного человека: они принадлежат лишь ему самому и потому ничего еще не доказывают. Другое дело, если это слово, мысль высказываются от имени бога. Цитаты из священных книг, их толкования, ссылки на изречения и деяния пророков, на авторитет богословов, причисленных к лику святых, были непременным оружием в идейной и политической борьбе, обязательной упаковкой, маскировавшей реальное содержание мысли и стоящие за нею интересы.

Скажи Шемс «нет», и он был обречен на поражение. Но и сказать «да» было не менее опасно: святость требовала подтверждений, чаще всего чудес, и притом немедленных.

Шемседдин Тебризи ответил притчей об иранском простаке Джухе, похожем на нашего Иванушку-дурачка.

Однажды к Джухе прибежали соседи: «Погляди-ка на улицу, видишь, какие яства несут?!» — «А мне-то что?» — ответил Джуха. «Смотри, смотри, несут в твой дом!» — «А вам-то что?» — отрезал Джуха.

— Святой я или нет, — заключил притчу Шемседдин Тебризи. — Вам-то что?

Шемс, сам вышедший из народа и обладавший незаурядной начитанностью и огромным даром убеждения, часто прибегал в своих речах к простонародным притчам и анекдотам, пересыпал свою речь не только цитатами из Корана, но пословицами и прибаутками. Именно он обратил взор Джалалиддина от книжной учености к народной словесности, и ему больше других обязаны мы тем, что поэзия Джалалиддина Руми, и в первую очередь его «Месневи», — не только свод знаний его времени, но и бесценная сокровищница фольклора. Многие сюжеты и мотивы этой великой книги прямо почерпнуты из бесед Шемседдина Тебризи, записанных «писарями тайн».

Как ни остроумен, однако, был ответ Шемседдина, он не мог прекратить начинавшуюся в городе смуту. Простые, не искушенные в богословии люди, естественно, полагали, что Шемс святой, раз Мевляна говорит о нем такими словами.

«Как бы не так! — возражали улемы и те самые мюриды, которые недавно каялись перед Джалалиддином и его другом. — Мевляна не знает, что говорит. Если б Шемс был святым, давно явил бы нам чудо!»

УБИЙСТВО

После очередного скандала, когда Шемса во время его беседы прерывали вопросами, возражениями, ссылками на священное писание, он в сердцах заметил Веледу:

— Видишь, до чего они дошли! Снова хотят разлучить меня с Мевляной. Что ж, пусть радуются — на сей раз я так уйду, что и следов моих не отыщут!

Джалалиддин чуял недоброе. Но и думать не хотел о новой разлуке. Напротив, хватит его другу быть «Летучим Шемсом». Он должен обосноваться в Конье, пустить здесь корни.

Шестнадцатилетняя Кимья, воспитанница поэта, давно заглядывалась на необыкновенного человека, перед которым благоговел сам Мевляна. Шемс и в самом деле производил необыкновенное впечатление. В каждом жесте, каждом движении — непоколебимая твердость, но ничего от благостности шейха или суровости аскета. На губах — постоянная усмешка, во взгляде — мягкая печаль, внезапно сменявшаяся яростным исступлением. Борода седая, но походка легкая, быстрая, как у юноши. И огромная власть слова, взгляда над людьми.

Осенью сыграли скромную свадьбу. Став женой Шемседдина, Кимья из-под крылышка Киры-хатун переселилась на другую половину медресе, в келью, отведенную Шемседдину.

Муж привязался к ней, как к ребенку или птичке божьей. Жалел ее, словно чувствовал — недолго им быть вместе. Но по-народному жалеть — и значит любить.

Вопреки надеждам Джалалиддина женитьба друга только ускорила развязку.

Здесь нужно наконец назвать имя, которое Джалалиддин до конца своих дней не желал поминать даже в мыслях своих. Имя его второго сына, рожденного в Ларенде Гаухер-хатун и нареченного поэтом в честь рано умершего брата Аляэддином.

Это был странный характер. Все он делал наперекор, и прежде всего своему старшему брату Веледу. Тот был почтителен, прилежен, смирен. Аляэддин же зол, своенравен, буен. Как-то у Веледа пропал золотой динар. Он искал его по всему дому и наконец случайно обнаружил в книге, принадлежавшей Аляэддину. Велед с яростью набросился на брата. А тот только усмехался довольный:

— Ты ведь святой, для тебя деньги ничего не значат!

Отец с трудом их помирил. Джалалиддин понимал: юноша хочет утвердить себя, высвободиться из-под гнета отцовского авторитета, ищет собственного пути, и надеялся, что сын, повзрослев, образумится. Но не тут-то было.

Дьявольски способный Аляэддин с трудом кончил медресе. Благодаря влиянию отца он получил пост мударриса, но всем

своим поведением показывал, что не дорожит ни должностью, ни учениками, ни уважением окружающих, ни именем отца. Его семья часто сидела без денег, без еды, а он проводил недели на виноградниках, кутил, пьянствовал с сомнительными друзьями, менял наложниц.

«Ради Аллаха, ради Аллаха, ради Аллаха, — писал ему поэт, — если хочешь ты успокоить сердце отца твоего, не забывай о доме своем и домашних своих. Да спадет скорей пелена с глаз сына моего, ибо там, куда направил ты своего коня, нет ничего, кроме миража. Многие скакали туда же, куда и ты, но, прискакав, увидели, воды там нет. Не надо, не надо, не надо, не надо, и все тут!.. От мужества, благородства и человечности твоей ожидаем мы, что не станешь ты ранить сердца, молящиеся о твоем счастье. Слабый отец твой десятки раз ходил к эмиру Сейфиддину и его людям, прижав руки к груди, стоял в прихожей рядом с обувью, хоть ты знаешь, что это и не в моих обычаях. Но, щадя тебя, пошел я и на это. Ради Аллаха от дома своего, от людей своих не отделяйся… Успокой отцовское сердце, дабы не было ему нужды писать письма тебе, а мог бы он вознести благодарственную молитву!»

Но и таска, и ласка — все было бесполезно. Юношеский эгоизм с годами стал сутью его натуры. Он жаждал самоутвердиться, обрести свободу, на деле же попал в самое пошлое рабство к своим слабостям и порокам, к собственной гордыне. Какая там независимость! Словно кукла, повторял он каждое движение брата и отца, но, точно в зеркале, — все наоборот.

Как и следовало ожидать, достаточно было Шемсу появиться в Конье, стать другом Мевляны и учителем Веледа, чтобы Аляэддин возненавидел его. Женитьба Шемса еще больше разожгла его ненависть.

Кимья была красива. Когда ей исполнилось четырнадцать, Аляэддин сам хотел взять ее в жены. Но Мевляна слишком любил свою воспитанницу, чтобы отдать ее за такого человека, как Аляэддин, да еще третьей женой! И вот теперь Кимья стала женою ненавистного тебризца!

Молодожены поселились в медресе. Осень выпала в тот год холодная, в кельях было зябко, как в гробницах. Единственная земляная печь помещалась в прихожей. Отгородив часть прихожей суконным занавесом, Шемседдин с Кимьей перебрались поближе к теплу.

Навещая отца, Аляэддин под любым предлогом норовил пройти через прихожую, постоянно напоминая Кимье о своем существовании.

Шемсу это наконец надоело. Когда Аляэддин в очередной раз захотел пройти через прихожую в келью, дескать, там осталось его джуббе, он отрезал:

— Я запретил всем сюда ходить и мешать моим размышлениям. Я избрал это место для уединения. Понятно?!

Аляэддин в бешенстве выскочил на улицу и больше к отцу не являлся. Приятели, которым он рассказал о столкновении с Шемсом, день ото дня подогревали его ярость: «Где это видано, чтобы человек, поселившийся в чужом доме, гнал из него хозяйского сына! Нужно быть робким, как женщина, чтобы это стерпеть». Аляэддин вел такую жизнь, что в друзьях его оказались приживалы вельмож, тайные и явные враги Шемседдина и Мевляны.

Когда слухи о поведении сына дошли до Джалалиддина, он написал ему еще одно, последнее письмо. «Если кто-либо по небрежению толкает нашего сына на путь, противный его природе, да не спешит он устремиться по этому пути. Пусть весь мир изменится в твоих глазах, пусть весь мир тебе изменит. Ты иди своим путем, не изменяй себе… Считай, что в той келье живет твой отец. Сколько тупых и простодушных людей склоняются на злые дела лишь потому, что другие тоже их творят. Но разве разумный человек выбьет себе глаз оттого, что у такого-то нет одного глаза, а такой-то косой? И не станет разумный содомитом оттого, что таков кто-то другой, не пристала ему подобная гадость!..»

Поэт обращается к лучшим свойствам человеческого характера: к душевной щедрости, благородству, призывает сына «высунуть голову из окна подлости и ячества», выйти из дверей «мерзости себялюбия».

Напрасно. Все лучшие свойства его сына уже побеждены эгоизмом, ревностью, озлобленностью. Раб своих страстей, он становится орудием тупиц от правоверия, ненавидящих все человеческое, вельмож, страшащихся проповеди и Шемседдина и Мевляны, ее влияния на простонародье.

–

В начале зимы золотых дел мастер Саляхаддин вместе с другими ремесленными старейшинами приглашает на сэма Мевляну и Шемседдина. Поэт пляшет, импровизирует стихи, заражая всех своим неистовством. Музыканты, обессилев, сменяют друг друга, а над поэтом словно не властны ни усталость, ни время. Два дня и две ночи подряд длится этот пир

духа.

Кимья, оставшись одна, уходит ночевать к Кире-хатун. Наутро третьего дня, вернувшись к себе, чтоб развести в очаге огонь, она находит у постели накрытый крышкой поднос и рядом большой арбуз. На подносе пахлава, печенье из слоеного теста с медом.

Ясная радость переполняет сердце молодой женщины. Ее Солнце, ее мужчина помнит о ней, где бы он ни был: пахлава — ее любимое лакомство.

Ожидая его возвращения, она съедает всю пахлаву. Арбуз — для Шемса, он любит утолять им жажду после радений. Но пахлава такая приторная, ей нестерпимо хочется пить.

Шемс, наверное, не рассердится, если она отведает один ломоть: арбуз большой, и к тому же сейчас холодно, не успеет закиснуть. Как-никак скоро полдень, должны же они наконец вернуться от Саляхаддина?!

Она открывает суму, которую муж всегда кладет у себя в изголовье. Шапки-ладьи, набалдашника для посоха с именем аллаха там нет. Он обычно берет их с собой на маджлисы и сэма.

Кимья достает кривой йеменский нож. Снимает с арбуза обе верхушки. И, улыбнувшись при мысли, что так всегда разрезает арбуз ее любимый, жадно вонзает зубы в красную податливую мякоть.

–

Когда Шемс после полудня возвращается домой, Кимья его не встречает. Откинув полог, он видит; жена, скорчившись, лежит на постели. Что с ней?

— Хатун! Кимья! Птица моя!

Она не отвечает, не подымается. Глаза широко раскрыты — в них страдание и ужас. Дыхание едва заметно. Склонившись над нею, он видит; она пытается повернуть голову. И, проследив за ее взглядом, замечает надрезанный арбуз на подносе. Быть может, она просит пить?

Он вскакивает с колен. Хватает арбуз, нож.

Нечеловеческий хрип вырывается из ее груди.

Арбуз, ударившись о каменные плиты, разлетается по полу кровавыми ошметками.

По мусульманскому обычаю, ее хоронят на следующее утро. Шемседдин, молча склонив голову, выслушивает соболезнования. Он не нуждается в них — ни в соболезнованиях, ни в утешениях. Молча идет он под причитания плакальщиков и пение хафизов за

погребальными носилками. Спиной ощущает ненавидящие взгляды, словно он виноват в этой смерти. Слышит за собой шепот: «Проклятый… Приносит несчастье». И чувствует, как железный обруч стискивает его сердце.

Медресе погружено в траур. Шемседдин никуда не выходит, никого не желает видеть. Он и вправду приносит несчастье, навлекает ненависть и смерть на тех, кого любит. Он никогда не простит себе, если, упаси аллах, что-либо случится с Мевляной.

Джалалиддин, словно ныряльщик, погружался в глубины его духа, доставая бесценный жемчуг. Но жемчугом этим были его, Джалалиддина, собственные слова. Он обязан сохранить, приумножить добытые богатства. Но для этого Шемс должен исчезнуть. На сей раз он все продумал. Дервиши-каландары укроют его, уведут за тридевять земель. Они обещали прийти в четверг.

Четверг, 5 декабря 1247 года, Шемседдин провел в своей келье. Вечером он услышал: его зовут. И не спеша направился к двери. То были его последние шаги по земле.

–

На рассвете Джалалиддин ворвался к своему сыну Веледу.

— Вставай! Чего ты спишь? Ищи своего шейха! Снова душа наша не чует его благословенного запаха!

Велед вскочил с постели. Ошалело поглядел на отца. Тот был вне себя.

— Беги ищи! Подними город! Скорее!

Наспех одевшись, Велед выскочил из кельи. Шемседдина нигде не было. Ни в медресе, ни у ахи, ни в мечетях, ни в ханаках, ни в караван-сараях. Ни ночная, ни утренняя стража у всех городских ворот не видела, чтобы кто-нибудь похожий на него покинул город.

Пока продолжались поиски, Мевляна не смыкал глаз.

«Он обезумел от разлуки, — вспоминал впоследствии Велед. — Не знал, где у него голова, где ноги. Шейх, к которому обращались за фетвой, превратился в опьяненного любовью поэта, аскет стал виноторговцем. Но не тем виноторговцем, что пьет и продает вино из винограда. Кроме вина, света, его душа, вся свет, не вкушала иного напитка».

Снова облачился Джалалиддин в траурное лиловое ферадже из индийской материи, надел шапку цвета меда, обмотал ее лиловой, широкой книзу и сужающейся кверху чалмой. Расстегнул на груди рубаху, надел мягкие сапожки. Вместо

четырехугольного арабского ребаба велел сделать ребаб о шести углах. Шесть углов — шесть концов вселенной: Восток и Запад, Север и Юг, Небо и Преисподняя. Голос его ребаба должен был достичь ушей Шемса, где бы он ни был.

Меж тем слухи, наводившие на догадки, одна страшнее другой, стали доходить до Веледа. То двое подгулявших воинов в кабаке в еврейском квартале ухмыльнутся при имени Шемса: «Закатилось солнышко под землю, больше не вернется». То один из людей Аляэддина в ответ на расспросы скажет: «Ищи ветра в поле, а живую воду в колодце».

А где же Аляэддин? Его находят в Кайсери. Днем молится, по ночам пьет вино, в забытьи кричит страшные слова о ледяной воде, кровавой бане.

Нет, нет! Только не это! Велед отгоняет от себя ужасные догадки.

Но вот служанка, убиравшая медресе, отправляется за водой не к фонтану, а к ближайшему колодцу, из которого поят скот, и по дороге замечает ржавые замытые пятна крови.

Ночью Велед кричит и плачет во сне.

Много лет потом будет он просыпаться по ночам с воплем ужаса. Мысль, которую мы не можем додумать до конца или не хотим допустить в сознание, часто приходит к нам во сне, ибо подсознание и во сне продолжает свою работу, сводя воедино намеки, признаки, неосознанные ощущения.

Для Веледа, как и для других религиозных людей его времени, сон был откровением свыше. Но и сну не решился на сей раз поверить Велед, прежде чем не выяснит правду сам.

–

Следующей ночью, с тремя самыми верными, самыми близкими своими людьми он выходит из медресе. Без фонаря, точно воры, крадутся они к ближайшему колодцу. Луны нет, только декабрьские звезды безмолвно горят в холодном черном небе.

Стук колодезной крышки. Кажется, в бездну опускается веревка с железными крючьями.

Всплеск. Еще три аршина веревки.

Держащий ее резко дергает в сторону. Тянет на себя. Веревка напрягается, но не поддается.

Они берутся вчетвером. Раздирая ладони, тянут, тянут, тянут.

Каждый удар груза о стенки заставляет Веледа содрогнуться.

Груз показывается над краем. И в тот же миг они узнают в

распухшем мертвом теле Шемседдина. Крючья, разодрав одежду, вонзились в обнаженный худой бок. Велед выдергивает их. Крови нет.

Куда же девать труп? До самого последнего мига Велед не хотел верить. И потому ничего не успел придумать. Но никто не должен видеть Шемса мертвым. Никто, кроме них, связанных клятвой.

И тут его осеняет. Рядом стоит пустая гробница вельможи Бедреддина Гевхерташа, того, на чьи деньги построено их медресе. Он поставил рядом и гробницу, в которой завещал похоронить себя. Там, только там они могут этой же ночью втайне от всех предать земле Шемседдина Тебризи.

–

Через десять лет молодая жена Веледа Фатима-хатун, проснувшись ночью, с ужасом поглядит на мужа. Никогда она не видела его таким: растерянным, рыдающим в голос, смятенным. Что с ним? Велед знает ее бесстрашие, ее мужество. Но она должна поклясться: никогда ни намеком, ни словом не открывать этой тайны.

Фатима-хатун молчала полвека. Лишь глубокой старухой, когда уже не было в живых ни Джалалиддина, ни Веледа, не в силах унести тайну в могилу, она поведала ее своему сыну, который был обязан Мевляне тем, что явился на свет, а не был убит в утробе. И через пятьдесят лет после смерти Джалалиддина «писарь тайн» его внука шейх Ахмед Эфляки записал ее рассказ.

–

Шемса вызвали к воротам не каландары. Семеро ждали его там в засаде. Среди них был и Аляэддин. Когда Шемс показался, семь длинных мясных ножей вонзились в его тело.

Кровь смыли водой, принесенной в бурдюках, труп бросили в колодец.

«Колодец, куда бросили Шемседдина, был открыт Веледу ночью во сне. Вместе с друзьями он тайно поднял тело из колодца и предал его земле», — рассказала Фатима-хатун.

Но место, где он похоронен, оставалось тайной еще семь веков.

–

Семь с лишним веков минуло. За толщей времен не слышна боль, не слышны голоса отчаяния и горя: все равно его давным-давно не было бы в живых, давно истлели бы его кости.

Сколько людей великих и безвестных ушло в землю за это время. Сколько убийств и преступлений свершилось на свете.

Семь мясных ножей. Смыли кровь водой, принесенной в бурдюках. Колодец. Как просто, до отвращения просто!

Любая драма волнует лишь тогда, когда нам в полной мере открывается ее духовный смысл.

Джалалиддин Руми открыл человечеству духовный смысл драмы, разыгравшейся в Конье 5 декабря 1247 года. И потому над ней не властно время.

–

И убитый, и отец убийцы видели друг в друге того Совершенного Человека, который, познав весь мир и все человечество в себе, ради любви к нему забыл о себе. Но возможность стать таким совершенным кроется в каждом.

Аляэддин, убив Шемса, посягнул на все человеческое. И тем самым убил себя, навсегда вычеркнул свое имя из списка людей, живых и мертвых.

Помните: «Тот, кто убил одного, все равно что убил всех. Тот, кто воскресил одного, все равно что воскресил всех».

После того как Джалалиддин узнал правду, он больше ни разу не видел лица своего второго сына. Не пошел на его похороны. Бесследно сгинуло и его потомство.

Через полвека сын Аляэддина пришел к сыну Веледа: «Мы тоже потомки Мевляны, — сказал он. — Как может сын отвечать за поступки отца?» Тот ответил: «Вы давно обрубленная ветвь».

–

Велед был первым, кому открылась тайна этой трагедии. Что мог он поделать? Одним из убийц был его брат. Но отец убийцы был и его отцом.

«Стенания и плач Мевляны достигли седьмого неба, — вспоминал Велед. — Его рыдания стали слышны всем — и малым и великим. Сребро и злато, что попадали в его руки, все свое достояние он отдавал певцам и музыкантам. Ни дня не мог он провести без стихов и плясок, не знал ни мгновения покоя. Не осталось певца, чей голос не сел бы от песнопений, чей язык не

распух бы от стихов. Все надорвались, пресытились деньгами и дарами. Заболели, словно с похмелья. Будь то похмелье с вина, то, протрезвившись, они пришли бы в себя. Но выбились они из сил от пения, рыданий и бессонницы. От усталости душа у них не держалась в теле, от огня без пламени сердца превратилась в пепел. Весь город пришел в возбуждение. Да только ли город? Целый мир. Все говорили: «Такой столп ислама, шейх обоих миров, буйствует, точно безумец. Из-за него народ лишился веры, забыл про шариат. Все отдали свою душу в залог любви. Все хафизы принялись читать стихи, побежали за музыкантами. И стар и млад принялись плясать и петь, сели на коня любви. Стихи и газели стали молитвами. Не стало больше ни намазов, ни обрядов. Любовь стала их религией и вероисповеданием. Опьянение, самозабвение — единственным занятием. А Шемс из Тебриза для них — падишах падишахов».

Джалалиддин действительно был вне себя. Мог ли Велед в те дни поступить иначе, как всеми силами постараться скрыть убийство? От всех и прежде всего от своего отца.

Доходили и до Джалалиддина смутные слухи о гибели друга. Но он не желал им верить. «Кто сказал, что умер вечно живой? Кто сказал, что Солнце надежды погасло? Враг Солнца взобрался на крышу, зажмурил глаза и решил, что светило зашло».

Какой-то человек на улице сказал, что видел Шемседдина. Поэт сорвал с себя одежду и тут же подарил ее незнакомцу. Когда ему заметили, что зря он это сделал, ибо человек этот просто солгал, Джалалиддин с тоскою ответил:

— Я ведь и отдал ему одежду за ложь. За правду я отдал бы душу!

Велед ничего не сказал отцу и тогда, когда тот решил отправиться на поиски Шемса в Дамаск.

«Мевляна в Дамаске Шемседдина не нашел, — вспоминал Велед, — но увидел его тайну луной, восходящей на небосклоне собственного бытия. Он говорил: «Телом и душою мы далеки друг от друга, но мы — единый свет. Хочешь, смотри на меня, хочешь — на него. О взыскующие и ищущие! Я — это он, он — это я…» Он ушел в Дамаск куропаткой, вернулся хищным соколом».

Потеряв друга в макрокосмосе вселенной, Джалалиддин обрел его в микрокосмосе своего внутреннего мира.

По традиции все поэты в последнее двустишие своих газелей включали собственное имя. Отныне Джалалиддин подписывает свои газели именем Шемседдина Тебризи.

Это он, его вновь обретенный друг, слагает его песни, сам поэт — всего лишь их чтец, передатчик. Но песни эти возникают в мире его души. И потому они одновременно и его собственные

песни. «Я — это он, он — это я».

Не стал удерживать поэта его сын, когда тот с толпою друзей и учеников отправился на поиски Шемса в Дамаск второй раз. Поэт на сей раз не бродил больше по улицам и базарам в надежде за каждым углом встретить друга, в глазах каждого прохожего увидеть отражение его лица. Не посылал своих людей рыскать по ханакам, медресе и караван-сараям. Несколько месяцев день за днем, ночь за ночью проводил он в пении и плясках. И весь древний Дамаск, зеленый, цветущий, раскинувшийся на берегах холодной и быстрой реки Барада, город, который называли Садом Ислама, огласился, подобно Конье, песнопениями и стихами. Будь Шемс здесь, он не мог бы не откликнуться, не явиться на этот самозабвенный зов любви. Но Шемс не пришел.

Джалалиддин снова вернулся в Конью. На сей раз не исступленный, яростный, а задумчивый, притихший. В сопровождении новых учеников и последователей.

Он не смог обнять друга, увидеть его улыбку, услышать его голос. Но разве означало это, что навсегда закатилось Солнце его Истины? «Если он — это я, то чего же я ищу? Его красота, его совершенство — во мне. Словно в чаше вино, я вскипаю и пенюсь, я ищу самого себя!..»

И все же он опять собирается в Дамаск.

> Земли Рума покинув, в третий раз мы направимся в улей Дамаска.
> Ради локонов черных, как ночь, ради кудрей прекрасных Дамаска.
> Коль скрывает свой лик Солнце Истины в них,
> Хоть не слуги мы и не рабы, но рабы мы и слуги Дамаска.

–

Но, быть может, Шемседдин укрылся на своей родине в Тебризе? Он и туда готов отправиться, лишь бы еще раз, хоть один-единственный раз увидеть своего друга земными глазами. «Истосковавшись по свиданью с Шемсом, мне на ухо нашептывает сердце: «В Тебриз спеши! Тебриз, как гребнем, прочеши!»

Но тут Велед, изнемогая под тяжестью кровавой тайны, решается наконец сказать отцу, что его друга больше нет на свете и потому на земле его искать бесполезно. Он говорит намеками, не сразу: правда может убить Джалалиддина.

Как горько мне, любимый мой: ты в муках и тоске ушел.
Как я молил, как я скорбел! Все бесполезно — ты ушел.
В любой беде лекарством был, любую хитрость обходил.
Лишь раз ты выход не нашел. И вот ты навсегда ушел.
Как месяц, ясен был твой лик, твои объятья — как цветник.
Как ты на землю черную упал? Как в эту землю подлую попал?!
Где твои шутки? Слово где? Где ум, что тайны постигал?
Среди друзей сидел. Нежданно встал и к змеям и червям ушел…
В какую мысль был погружен, что встал и в вечный путь ушел?..
Душа в крови, и некого спросить, ответь же мне, хоть не во сне ушел?
Где твой улыбчивый ответ, что ж ты молчишь, не говоришь?
Ты сердце мне прижег железом раскаленным, в отчаяньи покинул и ушел.
Куда? Ни пыли, ни следа. В какой кровавый путь ты в этот раз ушел?!

Время затягивает раны, превращает уголь в золу, камень в песок. Но никогда не заживет эта рана в душе Джалалиддина.

Все кончено, друг мой, что было, то было.
Кто в мире услышит? Кто в мире заплачет?
Вонзилась стрела ядовитая в печень,
Пробит ею щит, и звенит он и плачет.
Лежу под такого глухою землею, —
Весь мир бы давно задохнулся от плача,
Нет больше тебя, Шемседдин из Тебриза,
О гордость людская! Но люди не плачут.
Нет в этом мире ни уха, ни глаза,
Иначе оглохли б, ослепли от плача.
Но нет в этом мире ни у кого
Ни слуха, ни зренья, кроме него.

Пройдет десять лет. Записывая под его диктовку первую книгу «Месневи», «писарь тайн» Хюсаметтин именем многолетней дружбы попросит поэта поведать миру историю Шемседдина. И поэт скажет: «Не мучь меня! Не касайся этой кровавой распри! Не говори больше о Шемседдине Тебризи!»

И до конца дней друзья не осмелятся расспрашивать поэта о друге. Даже имя его будут вспоминать с опаской, дабы не бередить незаживающую рану. Вот почему осталась в черновиках книга «Бесед», которые вел Шемс с Джалалиддином, а друзья и последователи поэта продолжали молчать о его гибели.

Таинственное исчезновение Шемседдина Тебризи, стихи великого поэта, для которого он был бессмертен, как Солнце, как Истина, со временем родили веру в бессмертие Шемседдина. В один прекрасный день так же неожиданно, как явился в Конью, снова-де явится Шемседдин в дверях обители дервишей Мевлеви. Явится как мессия новой эры.

–

Лишь в середине нашего века при ремонте старой маленькой обители была обнаружена могила Шемседдина Тебризи.

В полу — деревянная крышка. Под нею — каменные ступени, ведущие вниз. Небольшое, в рост человека, помещение. Здесь, у левой стены, — обмазанное гипсом прямоугольное надгробие.

Мы выходим на солнце.

Прямо перед гробницей — остатки пересохшего колодца сельджукской эпохи.

Неподалеку минарет. Он построен много позднее, во времена Османской империи. Но в его стене один из камней, как о том свидетельствует надпись, был когда-то камнем в стене медресе Гевхерташа, пожалованной отцу Джалалиддина Руми.

Странное, неодолимое волнение подымается к горлу. Мы не верим ни в аллаха, ни в мессию, ни в бессмертие человека по имени Шемседдин, убитого декабрьским вечером вот здесь семьсот с лишним лет назад и тайком похороненного под этим надгробием.

Но мы верим в бессмертное стремление человечества к совершенству.

ГЛАВА ШЕСТАЯ
ЖАТВА

Слуги формул — мира не объяснят.
Нищие духом, они не на том стоят.
Ешь виноград, а им кожуру оставь,
Оскомину правил и жвачку мертвых цитат.

Омар Хайям

ГОЛОС БУБНА

Джалалиддин печально шел по ремесленному рынку. Миновав прохладу крытых переходов, где в глубине лавок, поджав ноги, купцы распивали чай, делились новостями, беседовали с клиентами, вышел в башмачный ряд. Первая весенняя жара после полудня спала, но солнце все еще припекало плечи. С полотняных навесов мастерских до самой земли длинными гроздьями свисали усыпанные блестками желтые, красные, синие, зеленые туфли без задников с кривыми, загнутыми носами. Кричали торговцы сластями, окруженные ребятишками. Сквозь базарную толпу шел ослик, груженный апельсинами. За ним пробирался носильщик-хамал, точно еж, весь утыканный ножками скамей, согнувшийся в три погибели под их тяжестью.

Завидев Джалалиддина, люди умолкали. Почтительно вставали со своих мест. Кланялись. Он шел, задумчиво опустив голову.

Сколько вокруг людей! Он всегда среди них, один из них. Но как он одинок!

Он свернул за угол. В глубине мастерских десятками закатных солнц горели прислоненные к стенам медные подносы, тянули вверх лебединые шеи чеканные кувшины. Звон металла мешался с гомоном толпы.

Ему уже за сорок. Жизнь прошла, пока он поднялся на вершину, уместил в себе весь мир, всех людей. И вот он опять

один, словно на роду написано ему, обретя в другом человеке самого себя, терять его, чтобы снова искать.

А на земле опять весна. Зазеленели степи. Тополя выбросили первые стрелки листьев. Первые бутоны налились на розовых кустах.

Его дух стал как солнце — повсюду проникающее, питающее жизнь. Но как оно одиноко, солнце, в своей силе и на своей высоте! Кто может, не зажмурившись, глядеть в его лик?

Даже солнце, чтоб увидеть себя, нуждается в отражении.

Сколько вокруг людей! Но зеркала их душ занавешены себялюбием. Разве они себя любят? Нет, их любовь — питье, еда, вещи, их услаждающие, деньги, позволяющие овладевать вещами, власть, позволяющая распоряжаться другими людьми, как вещами. Их души — амбар, где без всякой связи, в беспорядке свалены предметы, среди которых они сами такая же бессмысленная неодушевленная вещь.

Что же, отказаться от вещей, от желаний? Не отказываться, но установить между ними связь. Амбар превратить в дом, где каждая вещь имеет свой смысл, связана со всеми другими единым духом человека.

Но что же такое дух? Не разум, не сердце… Может быть, это стремление к слиянию единичного с единым, к обнаружению единого в единичном? Стремление, познавая себя и мир, беспрестанно идти все дальше и глубже, овладевать все новыми сферами с тем, чтобы весь внешний мир сделать своим собственным внутренним, а свой внутренний, личный мир слить с внешним всеобщим?

Для бездуховного человека вселенная тот же амбар, переполненный до краев бессмысленными, бессвязными вещами. Только дух человека может превратить всю вселенную в его собственный дом…

Увидеть всеобщий единый смысл в каждой травинке и каждом небесном светиле, в мысли, шевельнувшейся в голове, в ребенке, шевельнувшемся во чреве, обнаружить всеобщую связь и всем своим существом ощущать ее.

Не среди вельмож, не во дворцах и палатах, а здесь вот, в лавчонках и мастерских, среди людей, у которых нет самых нужных вещей, которые недоедают, недосыпают, но ежедневно, ежечасно отдают себя другим, каждым ударом топора, стежком иглы беспрестанно одушевляют бессмысленные предметы и овеществляют свой дух, здесь, в их труде, — источник человеческой духовности.

До его слуха донесся тонкий мелодичный перезвон. То звонче, то глуше били молоточки в такт биению сердца, все

быстрей и быстрей. Вдруг затихали и снова принимались за свое. От этого ритмичного малинового перезвона печаль в его сердце утихла. И родилась тихая радость, которая все ширилась и росла, пока не захватила его без остатка.

Он остановился, вслушиваясь. Рука потянулась к подолу ферадже, другая взлетела вверх. Он сделал шаг. Склонил голову к правому плечу и сперва медленно, а потом все быстрее, быстрее закружился в пляске посреди пыльной многолюдной улицы.

> Эй, листок, расскажи, где ты силу нашел, как ты ветку прорвал, из тюрьмы своей вышел на свет?!
> Расскажи, расскажи, чтоб мы тоже могли из тюрьмы своей выйти на свет!
> Эй, кипарис, ты растешь из земли, но как гордо ты вскинулся ввысь!
> Кто тебя научил, кто тебе показал? Научи нас, как тянутся ввысь!

Оторопелая толпа с недоумением глядела на вздымающего пыль, пляшущего посреди улицы поэта.

Когда подмастерье, сидевший ближе всех к дверям, застыл с молоточком в руке, золотых дел мастер Саляхаддин поднял глаза и увидел кружившегося в пляске Джалалиддина.

Остальные подмастерья, углубленные в работу, ничего не замечали. И мастер понял: именно звон их молоточков, доносившийся из мастерской на улицу, привел поэта в экстаз.

Редкая улыбка осветила невозмутимое лицо Саляхаддина. Кивнув подмастерью, мастер взялся за молоток и застучал по тонким, подготовленным для инкрустации пластинам золота. Подмастерье, следуя его примеру, снова взялся за работу. Но какое там! Голова его невольно поворачивалась в сторону дверей, где окруженный толпой поэт плясал, возглашая свои стихи, и удары молоточка приходились совсем не туда, куда надо. Впрочем, и мастер бил не глядя.

На слух учуяв, что с мастером творится неладное, все остальные прекратили работу.

— Бейте! Бейте сильнее! — прикрикнул на них Саляхаддин.

И снова застучали молоточки, быстрее, все звонче. И все яростней кружился перед мастерской Джалалиддин.

Эй, бутон, весь окрасившись в кровь, вышел ты из себя!
Расскажи нам, бутон, что такое любовь. Из себя выходить научи!

Ноги сами подняли Саляхаддина и понесли его на улицу. В дверях он крикнул подмастерьям:

— Бейте! Не останавливайтесь! Бейте!

Они закружились вместе. В одном ритме. Под одни и те же слова. С одним и тем же самозабвением. С чувством полного слияния с миром.

Но Саляхаддин был стар. Не в силах продолжать пляску, он вскоре остановился с поклоном, попросил прощения у поэта за свою немощь.

Тот обнял его за плечи, поцеловал. И продолжал плясать один.

Забил родник неистощимых кладов
Из мастерской, где золото куют.
Как смысл велик, как ясен лик!
Как сердце счастливо, как радо!

–

В тот же вечер Саляхаддин, подарив свою мастерскую со всеми инструментами и разбитым в бесформенные лепешки золотом, ушел вместе с поэтом, чтобы больше не расставаться с ним до самой своей смерти.

Месяц, явившийся в красном кафтане, в сером плаще, нынче снова взошел.
Турок, весь мир подвергавший разгрому, в виде араба к нам снова пришел.
В разных одеждах — все тот же любимый, в разных кувшинах — все то же вино.
Видишь, все так же оно опьяняет, кружит нам голову так же оно.
Ночь испарилась, так где ж вы, о мужи, коих не свалит утра глоток?!
Тот же светильник весь мир озаряет, в окна всех тайн льет он света поток.
В переселение душ я не верю, и не о том я веду свою речь.

Я говорю о единстве всех капель, что к океану не могут не течь.

Так поэт объявил о том, что увидел отражение Шемса и свое собственное в зеркале золотых дел мастера Саляхаддина.

Подобно своему шейху Сеиду Тайновидцу, Саляхаддин в аскетическом подвижничестве доходил до крайности. Пока не прошел весь путь тариката, молился сутками напролет, постился неделями, месяцы проводил в уединении.

Но в отличие от Сеида был по натуре не исступлен и буен, а уравновешен, несокрушим.

Десять лет поэт был неразлучен с Саляхаддином. Он увековечил его имя в семидесяти с лишним газелях, включив его в последнее двустишие, как включал имя Шемседдина Тебризи.

«Узрев в Саляхаддине достоинства Шемса, — вспоминал Велед, — он сказал своим друзьям: «Никем я заниматься не стану. Быть шейхом не по мне. Отныне и впредь слушайтесь воли Саляхаддина, следуйте за ним». Потом призвал меня: «Вглядись хорошенько в лицо Саляхаддина. Постарайся увидеть в нем падишаха истины. Падишах душевного мира, повелитель страны, не имеющей пространства и границ, — вот кто такой Саляхаддин. Он падишах без седла и сбруи… Отныне и ты повинуйся ему».

Джалалиддин не желал больше читать проповеди. Но по просьбе Саляхаддина один-единственный раз все же взошел на мимбар мечети, оговорив, правда, что этот раз будет единственным.

Он просил не упоминать имени Шемса в присутствии Саляхаддина. «Между ними нет разницы, — говорил поэт. — Но и в душах познавших бывает священная ревность».

Можно себе представить, какая отнюдь не священная ревность терзала сердца тех мюридов, которые и до конца своих дней не познали истинного величия духа. Обрадовавшись исчезновению Шемса, они надеялись, что рано или поздно поэт успокоится и все пойдет по-прежнему. Дружба поэта с Саляхаддином разрушила их последние надежды.

К тому же Саляхаддин был сыном крестьянина, простым ремесленником, который жил той же жизнью, что и они. А понять величие обыкновенного смертного, который так же, как все, вкушает пищу, спит ночью и трудится днем, чью жизнь можно наблюдать ежедневно и ежечасно, — это дается немногим. Чернь видит лишь то, что ее объединяет с великими людьми, но не желает и не может принять того, что ее отличает от них. Не потому ли сказано: «Нет пророка в своем отечестве»? И не потому

ли все, кто, не обладая величием, претендует на него, отгораживаются от своих соплеменников помпезными церемониями, мечами охраны и стенами дворцовых оград, мудреной речью и спесивой важностью?

Среди мюридов и дервишей снова поднялся ропот. Дескать, не успели мы избавиться от одного, как нам на голову свалился другой. Снова обвели нас вокруг пальца. Тот хоть был светом, а этот искра. Тот владел пером и словом, был добродетелен и учен. Уж лучше бы он был другом нашего шейха!

Сколько похвал раздается мертвым, лишь бы только унизить живых!

«По крайней мере, тот хоть был утонченным тебризцем, говорили они, а не грубым обитателем Коньи, которого мы знаем с детства, — вспоминал Велед. — Этот ни читать не умеет, ни писать, двух слов связать не может. Что зло, что добро, для него все едино. С чего он вдруг сделался выше нас? С утра до вечера стучал молотком по золоту в своей мастерской. Всем соседям не было от него покоя. Фатиху и ту толком проговорить не может. Задашь ему вопрос — растопырится, как мул. С какой стати такой ученый и великий человек, как Мевляна, привязался к нему?»

Саляхаддин был действительно неграмотен. Но как умение читать вовсе не предполагает умения мыслить, так и неграмотность отнюдь не предполагает отсутствие ума, в особенности если речь идет не о рационально-логическом, а чувственно-образном мышлении, о «разуме, бьющемся в груди».

Саляхаддин вышел из народа воплощением его здравого смысла, его чуткости к истине. То, что другим давалось годами учения, Саляхаддин схватывал на лету. И у него были выдающиеся учителя — Сеид, Шемс и, наконец, сам Джалалиддин. «Во мне были источники света, но я и не знал о них, — сказал он как-то Джалалиддину. — Ты их открыл и раздул, подобно огню».

Не безграмотный ремесленник Саляхаддин, а его ученые недруги были невеждами.

Строжайшим самоограничением выработал он в себе такую волю, которая поражала даже его наставников и наделила его чуть ли не гипнотической силой внушения. «Он превосходил всех своей одаренностью, — писал Велед. — То, что от арифов можно было воспринять за годы и годы, он даровал одним дыханием. Без губ и языка умел он поведать тайны. Без единой буквы, без единого слова раскалывал жемчужины смыслов. Его речь шла от сердца к сердцу».

Образованнейший человек своего времени, Джалалиддин презирал потребителей готового знания, единственное

достоинство которых — крепкая память, Саляхаддин искал истину не в чужих мыслях, а добывал ее своими руками из непокорного металла, постигая его тайны, одушевляя мертвое золото. Поэт был убежден, что тот, кто добыл пусть малую, скромную, но свою истину, может добыть и великую. Саляхаддин, золотых дел мастер и крестьянский сын, понял не слова, не букву, а дух идей Шемса, сердцем принял новую веру Джалалиддина — любовь к людям, уважение к труду. И Джалалиддин в зеркале его сердца, как некогда в зеркале Шемса, десять лет сверял с истиной каждый свой шаг по избранному пути.

Как-то в беседе с друзьями поэт вместо слова «хум», что на языке фарси означает большой глиняный кувшин с узким горлом, произнес «хунб». Один из присутствующих поправил его. «Я это знаю не хуже тебя, — ответил поэт. — Но так говорит шейх Саляхаддин, и я считаю верным следовать ему. Истинно, так, как говорит он».

Большинство людей в той или иной степени пребывает в неведении, которое в зависимости от обстоятельств именуется то добродетелью, то пороком. Но самый страшный порок — неведение, считающее, что ему все ведомо, и потому позволяющее себе убивать.

Для вельмож и беев Саляхаддин был, пожалуй, еще опасней, чем Шемс. Он представлял низшие сословия державы. А это означало, что проповедь Джалалиддина начала овладевать их умами и могла пробудить к действию. Ненависть и страх, обуявшие вельмож, подогревали «священную зависть» мюридов и дервишей, искренне убежденных в своей беззаветной любви и преданности поэту.

Но не существует никакой любви и никакой добродетели без ясного видения. «Истина, — вслед за Шемсом говорил поэт, — выше добра и зла».

Снова был составлен заговор. С целью убийства. На сей раз золотых дел мастера Саляхаддина. Но простонародность, что в глазах ученой черни было пороком и позором, в действительности являлась силой Саляхаддина. Силой, которой не обладал и Шемседдин Тебризи.

Один из злоумышленников, раскаявшись, поведал о заговоре Джалалиддину. Поэт в испуге прибежал к своему другу.

Улыбка осветила исполненное непоколебимого достоинства лицо Саляхаддина.

— Не беспокойся! Со мной они ничего не смогут поделать!

В тот же день он созвал в медресе всех — и друзей своих, и недругов. Медленно обвел их глазами, подолгу задерживая на каждом свой взор, и молвил:

— Я знаю, что кое-кто не может меня терпеть, ибо на меня пал выбор Мевляны. Но знайте: я — всего лишь зеркало, в котором он видит свою собственную истину.

Предание гласит, что твердость, с которой были сказаны эти слова, заставила заговорщиков раскаяться: они почувствовали себя кроликами под взглядом удава.

Но дело, конечно, не в воле, не в силе внушения — ими обладал и Шемседдин Тебризи. Шемс, однако, был в Конье чужаком. За ним стояло только слово, одна лишь голая идея. За Саляхаддином же стояли ремесленные цехи Коньи, а следовательно, и всей сельджукской державы, объединенные в братства ахи.

После позорного разгрома в битве при Кёседаге султаны и их вельможи, по сути дела, превратились в собирателей дани для монгольских властителей, требовавших год от года все больше и больше. Но где было взять эту дань?

Земельная аристократия, государевы вельможи и беи были разорены. Их земли опустошены войной, голодом, грабежом, восстанием крестьян. Оставались ремесленные цехи. Мало того, без ремесленников не могли феодалы и снарядить войско, даже то, сравнительно небольшое, которое было им теперь по карману, чтобы собирать дань и держать в повиновении народ.

Братства ахи к тому же были не только организацией ремесленников, но и религиозно-воинским братством, чем-то напоминавшим средневековые рыцарские ордена Европы. Подмастерья, вступавшие в братство и подпоясанные палашом, пусть не столь хорошо, как профессиональные воины, но обучались владеть оружием. Из молодых подмастерьев-ахи составлялись отряды, которые принимали участие в обороне городов. И с течением времени они стали самой мощной воинской силой внутри державы.

Что там жалкие дервиши-заговорщики! Знатные вельможи, имевшие свои наемные отряды, боялись ахи. И не зря! Как свидетельствует арабский путешественник, через несколько десятилетий после монгольской победы там, где не было султанских наместников, их обязанности стали исполнять ахи. По решению старейшин отряды воинов-ахи убивали неугодных им феодалов, мучителей и тиранов, истребляли их стражу и всех, кто был вместе с ними.

Сам великий визирь Перване вынужден был смиряться перед силой ахи. Когда ремесленные цехи обратились с жалобой на его несправедливый побор к Джалалиддину, письма поэта оказалось достаточно, чтобы Перване отменил свой приказ. Перване выслушивал правду, которую говорил ему в глаза поэт, искал у

него наставлений, ибо благосклонностью к великому поэту рассчитывал расположить к себе братьев ахи и ремесленные цехи.

–

Дружба с золотых дел мастером Саляхаддином, а позднее с Хюсаметтином, старейшиной ахи, стала надежной защитной поэта. За ним теперь был народ.

Сильные мира сего — визири, вельможи и беи — ходят к поэту на поклон, приглашают его к себе на пиры. Однако среди ближайших учеников и друзей Джалалиддина теперь совсем иные люди. Это купец Хаджи Эмире, торговец шелком ахи Ахмед, торговец хлопком Насреддин Катани, крестьянин Али Мухаммад.

Но больше всего среди его друзей мастеровых — вольноотпущенник Сирьянус, цирюльник Чобан Делляк, плотник Бедреддин, певцы Осман Шарафаддин, Кемаль Каввал, флейтист Хамза, игрок на ребабе Абу-Бекир, художник Бедреддин Яваш, живописец-грек Айн-уд Давле, армянский мастер Калоян, архитектор Бедреддин Тебризи, банщик ахи Натур и старейшина всех братьев ахи султанской столицы Ахмедшах, мусульмане, иудеи, христиане, греки, иранцы, арабы, армяне, тюрки.

С ними теперь беседует он в своем медресе. Отправляется в далекие прогулки. Проводит недели в православном монастыре Платона Мудрого в Силле, пляшет и читает стихи в садах и виноградниках Коньи. Они, ремесленники и торговцы, крестьяне и вольноотпущенники, братья ахи и воины-ахи записывают его стихи, запоминают их наизусть, несут его слово людям. Они охраняют его от злобы и зависти улемов, от ненависти вельмож и феодалов.

Эта ненависть не утихнет до конца его дней. Через несколько лет могущественный визирь, наместник султана Сахиб-ата, скажет приближенным:

«Мевляна великий человек. Но окружает его чернь. Надо отделить его от мюридов, а их всех перебить!»

Когда эти слова дойдут до поэта, он с такой же усмешкой, с какой встретил его некогда Саляхаддин, скажет:

— Что же, пусть попробуют, если смогут!

Доверие и любовь простых людей, душевное благородство которых воплотилось для поэта в золотых дел мастере Саляхаддине, мало-помалу утишают его отчаяние, его исступление. С годами он обретет то величественное спокойствие, которое дается только полной душевной гармонией, соответствием каждого поступка, каждого жеста — мыслям,

каждого слова — велениям сердца.

«Испив от вечности, мы не забылись вечным сном, — говорил он. — Мы и сердце времени, и душа его, и знамя!»

Народ не рассудком, не разумом только, а сердцем понял и принял его. И это укрепило в поэте непоколебимое убеждение в своей правоте, в истинности своего мироощущения.

СЛОВО

Годы дружбы с Саляхаддином были, пожалуй, самым счастливым временем в жизни поэта. Он был еще полон сил, но уже зрел. Его окружали друзья и сподвижники.

Убитый и брошенный в колодец незабвенный Шемс продолжал жить в нем самом, в золотых дел мастере Саляхаддине, в мыслях и делах сподвижников.

Из всех тюрем — самая страшная та, что построена у тебя в голове. Джалалиддин освободился от нее: от догм, канонов, обрядов. «Я заложил чалму, мне опротивели поклоны и молитвы».

Вопреки всем мусульманским традициям появились среди его последователей и женщины. Это понятно: проповедь любви, культ человеческого сердца не могли не найти отклика среди женщин.

Позднейшие хронисты в благочестивом усердии не осмелились назвать их имена. Но прозвища некоторых из них до нас дошли.

Это арфистка и певица, разбогатевшая от даров своих поклонников и прозванная за красоту Тавус — «Павлин», которая отпустила на волю своих служанок-рабынь и стала последовательницей поэта.

Это присутствовавшая как равная среди равных на собраниях друзей Джалалиддина, Фахрунниса — «Гордость женщин».

Одна из учениц поэта стала даже настоятельницей дервишской обители в городе Токате.

К вельможам и эмирам поэт не благоволил. Но охотно беседовал с их женами — сердца женщин не были так ожесточены властью и стяжанием, как сердца их мужей. Жена вельможи Аминаддина Микаэла собирала по вечерам женщин, которые, к ужасу правоверных улемов, плясали, пели, слушали стихи поэта, осыпали его розами и обрызгивали розовой водой. Среди этих женщин была и царевна Гумедж-хатун, дочь султана Гияседдина и грузинской царицы Тамары, ставшая женой великого визиря Перване и прозванная Гюрджю — «Грузинка».

Отправляясь к мужу во вторую столицу державы город Кайсери, Гюрджю-хатун заказала портрет Джалалиддина, чтобы,

«когда невыносим станет огонь разлуки, она могла увидеть его лицо».

Выполнить этот заказ царевна поручила выдающемуся художнику, обучавшемуся живописи в Константинополе, Айн-уд-Давле.

После долгих раздумий — ведь изображать людей и животных было запрещено исламом — художник самолично отобрал самых надежных, преданных ему помощников и явился в медресе к Джалалиддину. Не успел он раскрыть рта, как поэт, угадав его намерение, молвил:

— Что ж, прекрасно, если только у тебя получится!

Жена Перване как-никак была наполовину грузинкой, Айн-уд-Давле — греком, принявшим ислам. Но Джалалиддин — сыном Султана Улемов, мусульманином в десятом колене. Одно его согласие позировать художнику с точки зрения правоверия считалось смертным грехом, равным идолопоклонству.

Айн-уд-Давле тут же приступил к работе. Помощники принесли стопу лучшей каирской бумаги, кисти, краски. Первый портрет был выполнен в полный рост. Художник волновался. Когда портрет был закончен, Айн-уд-Давле увидел, что нарисовал бледную копию, лишь отдаленно напоминавшую оригинал. Взялся за другой. Но выражение лица, внутренний смысл стоявшего перед ним человека никак ему не давались. Слишком быстро менялся он, словно в нем было заключено множество разных людей.

Двадцать листов нарисовал Айн-уд-Давле. И все, по его мнению, были неудачными. Слезы отчаяния брызнули у него из глаз.

Джалалиддин утешил его стихами:

Если б себя мне увидеть! Но нет!
Смешение красок дает белый цвет.
Дух мой не знает покоя,
Но как я спокоен в душе.
Море во мне потонуло, но чудо!
Бескрайнее море — во мне…

Все двадцать листов с рисунками Айн-уд-Давле Гюрджю-хатун спрятала в сундук и увезла с собой в Кайсери.

Их судьба неизвестна. Но, несмотря на семь веков запрета, копия с рисунка, где поэт изображен во весь рост, дошла почти до наших дней. Эта единственная копия сгорела вместе с дервишской обителью Еникапы в Стамбуле в 1906 году.

Защищенный народной любовью, Джалалиддин мог теперь

даже в лицо султанам говорить то, что думал, и так, как он хотел.

Когда к нему в медресе пожаловал в сопровождении свиты султан Изеддин Кей-Кавус II, поэт усадил гостей и как ни в чем не бывало продолжал беседовать с учениками.

Он знал: султан пришел не за тем, чтобы выслушать его слово и поступить сообразно с ним. Он нуждался в освящении своей власти его авторитетом для борьбы за престол с братьями.

Просидев какое-то время среди плотников, цирюльников, кожевенных дел мастеров, султан униженно взмолился:

— Да соблаговолит его святейшество Мевляна осчастливить меня наставлением своим!

— Какое я могу тебе дать наставление! — ответствовал поэт. — Тебе положено быть пастырем, а ты обратился в волка. Тебе доверено охранять, а ты предался грабежу. Бог сделал тебя султаном, а ты поступаешь по наущению дьявола!

Предание говорит, что при этих словах султан заплакал и вышел вон.

Трудно сказать, расплакался ли султан в присутствии своей свиты и учеников Джалалиддина. Но расплакаться ему было отчего: отповедь поэта означала, что город, братья ахи и ремесленники против него. А без их поддержки нечего было рассчитывать на победу в братоубийственной распре.

И действительно, вскоре участь Изеддина была решена. На трон сел его брат. А Изеддин Кей-Кавус II вынужден был искать пристанища на чужбине, в Константинополе и после долгих скитаний окончил свои дни изгнанником в далеком Крыму.

Слово Джалалиддина стало деянием. Он говорит: «Я превращаю глину в жемчуга и бубны музыкантов наполняю златом. Всех жаждущих пою вином, иссохшие поля нектаром орошаю. Всю землю превращаю в рай, на трон султанский страждущих сажаю и воздвигаю кафедры из тысяч виселиц». Он называет себя «рабом, что вольную хозяевам дает, учеником, что стал учителем учителей». «Еще вчера я в мир явился, но мир земной благоустрою».

Быть может, поэт мнит себя чудотворцем, мессией? Но нет, он не верит в чудеса.

— Толкуют мне о чуде, — говорят он своим ученикам. — Дескать, имярек за один день добрался до Каабы. Но на такое чудо способен и самум — за миг он долетит, куда захочет. Избавиться от двойственности, возвыситься из низости, подняться из невежества до разума, из бездуховности прийти в мир духа — вот это чудо. К примеру, был ты прахом, землею, стал растением. Из мира растительного, обратившись сгустком крови, пришел в мир животный, и, наконец, из мира животного — в мир

человеческий. Вот это воистину чудо!..

Человек может уместить в себе весь мир. И все человеческое без исключения стало его собственным миром. Не о своих чудотворных способностях говорил он в стихах, а о чуде быть на земле человеком, о безграничных возможностях человека.

–

Ему было пятьдесят лет. Он сложил сотни, десятки сотен стихов. Когда после его смерти «писари тайн», заносившие их на бумагу, составили «Дивани Кабир» («Великий Диван»), в нем оказались две тысячи семьсот три газели, тысяча семьсот девяносто рубаи, всего около пятидесяти тысяч строк.

Почти все они были сложены по какому-нибудь определенному поводу. Битва с монголами или появление свежего листка на иве, детские игры или голодающий пес, мысль, пришедшая в голову, слово друга или недруга — все могло стать поводом для стихов. После прихода Шемса он больше не брал в руки тростникового пера. Разволновавшись, выходил из себя, говорил, кричал, иногда бранился. Но его слово, крик и даже брань, точно олово в тигле алхимика, превращалось на его огне в золото поэзии, которое «писари тайн» заносили в сокровищницы стихотворных диванов. В одной из бесед с учениками он как-то сказал, что, останься он жить в Балхе, где стихотворчество считалось зазорным, он сделался бы не поэтом, а проповедником. Стихи же он слагает оттого, дескать, что здесь, в Малой Азии, народ любит музыку и поэзию.

Кто знает, что было бы с Джалалиддином, если бы он остался в Балхе. Скорей всего он был бы убит монголами.

Но ясно одно: стихи никогда не были для него целью. Он был слишком мудр и целостен, чтобы сделать из своего искусства еще одну преграду, за которой скрылось бы главное — человек и его судьба, его предназначение в мире.

Джалалиддин мало говорил о поэзии: «Что такое стихи, чтоб о них я вел речь? Есть у меня мастерство поважней мастерства стихотворца!»

Но чем для него была поэзия, что думал он о рифме и стихотворных размерах, можно узнать из его собственных стихов и редких, но точных высказываний. «Я над рифмою бьюсь, а любимая мне говорит: ни о чем ты не помышляй, кроме лица моего… Что буква? Жердь в заборе вокруг виноградника! От газелей и бейтов я наконец спасен! Шелуха, шелуха, шелуха все, над чем ломают поэты голову».

Придворные поэты его времени ломали голову над рифмой, над оригинальным сравнением, жаловались на нехватку рифм и слов. А надо бы сетовать на нехватку мыслей. Хвала падишаху есть хвала падишаху, и только. И придворному поэту остается думать только о мастерстве: как сделать хвалу поцветистей, брань позабористей, сравнение пооригинальней.

Джалалиддин был далек от такой поэзии, как небо от земли. «Из раскаленной кастрюли души хочу я брызнуть кровавой пеной, главное слово обоих миров одним дыханием сказать!» Он говорил: «Грохнем друг о друга рифмы, слова и звуки — пусть рассыплются в прах. Будем с тобою без них троих беседовать наедине!»

Джалалиддин тоже сетовал на рифмы и стихотворные размеры. Но не потому, что их ему не хватало, а потому, что чувствовал: они ограничивают, сковывают его мысль. Освободившись от канонов религий и сект, из тюрьмы предрассудков и догм, он, естественно, не остановился перед тем, чтобы сломать и каноны рифмовок.

Те, кто не понимал новаторства Джалалиддина, ставили и продолжают до сей поры ставить ему в упрек неточность рифм. Но его мысль, его страсть не умещались в каноны классической придворной поэтики. Он сознавал, что делал.

«Этот мир существует и не существует. То, чего нет, понемногу ушло, существует то, что приходит». Он был поэтом грядущего. «Время торговцев старьем миновало. Мы новью торгуем, и рынок сей — наш!»

Его представление о поэзии было настолько непостижимым для современников и последователей, что, составляя «Великий Диван», они расположили в нем стихотворения именно так, как полагалось по канонам классической поэтики, где сутью считалась форма. В отдельные тома были собраны стихи, сложенные одним и тем же размером, а внутри тома стихи располагались в алфавитном порядке рифм. Иной принцип никому и в голову не мог прийти. Даже Хюсаметтину Челеби, самому близкому из всех «писарей тайн» великого поэта.

В пятьдесят лет Джалалиддин, казалось бы, достиг всего, чего может при жизни достигнуть поэт и мыслитель. Стихи, рождавшиеся в садах и виноградниках Коньи, в стенах медресе Гевхерташ, передаваясь из уст в уста, преодолевали тысячи фарсахов. Его слово проникло до самых далеких окраин мусульманского мира. И со всех его концов — из Бухары и Самарканда, Тебриза и Каира, Йемена и Дамаска, Кордовы и Малаги — потянулись к нему люди, как к светочу, озарявшему кромешную ночь монгольского ига и крестоносной дикости.

Но поэт не удовольствовался достигнутым, а шел все дальше и дальше до конца своих дней. Наверное, удовлетвориться добытым — это и есть духовная смерть, а жить — значит меняться вместе со временем.

> И сегодня я тоже Ахмед, но не тот же Ахмед, что вчера.
> Сегодня я птица Феникс, а не та, что зерном сыта.
> Есть один падишах, в ком нуждаются все падишахи.
> Сегодня такой падишах — это я. Но не тот, кого знал ты вчера.
> Его время минуло. Истина — я, человек.
> Этой правды хлебнув лишь глоток, мудрецы повалились с ног.
> А я ее чашами пью и на ногах так же крепко стою.
> Муж ты святой иль кабацкий гуляка — мне все одно.
> Пятница нынче иль воскресенье — мне все равно.

Пятница — священный день для мусульман, воскресенье — для христиан. Но для поэта все религии равны. Он обращается ко всему миру, ко всем людям без различия рас, религий, национальностей, сословий. «Дай нам вина единства вкусить, поровну всех напои, чтобы вместе мы все собрались и различья, что видимость только одна, разом смогли устранить. Все мы ветви единого древа, все мы воины единого войска».

Невиданная смелость для того времени — Джалалиддин говорит о единстве человечества. И требует от всех, кто идет за ним, такой же смелости чувства и мысли.

«Я слышал: благодать в собрании людском, и потому душой — слуга народа». Он стал поэтом народа. И потому он стал поэтом человечества.

–

Всякий великий художник знает себе цену, понимает, что им сделано. Знал это и Джалалиддин Руми.

Как-то, войдя в келью одного из своих учеников, он увидел, что тот спит, положив себе под спину книгу его стихов.

— Значит, вот как! — воскликнул поэт. — Наше слово брошено за спину! Но, клянусь богом, дух, заключенный в нем, обойдет весь мир от Восхода до Заката, проникнет во все страны мира. На собраниях и в храмах, на увеселениях и пирушках будут читать мои слова. Ими украсятся и воспользуются все народы.

Джалалиддин был убежден в бессмертии человечества. И

потому и в своем собственном бессмертии. «Мы, как вода, течем и протекаем, но, как вино, в крови мы у народа. Пускай протянем ноги, в землю ляжем недвижимо, мы все равно в движении пребудем вечно, как те, которые лежат на корабле, что устремился вдаль под парусами».

–

Он не ошибся. Семь веков читают его стихи в мечетях и дервишских обителях, на пирушках и в университетах. Изучают ученые и запоминают наизусть неграмотные крестьяне.

Трудно назвать какого-либо выдающегося мыслителя или поэта от Индии до Северной Африки, который не знал бы поэзии Джалалиддина Руми, так или иначе не испытал бы его влияния.

В девятнадцатом веке его стихи читал, идя на казнь, вождь народного восстания в Иране Сулейман Хан:

> Открой свой лик: садов, полных роз, я жажду.
> Уста открой: меда сладостных рос я жажду.
> Откинув чадру облаков, солнце, лик свой яви,
> Чтоб радость мне блеск лучезарный принес, я жажду.
> Призывный звук твой слышу и вновь лететь,
> Как сокол, по зову царя к свершению грез я жажду.
> Ты влага, что небо дает, — мгновенный поток.
> Безбрежного моря лазури я жажду.
> Я нищий, но мелким камням самоцветным не рад:
> Таких, как пронизанный светом утес, я жажду… [8]

Джалалиддин писал на народном языке его времени. Фарси на Ближнем и Среднем Востоке играл в средние века ту же роль межнационального литературного языка, которую в Европе играла латынь. Но у Джалалиддина есть стихи, написанные по-арабски, на простонародном диалекте Халеба, есть строки, написанные на народном греческом языке, есть строки по-тюркски.

Ныне он переведен на большинство языков мира. Им восхищались Гёте и Гегель. Великий индийский поэт XX века Икбал назвал его своим учителем и наставником. Великий турецкий поэт-коммунист Назым Хикмет писал в тюрьме четверостишия-рубаи: первые две строки Джалалиддина, последующие две — ответ Назыма Хикмета. И в последнем своем романе не раз цитировал начальные строки «Месневи».

Джалалиддин именовал себя и своих последователей

ашиками — влюбленными. Одним из первых турецких ашиков был молодой крестьянин, пришедший в Конью пешком с черноморского побережья, чтобы постичь всю премудрость наук его времени. Незадолго до смерти Джалалиддина он присутствовал на его беседах, слушал стихи из его уст.

И под старость рассказал об этом в своих собственных стихах на турецком языке.

Не сын Султан Велед, основавший к тому времени дервишскую секту и пробовавший свои силы в турецком стихосложении, а этот крестьянин, примкнувший к антифеодальному народному движению последователей Баба Исхака, стал наследником бунтарского гуманистического духа поэзии Джалалиддина Руми. Этот крестьянский парень стал великим турецким поэтом Юнусом Эмре.

С той поры целых шесть веков двумя раздельными рукавами потечет турецкая поэзия. Один — поэзия ашиков, вбирающая в себя традиции народного стиха, другой — поэзия диванов, литературно-классическая, традиционная, забавлявшая и утешавшая двор султанов, феодальную знать и челядь. У истоков первой стоит Юнус Эмре, у истоков второй — Султан Велед. Но обе они текут из океана, имя которому Джалалиддин Руми.

–

В пятьдесят лет он был готов уместить весь этот океан — все свои познания и прозрения, весь свой путь к истине, все, что он понял, чем стал и что оставит людям, в книге, которую потомки долго будут именовать «персидским Кораном», но которую он сам назовет просто «Месневи».

«Месневи» — означает рифмующиеся двустишия. Таким стихом разными поэтами написано много книг. Но когда теперь говорят «Месневи», то имеют в виду книгу Джалалиддина.

Из нее самой видно, как она писалась. На улице, во время беседы с учениками, дома, во время сэма или даже в бане поэт, взволновавшись, начинал говорить стихом. Хюсаметтин тут же вынимал из джилбенда — кожаной папки, украшенной тиснением, — лист бумаги, из-за пояса чернильницу-невыливайку, из трубки перо и принимался записывать, забыв обо всем на свете.

Читая «Месневи», слышишь не только голос самого поэта, но и его собеседников. Они задают вопросы, иногда выставляют свои возражения. Вопрос наводит поэта на воспоминание о своих странствиях, а от них он обращается к событиям дня — спору с

улемами, неурожаю, придворным интригам. Народные обычаи и прочитанные им книги, легенды, анекдоты и предания, суры Корана, стихи Мутаннаби, Аттара и Санайи, притчи его отца Султана Улемов, беседы с Шемседдином, наставления Сеида Тайновидца — все становится строительным материалом, которым зодчий распоряжается с совершенной свободой творца, все идет в дело.

Среди его собеседников на первом месте в «Месневи» стоит Хюсаметтин. К нему он обращается с благодарностью за то, что тот побудил его к работе. Заметит, что взошло солнце, и просит у него прощения, что заставил писать всю ночь до утра. Услышит его просьбу и скажет: «Душа Хюсаметтин тянет меня за полу, во имя многолетней дружбы просит рассказать о Шемсе».

И битвы, и философские притчи, и споры, и анекдоты свободно укладываются в размер. Поэт говорит стихами с такой непринужденностью, с какой редко беседуют люди обычной прозой, мгновенно находит любое нужное ему слово. И эта непринужденная свобода и простота создают ощущение сиюминутности — читателю через семь веков кажется, что он присутствует при событиях, которые родили в сердце поэта именно эти самые строки.

Однажды под утро вспоминает Джалалиддин, что давно уже не было у него во рту и маковой росинки. Но, съев кусок хлеба, с сожалением замечает: еда заморозила кипение мыслей. И предлагает Хюсаметтину отложить перо до следующего раза. «Лишь терпенье помогает цель достигнуть».

Так кончается первый том «Месневи».

Но следующий раз наступил не скоро. Целых пять лет отделили то утро, когда они с Хюсаметтином, съев по куску хлеба, отложили перо, от начала второго тома бессмертной книги.

Джалалиддину предстояло пережить еще одну, последнюю в своей жизни потерю — смерть золотых дел мастера Саляхаддина.

–

«Мевляна и Саляхаддин были одной душою в двух телах, — писал Султан Велед. — В согласии и радости провели они, опьяненные друг другом, десять лет, не зная похмелья разлуки. Чистые сердцем друзья сидели вокруг них. Они были как два моря, все остальные — пена. Они были как два месяца, все остальные — звезды. Все были слугами, они — как два падишаха. Всем была от них помощь и польза».

Но Саляхаддин был уже очень стар. Исподволь подкралась к нему смертельная болезнь. Он таял день ото дня, но воля его по-прежнему была несокрушима, и никому не показывал он страданий своего тела. Он боролся изо всех сил.

Как обычно, Мевляна навещал его каждый день. Он верил, что воля друга одолеет и эту напасть.

«Мевляна не желал его смерти, — писал Велед. — И потому болезнь Саляхаддина тянулась долго. Наконец тот взмолился: «Позволь мне уйти из этого мира, дабы избавиться от мук».

Ни одной просьбы Саляхаддина никогда не оставлял Мевляна без ответа. Как ни тяжко было ему сейчас, не мог он не выполнить и эту. Если друг предпочел разлуку, значит страдания его стали непереносимы.

Долгим взглядом попрощался он с Саляхаддином и вышел, чтобы никогда больше не увидеться с ним.

Три дня не навещал Джалалиддин золотых дел мастера. Тот понял: его просьба уважена. Приготовился к смерти и завещал: «Похороните меня не со скорбью, а с веселием. С музыкой и пением опустите меня в могилу».

Поэт и его друзья исполнили завещание. 29 декабря 1258 года свершились похороны, подобных которым дотоле не видел мусульманский мир. Гремели бубны и барабаны, пели флейты, чтецы распевали стихи. А впереди процессии с непокрытой головой плясал и возглашал газели сам Мевляна.

> Ты улетел, как из лука стрела, и рыдает еще тетива.
> О Саляхаддин, только тот, кто жалеет людей, сумеет оплакать тебя!

И снова возмутились богословы и муллы: что творит этот безумец, этот безбожник?

С Джалалиддином, однако, никто уже не мог ничего поделать.

После плача по Саляхаддину поэт умолк на целых пять лет. Шемседдин Тебризи зажег в нем пламя, в котором сгорел сам, подобно мотыльку, но сделал Джалалиддина поэтом.

Пламя, разожженное Шемсом, сожгло бы и самого Джалалиддина, не явись золотых дел мастер Саляхаддин: он оградил это пламя от черного ветра бейской ненависти, своей мощной волей укротил и направил его горение. Рядом с Саляхаддином обрел поэт мудрость и величие, во всем дошел до последнего предела.

Теперь все перегорело, все было сказано, и, быть может, подобно своему наставнику Сеиду, он после смерти золотых дел

мастера до конца своих дней молча глядел бы внутрь себя, если бы не вдохновитель «Месневи» Хасан Хюсаметтин по прозвищу Ахи Тюрок.

Сын старейшины всех братств ахи в Конье, Хюсаметтин после смерти отца отказался от поста главы братства, сделался настоятелем небольшой обители и «писарем тайн» поэта. Он был среди тех, кто принял и признал Шемса, вместе с Саляхаддином оберегал поэта от покушений беев и улемов и первым из старейшин ахи повелел своим мюридам не бросать ремесла, а помогать деньгами поэту и его ученикам.

И когда не стало Саляхаддина, поэт поставил во главе своих последователей «писаря тайн». Хюсаметтин наставлял их, читал поучения, давал советы и разрешал трудности. Ему поэт отдавал все деньги, которые считал возможным принять, все пожертвования, поступавшие в медресе, дабы тот распоряжался ими по своему усмотрению.

Как-то влиятельный вельможа Таджиддин Мутаз прислал из города Аксарая большую сумму, прося помолиться за него. Мевляна по обыкновению отдал ее Хюсаметтину.

— У нас в доме ничего нет, — не выдержал Велед, — ты все отсылаешь к Хюсаметтину, а нам-то как быть?!

— Клянусь тебе, сын мой, — огорченно ответил поэт, — если бы даже сто тысяч суфиев и аскетов умирали с голода и у нас был бы всего один каравай хлеба, я и его отправил бы Хюсаметтину.

Кто-то из друзей спросил поэта:

— Кто выше из трех — Шемс, Саляхаддин или Хюсаметтин?

— Эй, товарищ! — воскликнул поэт. — Шемс был как солнце. Саляхаддин подобен луне. А шах Хюсаметтин — звезда… Когда заходит солнце, ночь освещает луна. Ну а если и луна зайдет за тучу, кто может дать нам свет, кроме звезд?!

Но, быть может, оттого, что Хюсаметтин был его последней любовью, в которой воплотились все, кого любил и потерял поэт, он благоволил к нему, как к ребенку, выполняя все его пожелания. По свидетельству современников, тот, кто впервые видел их вместе, мог бы решить, что Мевляна не учитель Хюсаметтина, а его мюрид.

Чем дальше продвигалась их работа над «Месневи», тем сильней росла привязанность поэта. Свидетельством тому сама книга, в которой от тома к тому все громче звучит хвала Хюсаметтину. Но даже ему, Хюсаметтину, понадобилось пять с лишним лет, прежде чем удалось побудить поэта продолжить его бессмертную поэму.

Пятнадцатого дня, месяца раджаба 662 года хиджры, или 1264 года по нашему календарю, Джалалиддин продиктовал

начальные строки второго тома «Месневи».

> «Месневи» задержалось на время. Время нужно, чтоб кровь в молоко обратилась.
> Чтоб дитя, что зачато судьбою, родилось.
> Светоч истины Хюсаметтин повернул небес удила,
> И опять «Месневи» началась, потекли за словами слова.

–

«Месневи» — книга, подобной которой не знала и не знает мировая литература. Начать с того, что она не написана поэтом, а сказана им. Поэзия — не для чтения, для произнесения вслух. Новаторство, приписываемое поэтам XX века, Джалалиддин осуществил в XIII.

«Месневи» создавалась величайшим мастером слова. Но без всякого видимого труда над словом. Гениальным мастером поэтической формы, но без всякой видимой заботы о форме.

«Месневи» не имеет заранее обдуманного плана, не подчиняется никаким канонам. Один-единственный закон движет ею — свобода. Свобода мысли, духа, свобода выражения, свобода ассоциаций.

Шесть томов книги, двадцать пять тысяч шестьсот восемнадцать двустиший создавались на протяжении пятнадцати лет. Но это одна книга, единая по стилю, по взгляду на мир.

Великий поэт был наделен ассоциативным мышлением необыкновенной мощи. И эта мощь позволяла ему сопрягать несопрягаемое, сопоставлять несопоставимое, чтобы вскрыть сущность явления. Ассоциативность — мотор «Месневи», работающий на неиссякаемом горючем диалектики Джалалиддина.

Поэт начинает мыслить и высказывает свою мысль вслух. Одна мысль приводит к другой, ее подгоняет третья. Чтобы подкрепить ее, он вспоминает народный рассказ, в котором действуют люди, животные. По поводу какого-либо из персонажей поэт вспоминает легенду. Вдруг перевоплощается в одного из ее героев, выходит из себя при воспоминании о чем-то своем, личном, достигает высочайших лирических озарений, заставляя слушателей смеяться и плакать. Потом, придя в себя, возвращается к первому рассказу. Вновь прерывает его посредине: анализом психического состояния героев или философским тезисом. Отвечает на вопросы учеников. И опять продолжает

рассказ, чтобы, окончив его, вернуться к мысли, высказанной прежде, но не развернутой во всей полноте.

Так течет, словно сама жизнь, свободная поэтическая речь. Временами монотонная, как падение капель дождя, как смена дней и ночей, течение лет. Иногда пламенная, страстная. Иногда веселая, подчас скабрезная.

О чем же эта книга? О единстве мира и единстве человечества. Но и о бесконечном разнообразии мира и разъединенности людей. О величии совершенного человека. Но и о человеческих слабостях. О любви. Но и о ненависти.

Чтобы ответить на вопрос, о чем говорит «Месневи», нужно написать такое же «Месневи».

Книги подобного эпического размаха обычно слагаются в течение веков народами. В «Месневи» вошли сказки, притчи, предания, легенды, пословицы многих народов. Но все-таки она сложена одним человеком. И это с трудом укладывается в сознании. Вероятно, поэтому в средние века ее и называли «персидским Кораном».

Позднее «Месневи» именовали и «энциклопедией суфизма» и «энциклопедией фольклора того времени». Но с не меньшим успехом ее можно назвать сводом научных знаний, кодексом морально-этических правил, руководством по психоанализу.

В ней есть все. В ней сказано все. Обо всем. Она сама как мир, единство которого проявляется через бесконечность многообразия.

«Месневи» рассказывает не об истории шахов и царей, не о приключениях Синдбада-морехода…

«Месневи» — это грандиозная симфония человеческого духа в его стремлении освоить весь мир и осознать себя.

Необычная судьба ждала эту необычную книгу. Вскоре после ее создания ее стали заучивать наизусть. Те, кто знал «Месневи» на память, получали звание месневи-хан.

В Иране, в Средней Азии, в Индии, но прежде всего в Малой Азии были созданы специальные школы — «Дарру-ль-Месневи», где изучали и толковали поэму Джалалиддина Руми. Из «Месневи» были составлены десятки сборников, написаны сотни томов комментариев и толкований к ней на арабском, турецком и персидском языках.

Лишь религиозной нетерпимостью христианнейшей средневековой Европы да невежественным высокомерием Европы буржуазной, считавшей дикарями большинство культурных народов мира, можно объяснить, что вплоть до XIX века в Европе не знали об этой книге.

Власть Коньи слабела с каждым днем. То здесь, то там вспыхивали бунты отчаяния. Усобицы беев, мздоимство кадиев, зверства откупщиков вконец разорили страну. Деревни опустели. По дорогам бродили голодные разбойничьи шайки. Зарастали травой караванные пути. Близился конец некогда могущественной сельджукской державы.

Джалалиддин не желал при нем присутствовать. Прошло десять лет с того дня, как он избрал Хюсаметтина своим наместником. Подошел к концу последний, шестой том «Месневи». По обыкновению Хюсаметтин прочел последние листы черновиков и внес по его указанию последние поправки. Остался незаконченным лишь рассказ о трех принцах-шахзаде. Но он есть в книге бесед Шемса. Закончить его может и Велед.

Дело его жизни завершено. Настал его час.

Тело, почти семьдесят лет не знавшее ни спуска, ни пощады, изнуренное странствиями, мучительными поисками истины, годами подвижничества, закалившими волю, но подорвавшими здоровье, испепеленное разлуками, любовью и состраданием, уже плохо его слушалось.

В одном из писем к Хюсаметтину он писал: «Тело — конь с его бесчисленными болячками, то занеможет, то обратится в тигра, а то в хромого осла, не подчиняется велениям сердца моего, не идет с ним вровень. Порой трясет, порой качает. То занесет в сторону, то отстанет. Не выздоравливает, но и не умирает».

Кира-хатун, видя его немощь, как-то воскликнула:

— Триста-четыреста лет надо бы жить господину нашему, дабы наполнить мир смыслом и истиной!

— Что ты! Что ты! — встревожился Джалалиддин. — Я ведь не египетский фараон!

Где мир земной, а где жемчужное зерно?!
Как здесь темно! Откройте дверь темницы!
Чтоб людям воздавать добро, я обречен на заключенье!
За что? Ведь я ни у кого не крал добра?!..

Все чаще проводил он дни в молчаливом самоуглублении. То вдруг возглашал странные стихи о смерти:

О те, кто из клетки уже улетел! Покажитесь, явите ваш лик!

О те, чья ладья потонула в волнах! Из воды появитесь, как рыба, на миг.

Иль, быть может, подобно жемчужине, в ступе дней размололо вас в пыль?

Все равно, то не пыль, а сурьма: ею время наводит красу на глаза.

О все, кто рожден! Когда смерть постучит в вашу дверь, не пугайтесь!

Смерть — второе рожденье для тех, кто влюблен. Так рождайтесь, рождайтесь!

–

Осень 1273 года выдалась в Конье на редкость холодная, дождливая, с пронзительными ветрами.

Как-то в пятницу, возвращаясь домой, поэт попал под ливень. Пришел иззябший, продрогший.

Наутро не поднялся с тюфяка. Жар опалил тонкое изжелто-бледное лицо. Глаза лихорадочно горели.

Кира-хатун послала за лекарями. Тут же явились верные друзья, видные знатоки медицины Акмалиддин и Газанфари. Осмотрели изможденное тело Мевляны. Определили: лихорадку.

Несколько дней и ночей потчевали его зельями, растирали и даже пустили кровь. Жар начал спадать.

–

На следующей неделе в среду горожане проснулись под утро от глухого раскатистого гула. Дома заходили ходуном. Люди в панике выбежали во двор, на улицы.

Днем последовало еще два подземных толчка. Кое-где обвалились дувалы. Под кровлями старых домов в кварталах бедноты погибли люди. Жители Коньи, не исключая беев и самого Перване, переселились в наметы, шатры, палатки.

Вечером шесть старейшин ахи с рынка ремесленников пришли к Джалалиддину справиться о здоровье.

Велед провел их к больному, рассадил на тюфяках.

Поэт полусидел на постели, откинувшись на подушки. Ноги его лежали в тазу с прохладной водой, под рукою стояла наполненная водой чаша. Он то и дело опускал в нее ладонь, проводил влажными пальцами по груди, по лицу, чтобы утишить

жар.

Старейшины ахи, люди мастеровые, практичные, пришли проведать его не без задней мысли. Давно уверовали они, что поэту ведомо все, происходящее на небе, на земле и под землей, и хотели узнать, чего можно ждать от землетрясения, на что им надеяться и как быть. Но, увидев больного, не решились задавать ему вопросы.

Джалалиддин понял их. Из древних летописей было ему известно, что здесь, в Конье, разрушительны бывают обычно лишь первые два удара, да и то редко. И потому, поблагодарив за пожелания здоровья, — он-то знал, что больше не встанет, — сказал медленно, часто останавливаясь, чтобы перевести дыхание:

— А трясения земли не страшитесь! Несчастная земля наша требует жирного куска. — Он улыбнулся, приложив ладони к своей впалой, тощей груди. — Надо его предать земле. И она успокоится…

–

Наутро в сопровождении старшего мюрида в роскошном халате и чалме аршина в три длиной явился шейх Садриддин Коневи. Старая лиса, немало горьких дней пришлось пережить из-за него Джалалиддину. Клеветы и нападки шейха на его стихи, на любимый ребаб, на пляски и песнопения, без сомнения, приблизили его к смерти — известно, поэты умирают не от болезней, а от огорчений. Но шейх Садриддин был умен, по крайней мере, настолько, чтобы вовремя отступиться, поняв: нашла коса на камень. И в последние годы не только публично свидетельствовал ему свое уважение, но даже объявил себя почитателем поэта.

Теперь он явился к умиравшему, чтобы высказать ему соболезнование. Надеялся, верно, что, ослабев телом, ослабнет он и духом и хотя бы не станет поминать былого в присутствии сына своего Веледа и наместника Хюсаметтина. А он, Садриддин, извлечет пользу: последнее свидание с поэтом поможет ему выдать себя за его толкователя и наследника: ведь мертвые не в силах возражать.

Шейх сделал знак. Мюрид вышел вперед и с поклоном поставил возле постели больного два кувшина — один с кизиловым, другой с гранатовым шербетом. Считалось, что они помогают унять лихорадку.

Склонившись до земли в поклоне, шейх молвил:

— Да ниспошлет возлюбленный наш Аллах тебе, о султан духа, скорейшее исцеление!

Напрасно рассчитывал шейх на слабость поэта. Да, тело его ослабло, но не дух.

Выпрямившись на постели, Джалалиддин, ничем не выдавая иронии, со страстью ответствовал:

— Между возлюбленным Аллахом и влюбленным в него рабом осталась лишь рубашка тоньше шелка! Не знаю, как вы, я же предпочитаю любовные объятия нагишом! А исцеление Аллах пусть дарует вам самим, почтенный шейх!

Он поглядел на Хюсаметтина, сидевшего у изголовья, поджав ноги.

Пускай рубаха тоньше волоса иль шелка!
Объятия любви мне слаще нагишом.
Рванув с души рубаху тела, я приближаюсь голышом
К последней степени соитья с миром.

Поэт остановился, чтобы перевести дух. В тишине громко заскрипело раздвоенное тростниковое перо Хюсаметтина. И этот скрип, к которому он привык за долгие годы их совместного труда, казалось, помог умиравшему обрести второе дыхание. Обращаясь куда-то вдаль, мимо шейха Садриддина, стоявшего с опущенной головой, мимо Хюсаметтина, застывшего с пером в руке, поэт, прислушиваясь к звукам собственного голоса, прочел:

— Вселенную моей души и в ней царящего султана откуда знать тебе?!
Ты не гляди, что золота желтей мое чело. Моя нога железа тверже.
Подобен солнцу я, подобен морю, полному жемчужин.
Все небо в сердце у меня, а вся земля — вокруг.
Пчелой кружусь я в чаше мира. Но ты внимаешь лишь жужжанью.
А у меня есть ульи, до краев наполненные медом слов.
Священнее они словес калама. Есть голубятня, я ее воздвиг
Для голубей души. О духа голуби, ко мне, ко мне летите!..
Я умолкаю: нет в тебе ума, его не нажил ты для пониманья.
И уши ты развесил зря: «Мой ум-де видит все». Меня ты не обманешь!

Не поднимая головы, в глубокой задумчивости пошел со двора шейх Садриддин, сопровождаемый своим наместником. В этом скромном жилище не было наложниц и невольниц, красивых мальчиков-слуг, гаремных евнухов и привратников. Не видел он здесь ни роскошных ковров, ни широких мягких соф, ни парчовых занавесей, коими была убрана его собственная обитель. Но здесь он лицом к лицу встретился с силой, рядом с которой он, могущественный богослов державы, со всем своим богатством и славой показался себе самому ничтожным и пустым, подобно бусине-стеклышку, при свете солнца.

И в страхе, что ничтожество его теперь заметно каждому встречному, выйдя со двора, шейх Садриддин устремил взгляд в пространство и зашагал с необычайной торжественностью, точно удостоился великой благодати.

Беседа с шейхом дорого обошлась поэту. Весь день он пролежал без сил, не в состоянии вымолвить ни слова.

–

Суббота шестнадцатого декабря тысяча двести семьдесят третьего года выпала ясная, солнечная. Поэт почувствовал себя лучше. Весь день до самого вечера снова беседовал он с посетителями. А Хюсаметтин записывал его слова.

И весь день, сменяя друг друга, провели у его постели Велед и сын от второго брака Алим Челеби.

Велед уже много ночей не смыкал глаз. Почернел, спал с лица. От румянца на щеках и следа не осталось.

Под утро отец тихо окликнул его. С грустью посмотрел в его воспаленные глаза:

— Мне лучше… Ступай полежи немного…

Велед отвернулся, скрывая слезы, и вышел. Глядя ему вслед, Джалалиддин проговорил:

— Меня оставь и на постель склони главу.
Все ночи напролет с душой испепеленной я плыву.
В волнах любви, что захлестнут меня вот-вот.
Коль можешь ты — прости. Не можешь — что ж!
Себя беде не подвергай, ступай, меня оставь.
В долине горя слезы льем. На реках наших слез
Ты сотни прочных мельниц ставь, что перемелют ложь.
Не сердце, мрамор у того, кто нас к себе зовет.
Убьет — никто за кровь и смерть не спросит у него.
И помни, верности твоей не надо мне, ашик.

У Истины прекрасен лик. Будь верен только ей…

Дрожащей рукою, не чернилами, кровью сердца записал эти строки своего учителя Хюсаметтин. То было последнее пламенное признание поэта в любви к миру, его упование, что недаром пролиты реки слез — быть может, завертят они жернова мельниц Правды. И его надежда, что сын Велед будет не наследником, верным его памяти, а бунтарем, верным Истине.

–

Воскресенье прошло в томительном молчании. Джалалиддину стало совсем плохо.

Слух об этом прокатился по рынку ремесленников, оттуда — в дервишские ханаки, медресе, мечети, дома горожан и беев, во дворцы и кварталы бедняков, в окрестные деревни. Конья затаилась в ожидании удара.

И когда красный шар солнца коснулся горных вершин Теккели на западе от города, рыдания огласили его улицы.

Не стало сына балхского проповедника Султана Улемов, мужа Гаухер и Киры-хатун, отца Веледа и Алима Челеби, друга Шемседдина Тебризи, учителя золотых дел мастера Саляхаддина, Хюсаметтина Челеби, Аляэддина, Сирьянуса, не стало подданного сельджукских султанов, суфийского наставника, настоятеля конийского медресе Мевляны Мухаммада Джалалиддина.

Но навечно остался с человечеством автор «Месневи» и «Великого Дивана», один из величайших поэтов и мудрецов, который будет жить, доколе живо само человечество, и заново рождаться вместе с поколениями, еще не рожденными — Джалалиддин Руми.

Он знал и это: «Я не из тех султанов, что с трона прыгают в гроб. На челе моем — печать бессмертия».

И потому завещал:

В тот день, когда умру, вы не заламывайте руки,
Не плачьте, не твердите о разлуке!
То не разлуки, а свиданья день.
Светило закатилось, но взойдет.
Зерно упало в землю — прорастет!

–

Всю ночь сыновья, друзья и ученики в молчании, прерываемом стихами, сменяя друг друга, провели у тела поэта.

А на рассвете город огласился воплем глашатаев:

— Сал-я-я!.. Саля-я!.. Саля-я!

Во многих домах, караван-сараях, обителях и медресе Коньи не спали той ночью, ожидая сигнала к последнему прощанию. И когда этот сигнал прозвучал, тысячные толпы высыпали на улицы. Взрослые, женщины, дети, братья ахи, старейшины, подмастерья, бейская челядь, дворцовые слуги, купцы, крестьяне окрестных деревень, босоногие, с непокрытыми головами — каждый хотел подставить плечо под гроб, накрытый тем самым лиловым ферадже, по которому в городе за сорок с лишним лет привыкли узнавать Джалалиддина. По обычаю, перед гробом гнали восемь волов, чтобы принести их в жертву над могилой, а мясо раздать беднякам.

Когда процессия вышла на главную улицу, ведущую от холма султана Аляэддина, на котором стоял дворец, к соборной мечети, где над телом покойного должен был свершиться последний обряд, толпа стиснула ее со всех сторон. Тюрки и хорасанцы, греки и армяне, мусульмане, православные, иудеи — все пришли попрощаться с поэтом, каждый на свой лад. Хафизы читали Коран, раввины — библию, православные священники пели псалмы, ашики играли на ребабе, стучали в бубны, плясали, возглашая в экстазе стихи о любви. Процессия остановилась, стиснутая толпой.

И тогда по мановению руки Перване — он стоял на пригорке у дворцовых ворот — стража, обнажив сабли, принялась избивать, разгонять людей. Все смешалось: молитвы и рыдания, крики боли и стихи, музыка и вопли ярости.

То была первая после смерти поэта попытка отделить его от народа. И несдобровать бы стражникам, несдобровать под натиском толпы окружавшим гроб улемам и факихам, да и друзьям поэта, если б гроб не выпал у них из рук на землю. При виде расколовшихся досок и белого савана, в который было завернуто лежащее на земле тело, толпа в благоговейном ужасе оцепенела. Друзья подняли поэта на руки, и в наступившей тишине снова зазвучали слова Корана, перекрываемые стуком топоров, чинивших разломанные доски гроба.

От кучки улемов, в высоченных, обмотанных чалмами клобуках, отделилась хилая старческая фигурка и семенящей рысцой побежала к стоявшему на холме Муиниддину Перване. Когда старик — это был тот самый факих на побегушках, который некогда вручил Джалалиддину вопросы экзаменовавших поэта невежд, — достиг вершины холма, он склонился в три погибели,

едва не замарав землей свою жидкую бороденку, и проговорил:

— О всемилостивый властитель, падишах эмиров! Столпы веры спрашивают тебя: «Что надобно христианам и иудеям среди правоверных, хоронящих своего шейха? Как посмели они явиться на похороны падишаха ислама? Повели им убраться прочь, дабы мы спокойно могли отдать последний долг рабу Аллаха Джалалиддину Мухаммаду!..

— Ты прав, факих! — кивнул ему Перване.

И, повелев призвать к нему иудейских и христианских священнослужителей, приказал им увести прочь своих единоверцев.

— О повелитель милостивых! — ответствовал настоятель православного собора отец Стефаний. — Как солнце освещает своим светом весь мир, так Мевляна осветил светом истины все человечество. Солнце же принадлежит всем. Разве не сам он сказал: «От меня узнают о тайне семьдесят два народа. Я — флейта, что в каждой ноте таит по сотне звучаний!» Если бы мы и приказали верующим уйти, они бы нас все равно не послушались…

— Мевляна как хлеб, — подхватил глава иудейской общины раввин Хайаффа. — А хлеб нужен всем. Где видел ты, эмир, чтобы голодные сами бежали от хлеба?

Муиниддину Перване осталось только развести руками. Да и что мог он поделать? Никакая сила не могла в этой толпе отделить неверных от правоверных. Все они были равны для Джалалиддина.

Кто б ты ни был, приди все равно.
Ты безбожник иль пламя твой бог — все равно.
Сотни раз ты нарушил зарок — все равно.
Не в безнадежность ведет наш порог.
Кем бы ты ни был, приди все равно.

Гроб подняли на плечи. Снова зазвучали стихи, молитвы, музыка, рыдания. И снова под напором толпы остановилась процессия. Опять пошли в ход сабли и дубинки. И опять упал на землю гроб Джалалиддина.

За двадцать минут проходил он при жизни путь, который предстояло ему теперь пройти на плечах людей. Четырежды ломался на этом пути гроб. Четырежды избивали людей стражники. И четырежды ремесленных дел мастера — верная опора поэта — чинили его последнее обиталище.

Лишь под вечер процессия, тронувшаяся в путь ранним утром, достигла мечети.

–

Гроб поставили на каменную скамью. Вперед вышел шейх Садриддин Коневи, вынул из рукава четки. Ему-де завещал поэт прочесть последнюю молитву над его телом.

— Пожалуйте, о падишах шейхов! — крикнул Садриддину глашатай. Тот двинулся было к гробу. Но лекарь Акмалиддин, закрывший поэту глаза, не выдержал:

— Замолчи, глашатай. Падишахом шейхов был только Мевляна!

Садриддин так и застыл с четками в руках. Кровь бросилась ему в голову, точно перед лицом всего города уличили его в двоедушии. Горло перехватила судорога, и он упал на землю.

Когда его унесли, кадий Сираджиддин прочел последнюю молитву.

— Как вы знали покойного?

— Хорошо! — ответил гром голосов.

— Добром ли помянем его?

— Добром!..

–

Окончился наконец и этот страшный день. Рядом с надгробиями Султана Улемов из Балха, золотых дел мастера Саляхаддина из Коньи вырос еще один маленький холмик свежей земли. Нищие получили по куску мяса жертвенных волов, Толпа медленно расходилась.

Последним в сторону города, озаренного багровым закатом, повернулся Хюсаметтин… Нет, не в земле, в сердце Хюсаметтина пребывал теперь его друг, его наставник Мевляна Джалалиддин. В сердцах всех этих людей, расходившихся по своим темным, сумеречным жилищам. Учитель сказал правду:

После смерти моей ищите меня не в земле,
А в сердцах просвещенных людей.

–

Почти семь столетий минуло с того дня. И вот мы стоим на холме Аляэддина в Конье. От крепостных стен, окружавших город, не осталось и следа. Ветер шелестит листвой деревьев.

Лишь полуразвалившаяся башня напоминает о том, что здесь некогда стоял дворец могущественнейшего султана мусульманского мира.

Отсюда с холма хорошо видны минареты мечети в конце главной улицы города. Купол мечети зеленоватый. Не то цвета морской волны, не то зимнего конийского неба.

По этой улице шестьсот девяносто четыре года назад несли в последний путь Джалалиддина Руми. Зеленый купол — «Куббе-и-хазра» воздвигнут над его могилой два с половиной века спустя.

В мечети теперь музей. Здесь хранятся стеганый ватный халат поэта, три серые шерстяные тюбетеи — сикке, первые списки его стихов, рукописные книги современников. И кованый набалдашник от палки да расписная шапка ладьей — все, что осталось от брошенного в колодец Шемседдина Тебризи.

В просторном внутреннем дворике неустанно звенит вода. И неиссякающим потоком с утра до вечера идут люди. Крестьянки окрестных деревень, по глаза закутанные в черные платки. Туристы из Европы в черных очках, в мини— и макси-юбках, с фотоаппаратами на шее. Приезжие из Анкары и Стамбула. Путники из Афганистана и Индии. Ремесленники, чиновники, школьники.

При входе в музей снимают обувь. Звучит записанная на магнитофон негромкая старинная музыка — любимые поэтом ребаб и най. В витрине застыли в пляске фигурки ашиков в белых одеяниях. Кто-то рядом шепотом читает начертанные на белой картонке строки Джалалиддина:

— Будь тем, чем ты кажешься, или кажись тем, что ты есть.

Стены мечети разукрашены славными каллиграфами XVI века сплошной вязью арабских букв. Невиданный цветник стихов. Кто-то рядом снова читает:

Предо мною плошка с кислым молоком.
И всех шербетов мира мне не надо.
Голодный я тружусь, чтоб утолить твой голод.
И ни за что свободу в рабство не продам.

Давно нет на свете султанов и визирей. Кто помнит их указы и повеления? Сколько людей знают по именам падишахов сельджукской державы и их временщиков?

Семьсот лет прошло. А люди все идут и идут к Джалалиддину. До шестнадцати тысяч в день. Зачем?

Мы выходим на улицу. Как в тот немыслимо далекий день, багровый закат пламенеет над Коньей. В небе медленно расплывается белая полоса, прочерченная реактивным

самолетом. Семь столетий.

Но, думается, Джалалиддин Руми не удивился бы и первым шагам человека по Луне. Он был убежден, что, овладев силами своего разума и духа, человечество подчинит себе вселенную.

Его занимали не средства, а цель. Такой целью он считал Совершенного Человека.

4 мая 1971 г.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ К КНИГЕ Р. ФИША О ДЖАЛАЛИДДИНЕ РУМИ

Высшее достижение духовной культуры — смелая, вольнолюбивая мысль, проникающая в самые глубины действительности и вдохновляющая на преобразование ее, — свойственна и присуща всем народам мира на разных ступенях их исторического роста. Вместе с тем формы ее проявления в силу различия конкретных исторических судеб могут быть и бывают у разных народов различными, своеобразными, самобытными. К. Маркс и В. И. Ленин не раз отмечали, что революционная идея, раскрывающая закономерности развития природы и общества, проявилась, например, с наибольшей силой у англичан в политической экономии, а у немцев — в классической философии. Источники такого различия коренятся не в пресловутом непознаваемом «национальном духе», а в конкретно-историческом бытии, сложившемся в определенную эпоху в Англии и Германии.

Не место здесь говорить подробно о различии исторических условий у разных народов. Приходится ограничиться лишь констатацией того, что, как установлено историко-литературными исследованиями, вольная и взыскующая мысль проявилась в иранской культуре (и в тесно связанной с ней культуре народов Средней Азии и Ближнего Востока) в наиболее яркой и впечатляющей форме в поэзии. Именно это и придало этой классической поэзии мировое звучание. Достаточно назвать хотя бы всемирно прославленных Омара Хайяма и Хафиза. А ведь Гёте, напомнив о иранской традиции считать великими лишь только семерых своих поэтов, говорил, что в числе остальных, не включенных в великую семерку, немало таких, которые достойнее его, Гёте. Конечно, в гётевской оценке сказалась скромность гения, но вместе с тем в ней содержится и исторически верная характеристика мировой значимости иранской классической поэзии, правильное определение достигнутых ею высот художественного выражения гуманистической идеи.

Своим светом, особенно ярким, сверкает в этом поэтическом созвездии звезда Джалалиддина Руми, замечательного человека, поэта-диалектика. Но как противоречиво его творчество! Это приводит к полярно противоположному его восприятию разными читательскими кругами. Насколько невообразимо велика амплитуда колебаний в оценке сущности этого противоречивого творчества, можно судить хотя бы по такому примеру.

Один полюс. Преданный сын иранского народа, верный ленинец, Хосров Рузбех, казненный за свою приверженность идее коммунизма и за самоотверженную борьбу за нее, произнес свое последнее слово на суде, перед казнью — слово революционной исповеди и беспощадного разоблачения мира рабства и насилия. Это слово было услышано передовым человечеством, оно было опубликовано под названием «Сердце, врученное бурям» (Русский перевод. М., Издательство иностранной литературы, 1962.) В этой речи несгибаемый революционер, разъясняя положение К. Маркса о коммунизме как реальном гуманизме, иллюстрирует свою мысль стихами Руми, показывая всю их жизненность для нашего времени. Может ли быть более высокая оценка значительности и бессмертия поэта XIII в., чем использование его стихов как орудия в современной борьбе за высший идеал человечества?

А вот другой полюс. В известной повести основоположника таджикской советской литературы С. Айни «Смерть ростовщика» выведен омерзительный тип бухарского кровососа, религиозного ханжи, этакая помесь Плюшкина и Иудушки Головлева. В повести, кроме грязных делишек этого ростовщика, показано, что он особенно рьяно посещал мечеть, когда там читали вслух услаждавшие его грязное сердце стихи… Джалалиддина Руми. Можно ли представить бтльшую полярность оценок и суждений об одном и том же поэте?

Каков же действительный Руми? Советская литературоведческая наука дала аргументированный ответ на этот вопрос: это великий поэт, который в свой жестокий век произвола и деспотизма в формах мистической поэзии сумел поднять образ человеческой личности до высот обожествления; это — поэт, чье творчество воспринимается людьми XX в. как гимн Человеку с большой буквы. Концепция человека в творчестве Руми, во многом типологически родственная ренессансной, выражена в формулах мистического созерцания (между прочим, так же как и у некоторых представителей европейского Ренессанса). Вспомним глубокое высказывание Ф. Энгельса о том, что в условиях господства религиозного сознания в эпоху средневековья все оппозиционное феодально-церковному мракобесию не могло выражаться иначе, чем в религиозной форме, в частности, в формах ереси и антиортодоксального мистицизма:

«Революционная оппозиция против феодализма проходит через все Средневековье. В зависимости от условий времени она выступает то в виде мистики, то в виде открытой ереси, то в виде вооруженного восстания» (Ф. Энгельс, Крестьянская война в Германии).

Именно *оппозиционно* — мистическое содержание составляет саму душу гуманистического творчества Руми. И в соответствии с отмеченной ролью поэзии в иранской культуре гуманистическая концепция Руми выражена наиболее отчетливо не в его философской прозе, а именно в его поэзии, лирической и дидактической. Так, например, идею обожествления человека Руми излагает в своем трактате «Фихи-ма-фихи» так, что она может быть понята прямо в противоположном смысле — как идея о ничтожестве человека, о его самоуничтожении и превращении в ничто перед лицом бога.

Ход рассуждения и аргументация у Руми таковы.

Те, которые утверждают: «Я — раб божий» — безгранично высокомерны, ибо они смеют ставить себя хоть и в подчиненное положение, но *рядом с самим богом*. Такие дерзкие гордецы заслуживают порицания. Те же, которые, добившись высот самосовершенствования, утверждают: «Я — истина, я — бог» — скромны и справедливы, ибо они преодолели гордыню и, слившись в своем самоуничтожении (фана) с богом, стали ничем. Такие могут служить образцом для людей, взыскующих бога.

Такой глубокий ум, как великий азербайджанский писатель Мирза Фатали Ахундов, в силу своего, присущего обычно всем просветителям, прямолинейного рационализма сумел в образах, используемых Руми, усмотреть хитроумное прикрытие показной набожностью еретических взглядов, но не разгадал в искренних мистико-пантеистических философских построениях Руми возвеличения человеческой личности, Человека совершенного, живого и смертного. Это возвеличение и составляет подлинное содержание концепции о самоуничтожении человека путем слияния с богом (фана) и одновременного самоувековечения (бака) при прощании с бренным миром. Ведь взаимосвязанные самоуничтожение (фана) и увековечение (бака) наступают лишь при физической смерти человека, но при жизни своей благодаря своему моральному самосовершенствованию он, реальный человек, чувствует себя не рабом, а частицей бога, он самоотождествляется с богом, то есть тем самым обожествляется, становится Человеком с большой буквы. Рационалист, не разгадавший мистика, считал концепцию «фана» крупнейшей ошибкой Руми, разъясняя: «Каковая должна быть эта тленность, возможна ли она и что она из себя представляет, — на эти вопросы никто не в состоянии дать ясный, исчерпывающий ответ».

Но то, что выражено туманно и непонятно в философской прозе Руми, то ясно и необычайно смело высказано в стихах, которые показывают, что концепцию «фана» можно было бы

характеризовать как «самоунижение паче гордости»; ведь в своем конечном смысле это — возвеличение каждой отдельной человеческой личности, которая сложным путем морального совершенствования уподобляется богу:

О те, что взыскуют бога, бог — вы!
Нет нужды искать его: вы, вы!

Именно такое обожествление человека, конечно не всякого, а человека высокого в своих нравственных, гуманных качествах, составляет суть *поэзии* Руми, в которой совершается свойственное суфийской поэзии двойное переосмысление поэтического образа, его удивительная метаморфоза, благодаря которой язык символов превращается в язык любви к человеку, воспевания ценности человеческой личности.

Повторю, что по этому поводу довелось мне писать в своей работе «12 миниатюр» (М., Гослитиздат, 1966, стр. 191–192).

Каков же механизм такой двойной метаморфозы? Он основан на метафорическом, иносказательном характере поэтического образа. Художественная форма суфийской поэзии трансформировала, преобразовала мистико-суфийские понятия, придав им иное содержание, не мистическое, а поэтическое, ибо известно, что диалектика формы и содержания состоит не только в оформленности содержания, но и в содержательности формы.

Сначала в суфийской поэзии абстрактные категории — отождествление человека и бога — облекаются с целью популяризации в конкретные поэтические образы, понимаемые иносказательно; конкретный образ понимается как выражение чего-то сугубо абстрактного, потустороннего. Это первое осмысление: абстрактное через посредство конкретного. Но поэтический образ живет своей внутренней жизнью, развивается в сознании воспринимающих его людей по законам поэтической красоты и вторично трансформируется: конкретное переосмысляется как абстрактное, но другого порядка. Например, метафора Мотылька и Свечи. Поэт-суфий употребил этот конкретный образ для выражения абстрактной, мистической идеи. Продолжая поэтизировать эту яркую метафору, он переосмысляет ее путем нового, *вторичного* иносказания и, сам того часто не замечая, тем самым лишает мистического содержания.

У поэта же немистика, принимающего эту символическую метафору, подобное переосмысление может осуществляться совершенно намеренно.

Так произошло в стихотворении Гёте «Блаженное томление» в

«Западно-восточном диване». В этом стихотворении, где воспроизведен образ мотылька, сгорающего в огне свечи, содержится призыв: «Умри и возродись» (то есть, следуя суфийской терминологии — переход от состояния «фана» в состояние «бака») — но уже не в мистическом смысле, а в общефилософском, даже материалистическом, толковании: тот, кто умирает за высокий идеал, будет вечно жить в памяти людских поколений.

Вот так и в суфийской, мистической поэзии Руми многие абстрактные категории, передаваемые через весомые, зримые, конкретные метафоры, в результате *поэтического переосмысления* предстают перед нами, читателями XX века, перед Хосровом Рузбехом вовсе не в мистическом, а в философском, гуманистическом смысле — как поэзия обожествления человека в смысле реального возвеличения живой человеческой личности.

В этом и состоит бессмертие поэзии Руми, ее созвучность нашей эпохе. Таковы некоторые выводы советской науки, исследовавшей иранскую классическую поэзию и творчество Джалалиддина Руми.

О Руми и его творчестве опубликовано немало статей и работ, но до сих пор *нет на русском языке ни одной книги о нем*.

Книга Р. Фиша — это первая ласточка. Может быть, не все удалось автору раскрыть: он и не претендует на то, чтобы развернуто изложить философскую систему Руми, его стихотворное наследие. Избрав биографический жанр, автор поставил задачей раскрыть замечательную личность поэта. Конечно, эта личность раскрывается не столько в фактах его жизни, сколько в фактах его творчества, в его стихах. Р. Фиш намеренно ограничил себя преимущественно фактами жизни, создав художественную книгу о поэте. Эта книга может послужить хорошим введением к изучению всего разностороннего творчества поэта и его вклада в мировую поэзию, к тому, чтобы понять и почувствовать поэзию Руми. Достоинства книги и ее недостатки связаны с тем, что это именно *первая* книга, написанная по-русски о великом поэте, который, увы, еще не обрел той популярности, которую он заслужил. Это не значит, что читатель должен быть снисходителен к тому, что он сочтет недостатком книги. Но хочется все же подчеркнуть заслугу автора, решившегося написать первую книгу о замечательном человеке — о Джалалиддине Руми и хорошо справившегося с поставленной задачей, ибо книга эта, бесспорно, обогащает серию «Жизнь замечательных людей», усиливает ее воспитательно-эстетическое воздействие на читателя.

И. С. БРАГИНСКИЙ, член-корреспондент АН Таджикской ССР

Москва, 19 июля 1972 года

КОММЕНТАРИЙ

I. ТЕРМИНЫ

Азраил — ангел смерти.

Айран — напиток из простокваши, разбавленной водой.

Акче — мелкая серебряная монета.

Алаи — золотая монета в сельджукском султанате. Название ее говорит о том, что она начала чеканиться в царствование султана Аляэддина Кей Кубада I.

Алиф — первая буква арабского алфавита, обозначающая звук *а*.

Альп — бывалый воин, богатырь.

Ариф — «Познавший», «гностик». По суфийской терминологии так именовался суфий, прошедший путь самосовершенствования.

Атабек — титул воспитателя, дядьки султана у сельджукидов.

Ахи — военно-религиозное мусульманские братство, распространенное в средние века на всем Ближнем и Среднем Востоке. Объединяло главным образом городских ремесленников и торговцев. Имело своих старейшин — шейхов, которые возглавляли общины и обители ахи на местах, и главного старейшину — ахи-баба в столице. В Малой Азии в связи с ослаблением власти султанов после монгольского нашествия братства ахи стали играть важную общественную роль. В качестве военной силы защищали горожан от произвола феодалов и монгольских наместников. Ахи были связаны обрядами и уставом — «футувва», из которых во время крестовых походов многое было позаимствовано рыцарскими орденами Европы.

Ашик — *(букв.)* «Влюбленный». Суфии понимали под ашиком влюбленного в бога подвижника. После XIII века в Малой Азии так стали именовать всех странствующих поэтов.

Бабуши — туфли без задников и каблуков, с загнутыми кверху носками.

Бака — *(букв.)* «Вечность». Термин, обозначавший такое состояние, когда суфий ощущает уничтожение своего «я», погружается в море абсолюта и тем самым как бы становится вечным и бессмертным.

Батман — мера веса, которая в зависимости от местности составляла от 2,5 до 7,5 кг.

Бахадур — богатырь.

Башбуг — предводитель, военачальник, вождь.

Бей — феодальный титул, глава племени, военачальник.

Бейлербей — *(букв.)* «Бей над беями». В султанате сельджукидов — командующий войсками.

Вара — *(букв.)* «Осмотрительность». Согласно теоретикам суфизма этап самосовершенствования, на котором следует с крайней скрупулезностью различать дозволенное от запретного.

Газель — лирическое стихотворение.

Гузы, или **огузы**, — объединения тюркских кочевых племен, ведущих свое начало от легендарного предводителя Огуза.

Гази — участник священной войны против немусульман, герой. Так в Малой Азии называли себя члены дервишской секты воинов.

Джавляки — *(букв.)* «Голыши». Дервишская секта, приверженцы которой брили бороду, усы, ресницы, брови, волосы.

Джуббе — длинная верхняя одежда, часто стеганая.

Джумада-ль-ахира — название шестого месяца арабского лунного года.

Диван — *(букв)* «Собрание». 1) Высший совет при султане или бее. 2) Сборник, собрание стихотворений.

Дирхем — серебряная монета большего достоинства, чем акче. Впервые отчеканена сельджукидами Рума в 1185 году. Впоследствии называлась также султани.

Дэв — злой дух иранской мифологии.

Дюмбелек — небольшой глиняный барабан, который носили у пояса.

Зухд — *(букв.)* «Воздержание». У суфиев этим термином обозначался этап самосовершенствования, при котором воздержанность постепенно распространялась до отказа от всякого желания и всякого душевного движения.

Зухра— (Нахид древних иранцев, Венера римлян). Название планеты, считавшейся покровительницей любви и плодородия. На древних иранских миниатюрах изображалась в виде пляшущей женщины, украшенной браслетами и бьющей в бубен. Обычно перед нею изображалась сидящей вторая женщина с младенцем на руках. По астрологическим представлениям с Зухрой сочетается зеленый цвет и сухая и холодная погода, из дней — пятница, из ночей — среда, из металлов — олово, из страстей — чувственность, из чувств — обоняние, из возрастов — молодость, из животных — рыба, из птиц — соловей и аист. Человек, родившийся под знаком Зухры, должен обладать красивым лицом, приятным голосом, добрым нравом, повышенной чувствительностью, страстью к украшениям, азартным играм.

Зухра считалась покровительницей цеха певцов и музыкантов.

Иджазе — «Дозволение». Так называлось письменное свидетельство суфийских шейхов и мусульманских богословов, удостоверявшее, что ученик постиг все, ведомое наставнику, и потому имеет право собирать вкруг себя послушников и проповедовать идеи учителя. Так же, как в хадисе приводилась длинная цепь передатчиков предания, в иджазе перечислялась цепочка учителей, обычно доводившаяся до времени Мухаммада.

Ильхан — «Повелитель народов». Титул монгольских ханов.

Имам — духовное лицо, главный служитель мечети, руководитель религиозной общины.

Итманина — «Душевное спокойствие». По терминологии суфиев обозначало состояние блаженной уверенности в милости бога.

Иснад — первая необходимая часть хадиса. Длинная цепь передатчиков предания о деянии или изречении Мухаммада, восходящая к его подвижникам и современникам. Если среди передатчиков назывались люди, «заслуживающие доверия», то сам рассказ считался достоверным.

Кавук — высокий головной убор вельможи, вокруг которого обычно повязывалась чалма. От должности при дворе султана зависели форма, цвет и отделка кавука. После смерти вельможи клался поверх надгробия. Впоследствии кавук, соответствующий званию и должности, вырезался из камня на могильном столбе.

Каландар — «Бродяга». Так именовали самых буйных бродячих дервишей, которые не гнушались вином и музыкой. Так же, как джавляки, каландары брили бороду и голову, выщипывали ресницы и брови.

Кантар — мера веса, около 60 кг.

Кулан — дикий осел.

Курб*(букв.)* — «Близость». По суфийской терминологии — мгновенное ощущение непосредственной близости суфия к божеству.

Кутас — хвост яка или тигра, вделанный в золотое или серебряное украшение, которое подвязывалось к шее коня или к локтю воина в качестве награды за подвиги и доблесть.

Кыбла — направление, куда должен обращаться лицом молящийся мусульманин, то есть направление к Мекке.

Лям — буква арабского алфавита, обозначающая звук «л».

Маджлис — у суфиев — духовное собрание, где читались стихи и проповеди, исполнялись песни и звучала музыка.

Макалат — «Беседы», «Речения». Название бесед Шемседдина Тебризи, Бурханеддина Термези и др.

Макам — «Стоянка». Устойчивое психическое состояние

суфия на пути самосовершенствования.

Маламати — «Человек упрека». Представитель религиозно-нравственного учения, выступавшего против злоупотребления святостью. Основы учения были заложены в Нишапуре в IX веке. Представители этого толка не носили обычной для аскета власяницы, ничем не отличались внешне от остальных людей, ибо очищение сердца и помыслов, по мнению маламати, личное дело каждого, тайна, касающаяся его и бога. Учение «маламати» впоследствии стало одной из основ хорасанского суфизма.

Мангыр — мелкая монета в сельджукском султанате, появилась в первой половине XII века.

Мардж-аль-Бахрайн*(арабск.)* — «Место встречи двух морей». Так впоследствии было названо место в Конье, где Джалалиддин Руми встретился с Шемседдином Тебризи.

Мевляна (букв.) — «Наш господин». Титул высоких духовных особ — кадиев, богословов, факихов. Впоследствии стало как бы именем поэта. Когда ныне говорят «Мевляна», то имеют в виду Джалалиддина Руми.

Мевлеви — последователь секты, основанной в xiii веке сыном Джалалиддина Руми Султаном Веледом. Известна в Европе как секта «вертящихся дервишей».

Медресе — школа, обычно при мечети. Образование строилось на изучении арабского языка, Корана, богословия, шариата, а также классической арабской и персидской литератур.

Месневи — двустишия. Поэма, написанная двустишиями. После Руми стало также собственным именем его шеститомной поэмы.

Мимбар — кафедра в мечети, с которой произносятся проповеди.

Миндер — подушка, тюфячок для сидения на полу.

Михраб — ниша в мечети, указывающая на кыблу.

Мушахада — «Созерцание». У суфиев такое психическое состояние, в котором подвижник не только ощущает присутствие бога, но как бы видит его.

Мухабба — «Любовь». У суфиев — приступ горячей любви к подателю всех благ.

Мухтасиб — надзиратель, инспектор рынков. В обязанности его входил надзор за соблюдением правил торговли, установленных шариатом, — исправностью весов и мер, соблюдением установленных цен и т. п.

Муэдзин — служитель мечети, призывающий верующих на молитву.

Мударрис — ученый богослов, настоятель медресе.

Мюрид*(букв.)* — «Желающий». Человек, вступивший под

начало духовного наставника — шейха, вручивший ему свою волю, последователь.

Наиб — наместник, посланник султана, властителя.

Най — тростниковая флейта.

Намаз — ритуальная молитва мусульман, совершаемая пять раз в день.

Насх — почерк арабского письма.

Нойон — термин, обозначавший светского феодала в монгольской державе.

Огуз-наме — «Книга огуза». Эпическое сказание о происхождении и обычаях огузов, источник обычного родового права огузских кочевых племен.

Пазвант — стражник.

Пайдза — серебряная, реже золотая таблица с надписью, игравшая у монголов роль охранной грамоты.

Пахлава — сладкое слоеное печенье с медом.

Пердэдар — «Слуга занавеси». Пердэдары занимали внутренние покои султана и были подчинены особому эмиру.

Раджа — У суфиев — проблеск утешения при мысли о милосердии бога.

Раис — городской голова, городской начальник.

Рамазан — название девятого месяца арабского лунного года, в течение которого правоверные мусульмане обязаны соблюдать пост от восхода до захода солнца.

Рамль — гадание на песке.

Расулуллах — посланник аллаха, пророк.

Ребаб — струнный музыкальный инструмент, род лютни.

Рибат — подворье, военная станция с помещением для воинов, несших охрану караванных путей.

Риза — «Покорность». У суфиев — последний этап самосовершенствования, определяемый как «спокойствие сердца в отношении течения, предопределения».

Ракят — часть молитвы мусульман. Каждый ракят состоит из следующих элементов: стоя, вложив левую руку в правую, молящийся читает фатиху, первую суру Корана; затем склоняется так, чтобы его ладони коснулись колен; выпрямляется и поднимает руки, произнося: «Аллах слушает того, кто воздает ему хвалу»; опускается наземь, сначала став на колени, затем приложив к земле ладони, и, наконец, распростершись так, что касается носом земли, здесь кульминация молитвы, присаживается, не вставая с колен; простирается снова. Ритуальные молитвы, совершаемые в полдень, во второй половине дня и вечером, состоят из четырех ракятов, на утренней заре — из двух, на вечерней заре из трех ракятов.

Рубаи — лирические или философские четверостишия.

Рум — наименование Рима, а затем и Восточно-Римской (Византийской) империи в странах мусульманского Востока. У тюрок-сельджуков Румом называлась Малая Азия, до XI века входившая в состав Византии.

Руми — Румийский.

Сабр — «Терпение». У суфиев состояние, при котором покорно принимается все трудноперенос имое.

Сахиб — начальник султанского дивана у сельджукидов, высшее должностное лицо, главный визирь.

Сарраф — ростовщик, меняла.

Сеид — почетный титул потомков основателя ислама Мухаммада.

Сельджуки — объединение огузо-туркменских племен, ведущих род от легендарного вождя — Сельджука. Основали династию, завоевавшую в X веке большую часть Передней Азии. Одна из ветвей этой династии в конце XI века укрепилась в Малой Азии и царствовала до начала XIV века.

Серпуш — головной убор, напоминавший ладью, часто украшенный священными письмецами, именами аллаха и т. п.

Синджари — военный походный марш сельджукских войск, получивший свое название от имени Синджара (ум. 1157 г.), могущественного султана Великих Сельджуков.

Сипахи — общее название военных ленников султана.

Сиясет-наме — «Книга управления». Трактат о принципах управления государством, написанный визирем Великих Сельджуков Хасаном ибн Али Низам аль-Мульком (1018–1092), одним из наиболее знаменитых государственных деятелей мусульманского средневековья.

Софта — ученик медресе.

Сура — глава Корана, священной книги мусульман.

Суфий — последователь мистико-аскетического направления в исламе.

Сэма — слушание музыки и пения на собраниях дервишской общины и маджлисах у суфийских шейхов.

Таваккул — «Упование на бога». У суфиев — такое состояние психики, при котором они связывают представление о жизни с единым днем и отбрасывают всякие заботы о будущем.

Талайсан — конец чалмы, выпущенный на плечо и закрывающий часть затылка.

Тамга — клеймо.

Тауба — «Покаяние». У суфиев — решимость отдаться самосовершенствованию.

Тарикат — «путь». Разработанный поколениями аскетов,

подвижников и суфиев путь нравственного самосовершенствования.

Тафсир — толкование текста священной книги мусульман — Корана.

Тахаллус — псевдоним, обычно включаемый в последнее двустишие газели или другого поэтического произведения.

Тугра — знак в виде монограммы, подтверждающий принадлежность распоряжения или грамоты султану.

Тюмен — войсковая единица у монголов, равная десяти тысячам всадников (ср. русское «тьма»).

Тюре — обычное родовое право кочевников-огузов.

Улем — ученый, мусульманский богослов.

Факих — мусульманский ученый-правовед, знаток шариата.

Факр — «Нищета». У суфиев — этап самосовершенствования, при котором добровольно дается обет нищеты, отказ от земных благ, обречение себя на нищету.

Фана — «Небытие». У суфиев — полное растворение собственного «я» в божестве.

Фарсах — мера длины, равная примерно 6–6,5 км.

Фатиха — название первой суры Корана.

Ферадже — род длинного верхнего платья с широкими рукавами.

Фетва — юридическое постановление, вынесенное на основании шариата мусульманским духовным лицом.

Френк — общее название европейцев-католиков (невизантийцев) на мусульманском Востоке.

Хадис — предание о речах и поступках Мухаммада, основателя ислама. Хадис состоит из двух одинаково важных частей: иснада и собственно рассказа, повествующего, как в том или ином случае поступил пророк, как он высказывался по тому или иному поводу. По иснаду судили о достоверности хадиса. Хадисы различаются и размером: от нескольких строк до нескольких страниц, и характером: от простого изречения до развернутой новеллы с живыми сценами и диалогами. Двумя наиболее полными каноническими собраниями хадисов считаются сборник мусульманского законоведа ал-Бухари и сборник Муслима-ан-Нишапури (IX в.). Поскольку единственным критерием для достоверности хадиса был иснад, сочинение их не составляло большого труда. Идеологи боровшихся групп и течений оперировали многочисленными вымышленными хадисами, обвиняя противников в «сокрытии предания». На хадисах и Коране построена мусульманская юриспруденция — фикх.

Хаддж — паломничество. Обязанность, вменявшаяся

каждому мусульманину, по достижении зрелости и наличии денег совершить паломничество в Мекку. Совершается в двенадцатом месяце мусульманского лунного года — зу-ль-хиджжа.

Хаджи — почетное звание мусульманина, совершившего паломничество.

Хакикат — у суфиев — последняя стадия интуитивного познания. Означает «подлинное бытие».

Ханака — дервишская обитель, во главе которой обычно стоял суфийский шейх.

Халиф — «Заместитель». После смерти основателя ислама во вновь образованном обширном государстве и мусульманской общине власть перешла к его заместителям — халифам, каждый из которых был имамом — духовным главой мусульман и эмиром — светским повелителем. С X века за халифами сохранялась лишь религиозная власть главы мусульманской общины.

Халь — у суфиев — кратковременный порыв, настроение, налетающие на того, кто проходит путь самосовершенствования, экстаз.

Харам — запретное религиозным законом.

Хауф — «Страх». У суфиев — припадок ужаса, сознание собственной греховности перед богом.

Хелал — дозволенное религиозным законом.

Хиджра — переселение основателя ислама Мухаммада из Мекки в Медину, с которого ведется мусульманское летосчисление.

Хорезмшах — титул властителей Хорезма.

Ху — Он*(арабск.)* — одно из имен аллаха.

Хутба — пятничная молитва, в которой зачитывается благопожелание во здравие царствующего властителя. Включение имени властителя в хутбу равносильно признанию его власти.

Хырка — дервишский плащ, коим шейх облачал мюрида, признавая его достойным вести самостоятельную проповедь и собирать учеников.

Шариат — мусульманское религиозное право.

Шах — персидский титул властителя, царь.

Шахзаде — сын шаха, царевич.

«Шахнаме» — «Книга царей». Эпопея великого ирано-таджикского поэта Фирдоуси.

Шейх — старейшина, глава мусульманского ордена, дервишской общины, наставник.

Шилян — традиционный у сельджуков пир, на котором резались бараны. Устраивался для знати по случаю вступления султана на престол, начала военного похода и т. п.

Эмир — титул светского властелина, феодала.

Юсуфи — название халебских золотых монет.

Языджи — писарь, писец.

Яйла — горные пастбища, куда на лето перегоняют свои стада кочевники.

II. ИМЕНА

Аббас — дядя основателя ислама Мухаммада, родоначальник династии аббасидских халифов (750–1258).

Абу Бекир — конийский музыкант, мюрид Джалалиддина Руми.

Абу Бакр Селе-Баф Тебризи (начало xiii в.) — вязальщик корзин в Тебризе, шейх Шемседдина Тебризи.

Абу Бакр Керрами Мухаммад ибн Исхак (начало xi в.) — шейх и аскет, назначенный раисом Нишапура, отличился жестоким преследованием инакомыслящих.

Абу Саид Мейхени ибн Абу-л-Хайр (967–1049) — суфийский шейх. Одним из первых суфиев Хорасана ввел обычай читать стихи и слушать пение и музыку на дервишских собраниях.

Айн-уд-Давле — ионийский художник, грек по происхождению, обучавшийся живописи в Константинополе. По приказанию дочери султана нарисовал портреты Джалалиддина Руми.

Акмаладдин Табиб Нахджувани — знаменитый врач, автор Комментариев к «Канону» Ибн Сины, друг Джалалиддина Руми.

Алим Челеби, Эмир Музаффараддин (ум. 1277) — сын поэта от второго брака. Служил при дворе и дослужился до чина султанского казначея.

Аль-Халладж, Абу Мугис ал-Хусайн ибн Мансур ибн Махамма ал-Байдави (858–922) — знаменитый суфийский подвижник, философ и поэт, казненный в Багдаде как «еретик».

Аль-Мутасим Биллах — последний халиф династии Аббасидов, убитый монголами после взятия Багдада в 1256 году.

Аль-Утби Абу Наср Мухаммад ибн ал-Джаббар — придворный историк султана Махмуда Газневийского (998–1030).

Аль-Хорезми — ученый богослов X века, автор энциклопедии «Ключи наук».

Аляэддин — брат Джалалиддина Руми (ум. около 1226 г. в Ларенде).

Аляэддин Кей Кубад I — могущественнейший из сельджукских султанов в Малой Азии (1218–1236). Отравлен

сыном.

Аляэддин Сирьянус — мюрид Джалалиддина Руми, грек по происхождению. Спасен поэтом от смерти.

Аляэддин Челеби (ум. 1262) — сын Джалалиддина Руми от первого брака.

Аминеддин Микаэл (умерщвлен в 1278 г.) — видный сельджукский вельможа, занимавший высшие должности в султанате. Покровитель Джалалиддина Руми.

Афляки, Ахмед Деде Арифи (ум. 1360) — шейх мевлеви, поэт, хронист, астролог. Автор знаменитой книги «Жизнеописания познавших» («Менакиб-ул-арифин») — сборника житий суфиев и шейхов мевлеви. Работа над книгой была начата по приказанию шейха Улу Арифа Челеби, внука Джалалиддина Руми, в 1318 году, закончена в 1358 году. Кроме «Жизнеописаний» на языке фарси, до нас дошли четыре газели и два рубаи Афляки, написанные по-турецки.

Аухададдин Кирмани — багдадский шейх (xiii в.).

Ахи Натур — банщик в конийских банях Кюркчюлер, мюрид Джалалиддина Руми.

Ахмедшах — глава братства ахи в Конье. Один из верных друзей и последователей поэта.

Баба Исхак — руководитель антифеодального восстания в государстве Сельджукидов в 1239 году. Казнен в городе Амасье.

Багдади, Маджддаддин (убит 1216) — поэт, шейх Аттара, пользовался широкой известностью в Средней Азии и Северном Иране. Оказал большое влияние на развитие суфизма в XIII веке. Казнен хорезмшахом Мухаммадом по ложному доносу.

Байджу — монгольский военачальник, нанесший решительное поражение сельджукскому войску в битве при Кёседаге под Эрзрумом (1242 г.). Под его командой монголы вторично разбили сельджуков в 1256 году.

Бату (Батый русских летописей) (1224–1255) — внук Чингисхана, основателя монгольской державы. Хан Золотой Орды, прозванный соотечественниками за кротость и справедливость «Саин-хан» — «Добрый хан».

Бахааддин Велед, Мухаммад ибн Ахмед Хатиби, Султан ул-Улема (ум. 1231) — суфийский шейх и богослов, прозванный Султаном Улемов. Отец Джалалиддина Руми.

Баязид Бистами, Тайфур ибн Иса ибн Адам ибн Сурушан (ум. ок. 875) — один из столпов суфизма. Неоднократно изгонялся представителями ортодоксального правоверия из родного города. Наибольшее возмущение духовенства вызывали его слова «Преславен я, преславен я, о, сколь велик мой сан», в которых была признана претензия на божественность.

Бедреддин — конийский плотник, мюрид Джалалиддина Руми.

Бедреддин Гевхерташ (убит в 1261 г.) — видный сельджукский вельможа. Воспитатель султана Аляэддина Кей Кубада I, вместе с которым находился в изгнании в Константинополе. Построил медресе для Султана Улемов. При султане Иззеддине Кей-Кавусе (1245–1256) занимал военные и придворные должности. После бегства Кей-Кавуса в Константинополь схвачен, отослан вместе с другими беями султана в ставку монголов, где и умерщвлен.

Бедреддин Тебризи — сельджукский архитектор, друг поэта.

Бедреддин Яваш — художник, друг поэта.

Бурханаддин, Мухаккики Термизи, Сеиди Сиррдан (Сеид Тайновидец) (1168–1241) — воспитатель поэта и суфийский подвижник.

Ван — армянский царевич, командовавший отрядом армянских воинов в битве с монголами при Кёседаге (1242).

Газанфари — известный врач середины XIII века, пользовавший поэта во время последней болезни.

Газали, Абу Хамид Мухаммад ибн Мухаммад (1059–1111) — крупнейший ученый и богослов мусульманского средневековья. Автор четырехтомного труда «Воскрешение богословских наук» («Ихья улум ад-дин»), в котором пытался примирить суфизм с правоверием.

Гаухер-хатун (ум. около 1230) — дочь самаркандского купца Шарафаддина Лала, мюрида Султана Улемов, вместе с ним покинувшего Балх. В Ларенде вышла замуж за Джалалиддина Руми и родила ему двух сыновей Аляэддина и Веледа.

Гиясиддин Кей-Хусров II — сельджукский султан (1236–1243). Отравил своего отца Аляэддина Кей Кубада I. Потерпел позорное поражение в битве с монголами при Кёседаге.

Гюрджю-хатун — дочь султана Гияседдина Кей-Хусрова II и грузинской царевны. Жена всесильного вельможи Перване, почитательница поэта.

Джалалиддин ибн Мухаммад — хорезмшах (1220–1231). В отличие от своего отца Мухаммада оказал упорное сопротивление монгольскому нашествию. После разгрома бежал в Индию. Вернувшись в Хорезм, вновь собрал войска. Теснимый монголами, вошел в пределы Малой Азии, занял крепость Ахлат, сделал ее своей резиденцией. В 1226 году разбил грузин и взял Тбилиси. Отверг предложение Аляэддина Кей Кубада I о совместной борьбе с монголами. Был разбит сельджукским войском в битве при Эрзинджане 10 августа 1230 года.

Джуха — герой-простак арабского народного эпоса.

Джунайд, Абу-л-Касим ибн Мухаммад ал-Хазз, Таус ал фукара («Павлин нищих») (ум. 911) — багдадский шейх и аскет, развивший учение нишапурской школы «маламати».

Джучи (ум. 1227) — монгольский хан и полководец. Сын Чингиса, отец Батыя.

Зейни Ферази — один из кадиев Хорезма в начале XIII века. Враждовал с отцом поэта Султаном Улемов.

Ибн Адхам, Ибрахим — легендарный царь Балха. Предание считает его первым суфием Хорасана.

Ибн-аль-Араби, Мухиддин «Шейхи Акбар» — «Великий шейх» (ум. 1240) — крупнейший теоретик суфизма и суфийский поэт-пантеист, автор многочисленных трактатов и стихов.

Ибн-Таймиййа, Ахмад ибн Абдель Хаким аль-Харани аль-Ханбали — мусульманский шейх и богослов x века.

Ибн Сина, Абу Али (Авиценна) (ок. 980–1037) — великий ученый-энциклопедист и философ мусульманского средневековья. Автор знаменитого медицинского «Канона».

Изеддин Кей-Кавус II — сельджукский султан (1248–1264). До 1249 года правил единолично. Затем совместно с братьями Рюкнеддином Кылыч Арсланом IV и Аляэддином Кей Кубадом II. После смерти Аляэддина затеял междоусобную войну за престол с Рюкнеддином. После прихода монгольских войск под командой Байджу (1256) бежал в Византию. С помощью византийского императора вновь стал единоличным властителем державы (1257). Но монголы вновь принудили его разделить власть с братом. Пытался оказать им сопротивление и снова вынужден был отправиться в изгнание в Константинополь (1269). Там был брошен в тюрьму, из которой ему удалось бежать в Крым, где он и умер (1278).

Каввал, Кемаль — певец, один из друзей Джалалиддина Руми.

Калоян — конийский художник-христианин, очевидно, армянского происхождения. Друг Джалалиддина Руми.

Кани — придворный поэт сельджукских султанов (середина XIII века).

Камаладдин, ибн-аль-Адим (ум. 1262) — известный правовед, ученый, поэт и историк Халеба, автор многочисленных трудов.

Каратай, Джалалиддин (ум. 1254) — грек по происхождению, раб-вольноотпущенник султана Аляэддина Кей Кубада I. Занимал высшие должности при дворе. В царствование Изеддина Кей-Кавуса II — наместник престола. После разгрома при Кёседаге и смерти султана Гиясиддина вместе с бейлербеем Явашем фактически управлял страной.

Кимья (ум. 1247) — воспитанница поэта, жена Шемседдина Тебризи.

Кира-хатун (ум. 1282) — вторая жена Джалалиддина Руми.

Кобяк, Саадеддин — визирь султана Аляэддина Кей Кубада i. При его сыне Гиясиддине Кей-Хусрове II — всесильный деспот-временщик.

Корей, или **Корун** — легендарный библейский богач, упоминаемый и в Коране.

Кубра, Ахмад ибн Омар Абу-л-Джаниб Наджмаддин ал-Хиваки ал-Хорезми, «Шейхи Валитараш» («Шейх, изготовляющий святых») — выдающийся суфийский шейх, автор многочисленных философских и богословских трактатов, суфийский поэт, учитель Султана Улемов, Маджаддина Багдади и многих известных суфийских шейхов и поэтов. Убит во время разгрома монголами Хорезма (1221).

Левон II — царь Малой (Киликийской) Армении XIII века.

Махмуд Газневийский — султан Газны (998–1013). Один из могущественнейших тюркских правителей в Средней Азии.

Мелика-хатун (ум. 1306) — дочь Джалалиддина Руми от второго брака.

Муса-эмир — наместник султана Аляэддина Кей Кубада I в г. Ларенде.

Мутаннаби, Абу-т-Тайиб (915–965) — великий арабский поэт.

Мухаммад, Аляэддин ибн Текеш — хорезмшах (1200–1220), правитель Хорезма, претендовавший на власть над всем мусульманским миром. После разгрома монголами умер на безлюдном острове в Каспийском море.

Мухаммад ибн Абдаллах ибн Абд-ал-Муталлиб (около 570–632) — основатель ислама. Согласно мусульманской традиции — последний посланник аллаха и величайший пророк. Родился в Мекке в аристократической семье племени курейши. Начав проповедовать новую религию, был вынужден переселиться из родного города в Медину (26 июля 622 г.). Эта дата впоследствии стала началом мусульманской эры. Из проповедей и высказываний Мухаммада составлен Коран — священная книга мусульман.

Мутуган — внук Чингисхана, убит в 1221 году.

Мумине-хатун (ум. около 1228) — мать Джалалиддина Руми. Похоронена в Ларенде, ныне Караман (Турция). Сохранилось надгробие XIII века.

Наджмаддин Кыршехирли — кадий Сиваса. Благодаря монгольской пайдзе спас жизнь жителям города после разгрома под Кёседаге.

Насир, Абу-л-Аббас Ахмед Лидиниллах — багдадский халиф, правивший с 1179 по 1225 год.

Насреддин Катани — конийский торговец хлопком, ученик поэта.

Насиба-хатун — кормилица Султана Улемов, оставшаяся в Балхе.

Низам-ул-Мульк, Хасан ибн Али (1018–1092) — один из наиболее известных государственных деятелей средневековья на мусульманском Востоке. Визирь при дворе Великих Сельджуков. Автор «Сиясат-наме» — трактата об управлении государством, считавшегося образцом государственной мудрости.

Нушинраван, или Ануширван — правитель Древнего Ирана (531–579), славившийся своей справедливостью.

Омар Хайям («Швец палаток») Нишапури (1048–1132) — великий математик, философ и поэт. Учился в Балхе и Самарканде. Автор многих трудов по алгебре, астрономии и всемирно известных четверостиший — рубаи. Возглавлял Исфаганскую и Мервскую обсерватории.

Осман Шарафаддин — конийский певец, один из людей Джалалиддина Руми.

Перване, Муиниддин Сулейман — влиятельнейший вельможа. С 1256 года фактический правитель сельджукской державы, подстрекал египетских правителей к походу против монголов в Малую Азию. Умерщвлен монголами в 1277 году.

Рабийа ал-Адавийа (ум. 801) — первая суфийская подвижница и поэтесса. Родилась в бедной семье. В детстве выкрадена и продана в рабство. Получив свободу, провела ряд лет в пустыне. Пришла в Басру, где стала певицей и музыкантшей.

Рюкнеддин Кылыч Арслан IV — сельджукский султан (1245–1264). По доносу Перване умерщвлен монголами.

Рази, Фахраддин Абу Абдаллах Мухаммад ибн Омар (ум. 1210) — хорезмский богослов, последователь перипатетиков-аристотельянцев, автор энциклопедии «Собрание знаний» («Джами ал-улум»), написанной для хорезмшаха Текеша (1172–1200), и многих других компилятивных трудов.

Садриддин Коневи, «Шейхи Кабир» («Большой шейх») (ум. 1274) — один из самых авторитетных и богатых улемов и шейхов Коньи.

Саляхаддин Фаридун «Зерркуб («Золотых дел мастер») (ум. 1258) — наместник и ближайший друг Джалалиддина Руми. Родился в деревне Кямил под Коньей в семье крестьянина и рыбака Ягыбасана. В Конье обучился мастерству, стал старейшиной цеха ювелиров. В его доме Джалалиддин Руми уединился с Шемседдином Тебризи после встречи. После

убийства Шемседдина оставил ремесло и стал мюридом Джалалиддина Руми, возглавив его приверженцев.

Санайи, Хаким Газневи (1048–1141) — ирано-таджикский поэт-гуманист и суфийский шейх. Автор дивана лирических стихотворений, трактатов и поэм, среди которых наиболее известны «Странствия благочестивых» и «Сад истины». Начал писать стихи как придворный поэт. Затем удалился от двора. Побывав в Балхе и Мекке, вернулся на родину в Газну. Обвиненный духовенством в ереси, умер во время разбора его дела в Багдаде.

Санджар (1118–1157) — последний из могущественных султанов империи Великих Сельджуков, включавшей в себя Хорасан, Иран, Армению, Азербайджан, Ирак и значительную часть Малой Азии.

Сахиб-ата, Фахриддин Али ибн Хусейн ар-Руми (ум. 1288) — видный султанский вельможа, свыше полувека занимавший высшие должности при дворе. Прославился щедростью и благотворительностью.

Сейфеддин — настоятель медресе «Пембе фурушан» («Торговцы хлопком») в Конье.

Султан Велед, Мухаммад Бахаеддин (1226–1312) — старший сын Джалалиддина Руми. Родился в Ларенде. Основал орден «Мевлеви». Выступал как проповедник, шейх и поэт. Оставил поэтическую трилогию «Велед-наме». Из 25 тысяч двустиший 235 написаны на турецком языке, остальные — на фарси, а также на греческом.

Сухраварди — багдадский шейх и ученый богослов XIII века.

Таджиддин Мутаз Хорасани (убит 1278) — сын придворного бея хорезмшаха Мухаммада. Служил монголам. Приехав в Малую Азию для взыскания налогов с сельджукских султанов, был хорошо принят Рюкнеддином Кылыч Арсланом IV, что сыграло затем немалую роль в победе последнего над братом в междоусобной борьбе за престол. Рюкнеддин взял его на службу при дворе. Объединился с Перване и помог ему устранить Рюкнеддина, став одним из влиятельнейших вельмож державы.

Тавус — арфистка, почитательница поэта.

Туркан-хатун (ум. 1233) — мать хорезмшаха Мухаммада. Взята в плен Чингисханом и увезена в Монголию.

Фатима — сестра Джалалиддина Руми, оставшаяся в Балхе.

Фатима-хатун — дочь Саляхаддина Зеркуба и жена Султана Веледа.

Фахрунниса («Гордость женщин») — последовательница и почитательница Джалалиддина Руми.

Фирдоуси, Абу-л-Касим (род. между 935–41, ум. между

1012–30) — великий ирано-таджикский поэт, создатель эпической поэмы «Шах-наме» («Книга царей»), над которой работал свыше тридцати лет.

Хадджаджи Неджадж — ткацких дел мастер, мюрид Султана Улемов, вместе с ним покинувший Балх. Друг поэта.

Хаджи Эмире — конийский торговец, последователь поэта.

Хаджеги — шейх, мюрид Султана Улемов.

Хамза «Кутби Найи» («Вершина флейты») — конийский музыкант, последователь поэта.

Харакани, Абу-л-Хасан (ум. 1034) — знаменитый хорасанский шейх и суфийский проповедник.

Хулагу — монгольский хан, потомок Чингиса, основатель династии Хулагаидов, завоевавший Багдад (1256).

Хюсаметтин Челеби, Хасан ибн Мухаммад (Ахи Тюркоглу) — сын шейха ремесленного братства ахи в Конье, наместник и друг поэта, в течение десяти с лишним лет записывавший под диктовку поэта его «Месневи». После смерти Джалалиддина Руми согласно воле поэта встал во главе его последователей.

Чингисхан, Темучин (ум. 1227) — повелитель монголов, создатель гигантской империи, простиравшейся от Китая до Европы.

Чобан Делляк — конийский цирюльник, последователь Джалалиддина Руми.

Юнус Эмре (ок. 1250–1320) — великий турецкий поэт и мыслитель. Вел жизнь странствующего дервиша. Основоположник поэзии народных ашиков. В юности присутствовал на собраниях Джалалиддина Руми.

Яхья Шемседдин — пасынок Джалалиддина Руми, сын Кирыхатун от первого брака.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА ДЖАЛАЛИДДИНА РУМИ

1207, 30 сентября — В городе Балхе на территории нынешнего Афганистана в семье проповедника и улема родился сын Мухаммад Джалалиддин.

1216 — По приказанию хорезмшаха обезглавлен поэт Маджддаддин Багдади, а тело его брошено в Амударью.

1217 — Неудачный поход хорезмшаха на столицу халифов Багдад.

1218 — Избиение мусульманских купцов в Отраре, присланных к хорезмшаху повелителем монголов Чингисханом.

1219 — Нашествие Чингисхана на Среднюю Азию. Отъезд Бахааддина Веледа вместе с семьей из Балха.

1221 — Прибытие в Ларенде (ныне турецкий город Караман) во владения сельджукских султанов. Постройка Аляэддином Кей Кубадом I конийской крепости.

1225 — Женитьба поэта на Гаухер-хатун, дочери самаркандского купца Лала.

1226 — Рождение сына Веледа.

1228 — Победоносный поход султана Аляэддина Кей Кубада I на Трапезунд. Переезд поэта вместе с семьей в столицу сельджукских султанов город Конью.

1230, 10 августа — Разгром войск хорезмшаха сельджуками в битве при Эрзинджане.

1231, 12 января — Смерть отца поэта — Султана Улемов. Поэт отправляется в крупнейшие медресе Халеба и Дамаска для совершенствования в науках.

1232 — Приход в Конью воспитателя поэта Сеида Бурханаддина, под руководством которого поэт проходит путь самосовершенствования.

1234 — Неудачный поход египетского султана на Малую Азию.

1237 — Смерть султана Аляэддина Кей Кубада I, отравленного сыном.

1239–1244 — Поэт читает проповеди в Конье, часть которых впоследствии вошла в книгу «Меджалиси-себа».

1241 — Смерть Сеида Бурханаддина в Кайсери.

1243, 26 шюля — Разгром монгольскими отрядами 80-тысячного султанского войска в битве при Кёседаге.

Сельджукские султаны становятся данниками монголов.

1244, 26 ноября — В Конью приходит безвестный странник Шемседдин Тебризи. Поэт признает в нем своего наставника. Начало нового этапа в жизни Джалалиддина Руми.

1246, 15 февраля — Шемседдин Тебризи, гонимый ненавистью улемов, уходит из Коньи.

1247, начало — Джалалиддин Руми получает письмо Шемседдина Тебризи из Дамаска.

Апрель — Велед по просьбе отца встречается с Шемседдином Тебризи в Дамаске.

8 мая — Шемседдин Тебризи вместе с Веледом возвращается в Конью.

5 декабря — Убийство Шемседдина Тебризи, в котором принимает участие младший сын поэта.

1248 — Поэт начинает слагать газели, подписывая их именем Шемседдина Тебризи, которые впоследствии войдут в собрание его стихотворений «Дивани Кабир».

1249 — Поэт избирает своим наместником золотых дел мастера из Коньи, Саляхаддина.

1256 — Сельджукское войско снова разбито монголами под Коньей. На престол возведен султан Рюкнеддин Кылычарслан II. Возвышение Муиниддина Перване.

1257 — Джалалиддин Руми вместе с Хюсаметтином, сыном главы общины ремесленников-ахи, начинает работать над шеститомной поэмой «Месневи».

1258, 28 декабря — Смерть золотых дел мастера Саляхаддина. Хюсаметтин становится наместником поэта.

1264 — Начат второй том «Месневи».

1265 — Муиниддин Перване руками монголов убивает султана Рюкнеддина, сажает на престол его шестилетнего сына и становится полновластным правителем страны.

1273, 7 декабря — Смерть Джалалиддина Руми.

8 декабря — Похороны поэта в Конье.

КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЖАЛАЛИДДИНА РУМИ

Дивани Кабир. Собрание лирических стихотворений. Состоит из двадцати одного сборника газелей. В каждом сборнике газели, сложенные одним и тем же размером, расположены в порядке арабского алфавита. Включает также сборник четверостиший — рубаи.

Месневи. Эпическая поэма в шести книгах, продиктованная «писарю тайн» Хюсаметтину Челеби.

Мактубат. Собрание писем поэта к разным лицам, продиктованных «писарям тайн», обычно с просьбой о помощи кому-либо из его друзей. Содержит 147 писем.

Фихи-ма-фихи. Беседы и поучения Джалалиддина Руми, записанные его учениками.

Маджалиси Саба. Восемь публичных проповедей, записанных мюридами поэта.

НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Персидские лирики в переводах академика Ф.Корша. М., 1916.

Таджикская поэзия в переводах И. Сельвинского. С., 1949.

Антология таджикской поэзии с древнейших времен до наших дней. М., 1951.

Руми. Притчи. М., 1969.

НА ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИХ ЯЗЫКАХ

Dschalal-Ed-Din Rumi, Auswahl aus den Diwanen. Wien, 1838.

Nicolson R. A., Methnewi-i-Manawi. Lejden, 1926–1930.

Nicolson R. A., Selected Poems from the Diwani Schemsi Tabrisi. Cambridge, 1898.

Mesnevi Oder Doppelwerse der scheich Mevlana Dschalal-Ed-Din Rumi. Leipzig, 1849.

О ДЖАЛАЛИДДИНЕ РУМИ И ЕГО ВРЕМЕНИ

НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Бартольд В. В., Туркестан в эпоху монгольского нашествия, ч. II, СПб, 1900.

Бартольд В. В., Историко-географический обзор Ирана. Спб., 1903.

Бартольд В. В., К истории персидского эпоса. «Записки

Восточного отделения Русского Археологического общества», т. XXII. Петроград, 1915.

Бартольд В. В., История Туркестана. Ташкент, 1922.

Бартольд В. В., История культурной жизни Туркестана. М., 1927.

Бертельс Е. Э., История персидско-таджикской литературы. Избранные труды. М., 1960.

Бертельс Е. Э., Суфизм и суфийская литература. Избранные труды. М., 1965.

Брагинский И. С., Из истории таджикской народной поэзии. М., 1956.

Брагинский И. С., Очерки из истории таджикской литературы. Сталинабад, 1956.

Брагинский И. С., 12 миниатюр. М., 1966.

Брагинский И. С., Комиссаров Д. С., Персидская литература. Краткий очерк. М., 1963.

Веймарн Б. В., Искусство Средней Азии. М. — Л., 1940.

Веселовский Н. И., Лекции по истории Востока. Спб., 1919.

Владимирцев Б. Я., Общественный строй монголов. Монгольский кочевой феодализм. Л., 1934.

«Восток». Сборник второй. Литература Ирана X–XV веков. М. — Л., 1935.

Гафуров Б. Г., История таджикского народа в кратком изложении, т. I. М., 1955.

Гордлевский В. А., Государство сельджукидов Малой Азии. М. — Л., 1941.

Денике Б. П., Искусство Востока. Очерки истории мусульманского искусства. Казань, 1923.

Денике Б., Живопись Ирана. М., 1938.

Заходер Б. Н., Хорасан и образование государства сельджукидов. «Вопросы истории», 1945, № 5–6.

Идеи гуманизма в литературах Востока. Сборник статей. М., 1967.

Конрад Н. И., Запад и Восток. Статьи. М., 1966.

Крачковский И. Ю., Избранные сочинения, т. I. М. — Л., 1955.

Крымский А., История Персии, ее литературы и дервишской теософии, ч. I–III. 1914–1917.

Литература Востока в средние века. Учебник для высшей школы, ч. II. М., 1970.

Мартинович Н., Новый сборник стихов Джелаль-ед-дина Руми и Султана Веледа. «Записки Восточного отделения Русско-Археологического общества», т. XXIV, вып. 1–4, 1917.

Марр Ю. Н., Статьи и сообщения, т. II. М. — Л., 1939.

Мец А., Мусульманский Ренессанс. М., 1966.

Моллов Р. М., Юнус Эмре. «Краткие сообщения Инст-та народов Азии», 1962, № 60.

Нуцубидзе Ш. И., Руставели и восточный Ренессанс. Тб., 1947.

Смирнов В. Д., Очерк истории турецкой литературы «Всеобщая история литературы» под ред. В. Ф. Корша, т. IV. Спб., 1892.

Терновский В. Н., Ибн Сина. М., 1969.

НА ДРУГИХ ЯЗЫКАХ

Наибольшее количество работ о поэте и его времени издано в Турции и в Иране. Среди них наиболее значительные — монография (на турецком языке) **А. Гюльпынарлы**, Мевляна Джалалиддин. Стамбул, 1953, а также **его** книги: «Обычаи и обряды ордена мевлеви». Стамбул, 1963; «Мевляна и орден мевлеви после его смерти». Стамбул, 1953.

Заслуживают упоминания работы: Г. Джана, «Мевляна и Платон». Конья, 1965. М. Конера. Содержание «Месневи». Конья, 1961, а также книга директора музея Джалалиддина Руми в Конье М. Ондера «Благословенный Мевляна». Стамбул, 1961.

Из монографий, написанных иранскими учеными, наиболее полной является книга профессора Тегеранского университета Б. Фурузанфарра «Мевляна Джалалиддин», вышедшая также в турецком переводе в Стамбуле (1963).

НА ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИХ ЯЗЫКАХ

Brown E. G., A History of Persian Literature under Tatar Domination (1265–1502). Cambridge, 1920.

Etne H., Der Sufismus und Seine Drei Hauptvertreter in der Persischen Poesie. «Morgenlendische Studien». Leipzig, 1870.

Gerschvitch J. Iranian Literature. London, 1953.

Masse H., Anthologie de la Poesie Persanne. Paris, 1950.

Nicholson R. A., The mystics of Islam. London, 1914.

Ritter H., Calal-Ad-Din Rumi und Sein Kreis. «Der Islam» 1940–1942. BD. XXVI. s. 116–159, 221–249.

Schimmel A., Die Bildersprache Dschelaleddin Rumis. Walldorf, 1949.

Spuler B., Die Mongolen in Iran (1220–1350), Berlin, 1955.

notes

1

1. Объяснение восточных слов и терминов, а также справки об исторических лицах см. в комментарии в конце книги.

2

2. Перевод В. Державина.

3

3. Перевод И. Сельвинского.

4

4. Энгур — виноград на фарси, эйнаб — по-арабски, узюм — по-тюркски, стафиль — по-гречески.

5

5. Перевод В. Державина.

6

6. 1256 христианского летосчисления.

7. Е. Э. Бертельс, Избранные труды. Суфизм и суфийская литература. М., 1965.

8

8 Перевод Е. Дунаевского.